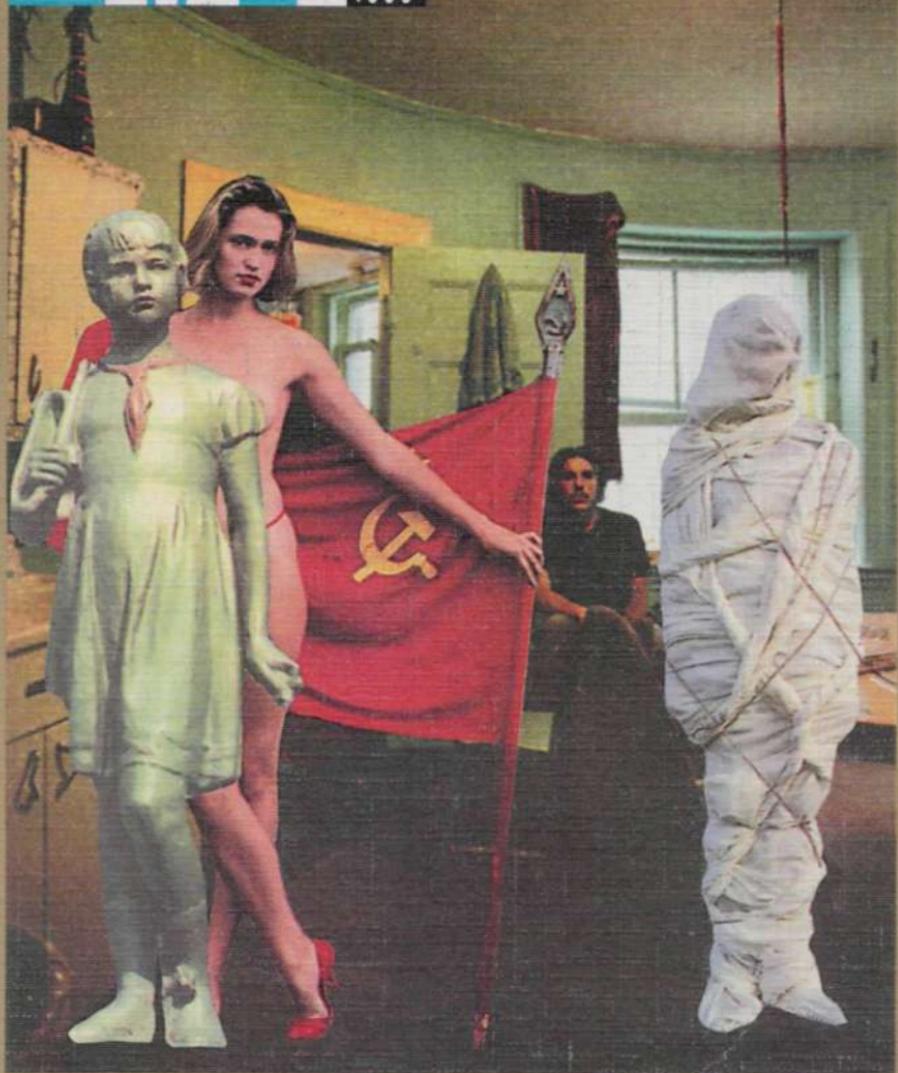


ВРЕМЯ
ИМЫ 144
1999



ВЛАДИМИР ХАНАН
В СТОРОНУ МОЛОДОСТИ И ПЕЧАЛИ

ВРЕМЯ

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

И МЫ

Выходит один раз
в два месяца

ИЗДАЕТСЯ С 1975 ГОДА

144
1999

МОСКВА - НЬЮ-ЙОРК
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ»

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКТОР МОСКОВСКОГО ИЗДАНИЯ
ЛЕВ АННИНСКИЙ

Первый заместитель редактора московского издания
ЮРИЙ КУВАЛДИН

МОСКОВСКАЯ РЕДАКЦИЯ

ВЛ. НОВИКОВ, АЛЕКСАНДР П. ТИМОФЕЕВСКИЙ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН	ЯСЕН ЗАСУРСКИЙ
ДМИТРИЙ БЫКОВ	ЛЕВ НАВРОЗОВ
(зам. гл. редактора)	ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ	ИЛЬЯ СУСЛОВ
ДЖОН ГЛЭД	МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ДОБИН	ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЮРИЙ ДРУЖНИКОВ	ЭДУАРД ШТЕЙН
ЛЕОНИД ЖУХОВИЦКИЙ	ЕФИМ ЭТКИНД(зам. гл. редактора)

Московское издание журнала "Время и мы"
Адрес редакции: 117415 Москва,
ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Американское отделение журнала "Время и мы"
409 Highwood Ave, Leonia,
New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55

Израильское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Владимир Добин
Адрес отделения: Ha-avot Street 20-6,
Richon Le-Zion, 75323 ISRAEL
Tel.: 03-967-04-42

Французское отделение журнала "Время и мы"
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: Rezidence Lorilleux
Esc.U. appt 929, 15 Allee Henri Sellier,
92800 PUTEAUX, FRANCE

СОДЕРЖАНИЕ

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ПРОЗАИКОВ

Инна ЛЕСОВАЯ
Набросок мягким грифелем.....5
Владимир ХАНАН
В сторону молодости и печали.....74
Ирина БЕЗЛАДНОВА
Братя.....100

РОССИЯ ГЛАЗАМИ ПОЭТОВ

Инна КАБЫШ
Коляска.....116
Владимир ДОВИН
Книга судьбы.....125
Елена ПЕЧЕРСКАЯ
Остов московской души.....132

ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО И СВОБОДНЫЙ РЫНОК

Владимир ШЛЯПЕНТОХ
Выдержит ли Россия экзамен,
уготованный ей 2000 годом?.....139
Вадим ЦЫМБУРСКИЙ
XXI веки российская геоэкономика.....156

ПОЛЕМИКА

Дмитрий БЫКОВ и Виктор КОРКИЯ
Два мнения о югославском конфликте.....173

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И КРИТИКА

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ
Число бездны.....187
Вл. НОВИКОВ
Мутант.....194
Валентин ТРИФОНОВ
Время и место: конец века в Ямском поле.....204

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Леонид ВЛАДИМИРОВ
Жизнь номер два.....214

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ГАЙД-ПАРК

Куда «мы» идем?.....283

ВЕРНИСАЖ «ВРЕМЯ И МЫ»

В. ПЕТРОВСКИЙ
Не так страшен Скуратов, как его малыюты.....290

*ПУТИ ДЕМОКРАТИИ.
АЗБУЧНЫЕ ИСТИНЫ*



Инна ЛЕСОВАЯ

НАБРОСОК МЯГКИМ ГРИФЕЛЕМ

Грузовик мелькнул несколько раз, далеко, между домами. Потом исчез — и внезапно вырулил из-за угла на дорожку, затормозил — будто споткнулся, грохнув напоследок барахлом, и замер прямо перед третьим парадным. Мальчишки, человек шесть, или восемь, поднялись на кузове, заторчали, темные, на фоне пустого неба. Начали спрыгивать нерешительно через борт.

Район и вправду был противный. Тупые, длинные пятиэтажки, редко натканные без ладу по плоской беспризорной земле... проволочные саженцы без всяких надежд на листья... Несимпатичны были старухи, восседающие на лавке в не по сезону теплых пальто. Их головы задвигались в глубинах зимних платков, как потревоженные птицы в дуплах.

— О, о! — зашелестело. — В восемьдесят вторую вселяются.

Еще неприятнее были молоденькие деревенские девы. Они побросали свои коляски, неразвешенные пе-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© "Время и мы"
IS6N 0737-7061

ленки и потянулись к грузовику с общим выражением недоброжелательного любопытства на лицах. Спешили показать, кто здесь хозяин — чьи это мужья сколотили лавку, кто насеял чернобривцы и нацепил веревки для белья. Они были уверены, что новые жильцы не тянули бы полгода со вселением, если бы им пришлось ради этой квартиры поработать на стройке и три раза рожать.

Действительно, вселение протекало без всяких признаков радости. Да и кто, собственно, вселялся? Был некий толстый, суетливый, с ключами в кулаке. Были мальчишки, сновавшие по его команде. Неумелые. Все у них гремело и разлеталось. Какая-то бандура, сбитая из досок (не стол, не табуретка — тумба, вроде тех, на какие ставят пальмы в кинотеатрах), грохнулась углом на землю. И один, на вид постарше и потолковее других, закричал: «Не смейте бросать подиумы! Сломаете!» И еще кричал: «Николай Иваныч! Большой подиум полкомнаты занял! Куда другие ставить?» «Сверху! — орал суетливый. — Сваливайте все в гору, потом разберете!»

Однако никаких пальм видно не было. Впрочем, когда стащили вниз трухлявую ширмочку, дело как будто прояснилось. Над заляпанной доской показалась гипсовая лысина Ленина. И зрители подобрали: поняли, что жильцов не будет, а будет какой-нибудь красный уголок, что подтверждало бьющееся на ветру полотнище казенного красного сатина. Предположили даже — не детская ли комната при милиции, и, окончательно потеплев, обратились к толстому, к начальнику, объяснили, что замок барахлит потому, что в нем много раз ковырялись самоселы. Но тут рухнула заляпанная фанерка, и оказалось, что никакой там не Ленин, а насупленный старик с тупым круглым носом, окладистой курчавой бородой на голой груди, с двух сторон подпертый черными валенками нечеловеческого размера. «А Бо-о...» — растерянно выдохнула одна из зрительниц. Из хлама виднелось еще несколько гипсовых голов. Страшнее всех выглядела криво торчащая на кубе голова без кожи, с раскрытым беззубым ртом, полным пыли. Старухи отшатнулись,

когда ее проносили мимо. Следом за широкие плечи потащили в дом лысого еврея с тонким хрящеватым носом и желтым пятном на лбу. А за ним — провисающую в простыне почти до земли метровую голову молодого мужчины с шаром вьющихся волос и острой раздвоенной бородкой. Он пялился в небо нехорошим взглядом. Старухи, привстав, смотрели ему вслед.

После него уже ничему не удивлялись: ни матрацу, рулетом скрученному вместе с постелью, ни «солдатской» кровати, каких уже и в больницах не оставалось, ни вполне приличному кухонному шкафчику и холодильнику. Остальное все, мелочь и дребедень, тоже требовало рук. Судя по тому, как начальник дергал свой рукав, чтобы взглянуть на часы, куда-то они не поспевали. А тут еще шофер демонстративно курил. Двое мальчишек бегали от третьего, который пытался отнять у них зеленую конторскую тетрадь. Мальчишки метнулись за угол; он подался было за ними, но увидев что-то вдали, остановился и зло, неумело сплюнул. Начальник тоже перестал суетиться. К дому мягко подкатила «скорая помощь», объехала грузовик, развернулась и остановилась. Стояла она непонятно долго, пока, наконец, не распахнулась левая дверь. Затем — правая. Затем открыли задний грот и осторожно выдвинули носилки с телом, покрытым простыней. Прибитая ветром, она позволяла разглядеть сложенные на груди руки и вытянутое лицо с высоким лбом и заострившимся носом... Будто занесли в дом последнюю из статуй...

Старухи закрестились.

— В больнице скончался... — вздохнула одна.

Все кивнули. А из дома, из раскрытой глубины его, донесся истошный женский вопль: «Уби-и-ли!!» И непонятно было, когда это в дом попала женщина. Потом снова было тихо, пока не послышался с лестницы обрывок разговора: «...Неужели нельзя было оставить в покое такого больного человека! Дали бы ему дожить!» — ««Вам легко говорить! А у меня — учебное заведение! Очаг культуры! А он двери чесноком мазал! белье в окне сушил! И вообще... Но последний случай — это уже

переполнило чашу! Мне давно говорили, что он в окно помои выливает!»

Мальчишки позапрыгивали в кузов — и обе машины укатили.

Ну что за судьба такая! Что бы ни случилось с человеком — для окружающих — спектакль. Не жизнь, а сплошной повод для анекдотов, слухов и недоразумений. Но мы — не старухи, застрявшие на своей лавке, нам незачем гадать, когда похороны и кто остался с покойным — не та ли невидимая женщина, что кричала «убили»...

Кричал сам Борис Борисыч, когда врач «скорой помощи» попытался стащить с его лица простыню. Не хотел он открывать свое лицо — и все тут. Даже когда замректора по хозяйству убрался вместе со своим козлом.

Оставшийся с ним Коля (тот, что не смог отнять у двух шалопаев зеленую тетрадь) несколько раз робко просил его сдвинуть простыню: «Задохнетесь ведь! Плохо станет!» В ответ на что Б.Б. издавал едва уловимый невнятный звук: не то «о-о», не то «и-и»... Коля тихо двигался по квартире, хлопотал, не вполне уверенный, что учитель одобрит его действия. На всякий случай он сообщал вслух о каждом мероприятии. «Я холодильник включил. Сложил туда продукты». Или: «Тут, оказывается, шкаф стенной есть. В коридорчике, за дверью. Я уже всю одежду повесил. Так что гвозди в стенку забивать не придется». И, наконец, решившись, добавил осторожно: «Тут неплохо».

Потом Коля, как мог, подправил под Б.Б. постель, развернул перед кроватью ширмочку, а к изголовью приставил табуретку. Получился укромный уголок, совсем такой же, как на старом месте, в институте. Коля хотел еще поставить у изголовья настольную лампу, но вытащить ее из свалки не удалось: за что-то она зацепилась, и когда Коля чуть сильнее потянул за шнур — дрогнула табуретка, одной ногой висящая над бездной, гипсовые кубы и конусы, наставленные на нее, а под самым потолком качнулся венчающий пирамиду Со-крат. Коля понял, что сам он такую гору не разберет.

Правда, из другой, пониже, удалось без особых катализмов высвободить чайник, кастрюлю и несколько тарелок.

Коля пошарил палкой под нижним подиумом. К самому краю легко подкатился синий термос и жестяная банка с красной этикеткой «Меланж». Банку он оттолкнул, а с термосом долго возился: Коля держал его в руке, но выволить не мог: не пускали поперечные планки.

Коля был зол. Ну к чему они устроили такую беготню, спешку! Уж лучше оставили бы вещи на улице, а он бы их перетаскал потихоньку!

— Я завтра тут окончательно разберусь, — прогудел виноватым подростковым баском Коля. — Мне одному не справиться. Кого-нибудь попрошу...

Б.Б. не ответил, но шевельнулся.

— Мне идти надо, — продолжал Коля. — Поздно. А я дома не предупредил. Вы бы встали, попили чаю. Я вскипятил. Тут газ. Плитку теперь чинить незачем. Вставайте, Борис Борисович! Вот и валеночки ваши.

— Небось каштаны все рассыпались по дороге! — раздался приглушенный простыней голос.

— Ничего подобного! — оживился Коля. — Я сам проследил! На окне коробка стоит. И вот! — Он потрянул валенками — там заманчиво грохнуло — и придвинул их вплотную к кровати.

Простыня снова шевельнулась, смялась, сморщилась и сползла с потного, красного лица, вытянутого в трагическом оцепенении. Свесилась и зашарила под кроватью голая рука.

— Ну вот! Видите! Совсем задохнулись. Давление, наверно, поднялось! — огорчился Коля.

— Банка где? — перебил бесстрастно Б.Б. — Меланж. Красный!

— А зачем она? — простодушно удивился Коля. — Здесь туалет.

— При чем тут это! При чем тут это?! — ожил от досады Б.Б. и, наконец, сел. — Я туда бумажки бросаю, тубики пустые!

Желтые ножки привычно опустились в необъятные фетровые трубы, умащиваясь, поерзали, погромыхали сухими каштанами... Б.Б. встал... качнулся — и снова сел, прижимая одну руку к сердцу, другую — к покрывшемуся испариной лбу.

— Погубили Борисборисыча-а! — заскулил он уже известным нам женским голосом и добавил вполне мужским, хрипловатым: — Избавились, завистники!

Наконец все-таки встал, вышел за ширму и с похмельной ненавистью оглядел свое новое жилище.

— Конура собачья!

— Так ведь вещи еще не разобраны! Люций Вер среди комнаты стоит! — заспешил Коля. — Я завтра все сделаю, свободнее станет! И потом тут еще кухня! Ванная, коридор! Даже, можно считать, два! Жалко, что мне идти надо!

— Иди! — кивнул, не оборачиваясь, Б.Б. — Семью не беспокой! А я...

— Вы, если что, к соседям постучите! Тут дверь совсем рядом! — крикнул Коля уже с лестничной клетки.

На площадке первого этажа он задержался; что-то белело под батареей. Несколько листков, исписанных мелким почерком. Коля поднял их и прочел;

«...Несомненно, что в 19-ом веке главным центром искусства стала Россия...»

Коля свернул листки в трубочку и вышел на холодный майский ветерок. У парадного темными группками роились люди. Коля задрал повыше плечи, зябнувшие в тесном пиджачке, выдвинул вперед голову с нелепой шевелюрой, делающей его насупленный профиль похожим на профиль ежика, и прошмыгнул мимо, стараясь никого не задеть. Толковали о каких-то венках и о том, что никто не станет собирать деньги для незнакомых людей. С какой стати...

Ехать пришлось долго. Со скуки Коля развернул листки.

«...баю! Отец помочь старается старому другу, а дочка строит козни! Убить ее — и то мало!

4 октября.

Опять приходила Феня. Ноги круглые, руки круглые! «Борис Борисыч, я вам горяченькой картошки принесла!» Куда денешься! Села среди комнаты нарочно на солнце. Голые колени повыставляла. Такой яркий свет, что все контуры размывает. А шея — в тени. Между грудьми темно, а на лице — блики от пола. Ел невнимательно, жевал как попало — вот и результат. Ну проныра! Думает, я не понимаю, зачем ходит. «Борис Борисович! Иванову с Машей дали двухкомнатную на Репина. Жалко, что вы не женаты. Еще заселят в общую квартиру...» Намекает: вот, дескать, Иванов — профессор, а женился на своей домработнице — так чего бы тебе, Борис Борисыч, на мне не жениться? Как же, женюсь я на ней, на деревенской! Чтобы А.Г. всем говорила: «Я так рада за Борю! Феня за ним присмотрит! Феня устроит его быт! Они люди одного круга». Вот тебе фигу — одного круга! Знаю я этих деревенских! Распишешься с ней — а она тебя доведет до инсульта при помощи половых отношений. А потом и сдаст в дом инвалидов. Дудки! Пусть А.Г. свой быт устраивает! А то в восемь часов уже слышно, как она по лестнице: тук-тук-тук-тук! И плащ белый нацепила — молодую из себя строит! Вот пусть сама выходит — за Митьку за вахтера. Нечего обо мне заботиться, подсылать ко мне своих учеников. У меня свои есть. Мне свои хлеба принесут. И в баню сводят. Если понадобится. Мне Непийвода два литра меда привез из Полтавы. И евреечка эта рябая — носит и носит, семью обижает. Все хорошее, диетическое. Творог... Говорю: не надо! Не слушает. И эта еще, черненькая, с губами. Говоришь ей: «Нельзя столько острого! Видишь, какая у меня аллергия?!» А она говорит: «Это от хлорки. У вас хлоркой сильно пахнет. У меня, вот, тоже диатез». И показывает свою шею. Белая, как атлас, и чуть-чуть пушистенькая! Вот дура! В комнате больше никого нет, а я мужчина. Сердце расхотелось — бах! бах! Ударил ее два раза по плечу. Полотенцем.

20 ч. 50 м. А если она пожалуется родителям — скажу, что работать не хотела и грубила. Снова сверлит в

большом пальце правой ноги, и хочется что-то раздавить, раздавить! Принял двадцать капель валокордина. Заварил чабрец.

6 октября.

Появилась боль между первым и вторым ребром, спереди, на уровне нижней части желудка.

11 ч. 10 м. Боль не отпускает. Что это? Поджелудочная железа? Но почему тогда так близко под кожей? Болит буквально между кожей и ребрами.

13 ч. 00 м. Нарыв? Осмотрел внимательно кожу, прощупал. Никаких следов. Нет ни покраснения, ни уплотнений. Это вызывает особые опасения. Главное — боль не сильная. Даже, можно сказать, приятная. Что-то напоминает... Детство... На душе так нежно, так жалко чего-то. Поплакал.

17ч. 10 м. А если это поджелудочная выбилась из-за ребер под кожу? Носят и носят! И все острое, жареное!

10 октября.

Снова плохой день! Вдоль копчика ходят вредные токи: вверх — вниз! Вниз больше — и хочется упасть на пол.

Туфли А.Г. узнаю на расстоянии. Даже ходит не как все! Выделяется! Приходит первая, уходит последняя. Цокает каблуками, как молоденькая, а сверху посмотришь — седая старуха. И на макушке иногда розовая голова просвечивается. Ха-ха! Так ей и надо, старой деве! Пусть! пусть совсем облысеет, а я буду сверху смотреть! Студентов ее погоню! Думают, я не знаю, кто их послал! Хватит! Уже позаботилась!

Как это я забыл принять воду с медом натошак! Сразу чувствуется. И цвет лица не тот! И нет чистоты в организме. Не хочется ничего. А все Феня! Отвлекла! Только успел снизу вернуться — она уже тут как тут! «У меня водичка мыльная осталась — давайте пол протру». А

сама шурует туда-сюда, рубаху новую показывает. Так бы и пнул ногой! Вижу ее насквозь! «Мы, Борис Борисович, через неделю выселяемся! Хозяйка рада, а хозяину жалко. Он тут уже привык. А Иванов завтра переезжает!»

Иванов, Иванов! Вот пусть Иванов и женится на домработницах! Он все картины двумя красками пишет: краплак да ультрамарин. Пусть ему Маша их в ведре разводит! А Борис Борисыч — колорист! Вот дождусь весны — всем им покажу! Уж на этот раз никто мне не помешает! Завистники! Чего только ни придумывают — лишь бы не дать мне осуществить заветную цель всей жизни! То собрание комсомольское, то ремонт капитальный, то на свадьбу пригласят. А это ж всего четыре дня! Ждешь целый год — и вот они пролетели, и зелень уже не та: грубая, непрозрачная. Такую пускай Кононенко пишет!

Несомненно, что в 19-ом веке главным центром искусства стала Россия, ибо в то время, когда русское искусство достигло наивысшей своей высоты, западное искусство сошло на нет, потому что там художники начали выдрючиваться, отступать от природы. А это — только начни, только один раз соври — и скатишься в бездну формализма! Опять...»

Где-то на середине дороги Коля задремал и несомненно проехал бы свою остановку, если бы мужчина, сидящий у окна, не попросил его убрать с прохода ноги.

Б.Б. в это время, торопясь и опасливо оглядываясь, вытаскивал из-за горы бумаг древнюю слежавшуюся папку, обернутую в две коричневые от старости газеты и обвязанную почтовым шпагатом. Тщательно осмотрев папку, он с облегчением убедился, что упаковка не потревожена, и тут же засунул ее глубоко в угол, под кровать. Сверху и вокруг нее навалил без разбора старые журналы «Юный художник», стопки студенческих рисунков и акварелей, которые брал на кафедре для хозяйственных нужд. Присев, он обнаружил, что перестарался: матрац под ним выпирал двумя твердыми

верблюжьими горбами. Он снова полез под кровать, выбросил оттуда лишнее и снова сел, тяжело, но удовлетворенно дыша. Затем нагнулся, поднял первый попавшийся лист — поясной портрет мужчины, грубо написанный акварелью. Б.Б. помнил этого натурщика. Почему-то называли его «полковником»! и проработал он в институте недолго. Может, оттого акварель и не была доведена до конца. Какие-то длинные мазки... красные, оранжевые... «Откуда тут могло взяться красное?! И такое позволяют себе в институте! — сказал вслух Б.Б. с ядовитой укоризной. — Да нам бы в училище за такое Армяков-Козловский...»

Б.Б. покрутил портрет так и этак и прикинул, что его еще можно было бы вытянуть, если бы для начала смыть всю эту непрозрачную гущу... Затем он сложил лист пополам и аккуратно — даром что без ножниц! — выдрал полуэллипс, после чего развернул лист и, довольный конфигурацией отверстия, направился в туалет.

Лампочка, единственная в квартире, оказалась несурово яркой для такого места, и что-то в ней сразу зажужжало, будто заработал маленький счетчик. Однако Б.Б. не поспешил ее выключить. Наконец он увидел в своем новом жилище преимущество. Одно — но неоспоримое. Газ, которым пытался соблазнить его Коля, в счет не шел. От него в воздух попадали опасные для легких выделения. Да и просочиться он мог... Настоящая бомба в доме... Но собственная раковина! Ванна! А главное — унитаз, в котором не кишит, не урчит неотмываемая дизентерия, «боткина» и сифилис — неизбежный при нынешних студенческих нравах... А запах их курева, который не выветривался даже за ночь! А два пролета скользкой мраморной лестницы! Причем — в кромешной темноте! — поскольку ходил он туда только после вечерней уборки, и то — не сразу, а когда просохнет! И все равно задыхался от брезгливости, хотя всегда пользовался «гигиеническим сидением» — вроде этого «полковника». Теперь у него появился свой, собственный унитаз — и со всеми этими «полковниками» было покончено.

Б.Б. яростно скомкал продырявленный листок и бродил его в угол, но, подумав, поднял и мстительно изорвал в куски. Ярость эта относилась к давней неприятной истории — настолько неприятной, что Б.Б. старался ее не вспоминать. Тем более, что о ней никто не знал, в отличие от последней истории — с банкой, которая и погубила Б.Б., поскольку... Ну да ладно.

Эта банка, уже упоминавшаяся, подло поблескивала жестью из-под подиума, и красная этикетка «Меланж» была хорошо видна, хотя комната, после яркого электрического света, показалась Б.Б. совсем темной. Верхнюю половину девятиэтажного дома, на который выходили окна Б.Б., ярко освещало заходящее солнце, и это наполняло его новое жилище нежным и таинственным сиянием, странно выявляющим форму каждого предмета. Каждый прыщик на штукатурке имел свою тень. Люций Вер на тяжелой казенной табуретке застыл посреди комнаты, будто озаренный внезапной мыслью, что лично ему несчастье, постигшее Б.Б., только на пользу. С тупым злорадством следил он за черным валенком Б.Б., пинающим злополучный «Меланж», который снова и снова выкатывался и упирался в планку. Б.Б. смотрел на упрямую шею Люция, на шар кудрявых волос, на узкую бородку, раскаляясь от тайного раздражения. Так раздражать может наглый и корыстный бездельник-сын.

Б.Б. презирал Люция. Он считал, что рисунок надо делать в натуральную величину, а Люций не умещался даже на ватманском листе. На экзаменах его никогда не ставили. Взял он эту метровую махину потому, что сама шла в руки: пьяный Рябокоть плохо связал формы, так что левую половину головы чуть-чуть выперло, а справа на шее получилась глубокая вмятина. Б.Б. провозился три дня, пока заделал дыры и зачесал выступы. Пригрел пса беспородного, который теперь в благодарность таранился на эту банку и паскудно ухмылялся.

— И кому он нужен? — обратился к другим головам Б.Б. — С этими кудрями! На каждую кудрю — неделя работы требуется! Правда, сейчас, оно, конечно... все

дозволяется... Педагог на экзамене говорит: «Прорисуйте хорошо одну деталь!» Каково! Нос, значит, будет готовый, а череп тремя линиями намеченный...

Тупорылый Сократ смотрел, насупясь, поверх головы Б.Б. Будто оглох. Или не желал обсуждать начальство. Такое его поведение Б.Б. обижало, хотя Сократа он в общем-то уважал. В отличие от «Экорше»*. Эта запрокинутая голова, разинутый рот... Будто ему хуже, чем всем! От таких в доме чуть что — только крик и паника. Что касается Никколо да Удзано, то и он был себе на уме, но Б.Б. предпочитал его всем прочим. Никколо, по крайней мере, всегда хотел знать, что и как.

— Плохо! Плохо, — кивнул ему Б.Б. — Так я и не написал свою главную картину! Отлучили! Тридцать лет подступался! Лелеял мечту... Подстерегли! Коварно выбрали момент!

Б.Б. с отчаянием отыскивал глазами чистый холст, прижатый к стене, и тоненько взвыл: как раз наступал этот час... когда молодая зелень на холмах внезапно темнеет, а затем как бы вовсе исчезает. Открываются клубящиеся весенним трепетом пространства, где только солнце золотистой пылью обрисовывает наступающие друг на друга профили невидимых крон.

Б.Б. подошел к окну и передернулся — так неожиданно бесприютен был открывшийся ему пейзаж. Темнеющие дома показались ползущими по земле уродами... Гигантское желто-серое небо... Его можно бы хорошо написать, но — спрашивается — зачем такой ужас?! такая безвыходная пустота с этим стальным осколком тучи, свалившимся наискось неизвестно откуда...

Далеко за домами мелькал испуганный желто-синий троллейбус... как мячик, закатившийся из старого города, куда так рвалась вернуться усталая душа Б.Б. Так рвалась, что он готов был выбить лбом стекло, взмахнуть руками и улететь в это желтое небо... Но вспомнил вдруг, что она-то, Душа его, способна лететь, куда хочет, без всякой для себя опасности, и незачем ее

* *Ecorche* (фр.) — с содранной кожей, обнаженный; имеется в виду голова учебной статуи Гудона.

томить в этой комнате, еще более нежилой, чем плоская земля под окном... И он решился, не откладывая, пустить ее вслед за троллейбусом, чтобы понежилась в тепле и уюте узких улиц, между ветвями старых каштанов, робко разгибающих детские липкие пальчики. Скорее! На мягкие холмы, посыпанные бисерной майской зеленью, не скрывающей диковинные жесты деревьев... Почему-то Б.Б. полагал, что оттуда дольше видно заходящее солнце.

Б.Б. просчитался. И вдобавок — завозился. Промаявшаяся весь день под простыней, Душа вспотела, смялась. Пока Б.Б. встряхнул ее, пока пригладил перышки, пока смахнул с них налипшие крошки (Душа у Б. Б. вылетала через небольшую дырку в левом нагрудном кармане), пока... Ну, а потом — непривычная к дальним полетам, она отстала от троллейбуса где-то в районе Брест-Литовского проспекта, заметалась И, напуганная, вернулась домой. Однако Б.Б. не сдался: он примерился поточнее и послал ее не за троллейбусом, в обход, а наискосок от шоссе. Тут она очень быстро и без особых сложностей добралась до улицы Артема, осмелела, оказавшись в знакомых местах, и вовремя свернула в нужный переулок. Обогнула дом с колоннами, где прожила без малого тридцать лет... Но солнца уже не было, и она зависла в нерешительности, озабоченно помахая крылышками.

Откровенно говоря, в отличие от Б.Б., она не любила этот дом. Днем, пока Б.Б. занимался с учениками, порхала над верхушками холмов, озорничала, сбивая пыльцу с цветов или утренний иней... а то просто повисала без чувств, без мыслей на солнце, особенно осенью... Ложилась на летучую паутину и ждала, куда отнесет ее бабье лето. Но далеко не летала: пуглива она была, боялась дождя, сумерек. Тогда уж приходилось возвращаться в дом. За ширму, под одеяло. Если, конечно, Б.Б. не затевал какое-нибудь важное дело. Он любил, чтобы Душа участвовала в его мероприятиях. Строили новые натюрморты. Разводили хлорку. Хлоркой протирали полы, смачивали тряпку под дверь и бинты, которыми

обматывались дверные ручки. Душе запах хлорки не нравился, но куда было деваться!

С наступлением холодов прибавлялась еще одна напасть. На город накатывали одна за другой волны гриппа, и приходилось вдобавок натирать дверь чесноком. Особенно тщательно — вокруг щелей, в которые проходил зараженный микробами воздух. Душа всегда боялась, что из-за этого чеснока у Б.Б. будут неприятности. Ну, на шею навесил, в карманы наложил — и хватит! Тем более, что простуженные ученики к занятиям не допускались, о чем категорически извещала записка на двери. Впрочем... какой чих, какой кашель разносился по коридорам! Усиленный, умноженный лестничным эхом.

Эх! Вот что она ненавидела в этом закрученном, как раковина, здании. Никогда здесь не было тихо! Что-то гудело, наступало зловещими наплывами, скрипело, похлопывало, вскрикивало где-то в глубине: «А-а! а-а! а-а-а...» Хотя известно было, что в здании никого нет, даже вахтер вышел за папиросами. Боялась, боялась Душа этого здания! Даже тогда, когда весь их этаж был заселен педагогами и в каждой аудитории жила семья. А то и две! Да еще с домработницами! Когда по мраморным лестницам носились друг за другом дети, высекая своими сандалетами искры, съезжали по перилам, и попки их в почерневших за день трусах неслись на встречного из темноты, как немой кошмар. «А-а-а! А!» И Душа бросалась, трепеща, к жуткому провалу, откуда, как со дна колодца, шло сияние, отраженное красным ковром парадного вестибюля. Вечернюю тьму коридора рассекали вертикальные трещинки света, из которых несло жареным мясом, картошкой, подгоревшим молоком... «Да ничего страшного! Разбила коленку... Заходите к нам, Борис, попьем чаю, индийский фильм по телевизору...» А там — там еще страшнее! Еще одино... Лучше к себе, в хлорку! в чеснок! под одеяло!

И всю ночь — «А-а-а...»

Чего уж там! Она знала, что погубила Б.Б. И так он выйти лишний раз боялся из-за этих гриппов-сифилисов, а она добавляла! Боялась этого туалета, как...

Вдруг А.Г. увидит, что Б.Б. туда вошел! Вдруг он там столкнется с кем-нибудь из студентов! — неэтично! И ночью не лучше. Все какой-то убийца мерещился в угловой кабинке. Душа обмирала, трепыхалась... Б.Б., бедный, не знал покоя, даже когда заперся на задвижку. Так нервничал, так дергался, что подложил однажды рисунок на сидение краской кверху. А это, вдобавок, оказалась какая-то непонятная гадость... вроде бы темперу с касторкой мешали или с каким-то лаком... Короче — вода это не брала. Жуткие красно-сине-серые разводы! Они только ездили вверх-вниз под намыленной рукой по бледной коже Б. Б., которая в нелепо ярком свете умывальной комнаты казалась ослепительно-белой! И он стоял, несчастный, перед гигантским зеркалом, ногтями правой руки судорожно сцарапывал эту краску, а левой поддерживал спущенные брюки, готовый тотчас же натянуть их, если в коридоре послышатся шаги. И все это здание, полное сквозняков, злорадно поскрипывало и пощелкивало десятками дверей, так что Душа билась в истерике об оконные стекла и об это самое зеркало — и несомненно разбилась бы, если бы была, к примеру, голубем.

Вам смешно! А попробовали бы сами так постоять! Подниматься по темной лестнице в холодных, прилипающих к телу мокрых брюках! «А-а...» И вы бы прикусывали расплывающиеся губы! И вы бы заплакали о пропавшей даром жизни! и тоже — вслух!

Нет. Не любила Душа этот дом, даже комнату, которую сама же и выбрала, когда Б.Б. только что поступил в институт. Конечно, тогда было другое дело! В комнате стояло пять кроватей. Да и не столько комната ей понравилась, сколько Юра и Микола Ткач, которые туда уже заселились. А потом... Да нет! Она еще до истории с Миколой чувствовала, что застоялось в этой комнате по углам что-то давнее, нехорошее. Но и другие комнаты были не лучше. Да и Господи! Разве приходилось выбирать?! Это же была такая редкостная удача: сразу после института получить свой собственный угол! И

вдобавок с таким пейзажем за окном! Она была уверена, что теперь-то Б.Б. его, наконец, напишет.

Ждала, ждала... А у него все какие-то общественные дела... Потом этот «Берия», а за ним — «Каганович»... Что-то в их лицах настораживало Душу... делало воздух в комнате гнетущим... Тогда она и завела привычку торчать неподалеку в оврагах, на холмах. Все соблазняла Б.Б.: смотри, вот оно, вот! Холмы весной дышат! Деревья наступают друг на друга прозрачными слоями, как кружева! Не откладывай! А он и после «Кагановича» все не мог собраться. Пошли ученики... Хлорка... чеснок... Люций Вер... скисшие натюрморты... Что может быть скучнее светлой комнаты, где пятеро детей без всякой охоты рисуют гипс! По десять раз перерисовывают «вступительную» композицию, а потом еще перекалывают ее иголкой на чистый лист. Душа всегда побаивалась, что однажды экзаменаторы обнаружат эту уловку, и тогда не избежать Б.Б. большого скандала, но переубедить его не удавалось, только портила ему настроение.

Короче — не стала она залетать в свое окно, попросилась с улицы. Удивилась, как это за день оно стало таким же неживым и пугающим, как и все остальные, брошенные полгода назад — и полетела прочь, лишь бегло глянув в освещенные окна вестибюля, где дежурный пил чай над черным телефоном, а красный ковер за его спиной отползал вверх по лестнице, в темноту.

Да. И хорошо она сделала, что не вошла, а то бы расстроилась еще больше. Там на двери, рядом с запиской «Новый адрес Б.Б. Локтева...» висел клочок бумаги с карикатурой: Б.Б. в черных трусах и с крылышками за спиной сидит на окне, свесив ножки. Принимает солнечную ванну. Глаза у него закатились от блаженства. Особенно удалось сложное движение его бровей: левая вместе с параллельными ей морщинами надвинута на глаз в мучительном недоумении, правая — в недоумении счастливом — взмывает вверх. Смешнее же всего было то, что это выражение в точности повторяли складки кожи между животом и безволосой грудью.

Вообще-то к карикатурам на Б.Б. ей было не приви-

вать. Особенно возбуждали студенческое остроумие его валенки. То он выглядывал из пробитого в голенище окошка. То восседал на одном из них в позе роденовского «Мыслителя» со сливным бачком за спиной. То летел как в ступе, повязанный бабьей косынкой, с помелом в руках. Или... Да, но то все Души не касалось, а это был бы прямой намек, укор именно ей. Недосмотрела. Вдруг потеплело, разом, резко — и она размякла, утратила бдительность. То всегда всего боялась, надоедала Б.Б. своими предчувствиями... А тут — расселась с ним на окне, разомлела! Не подумала, что солнечная ванна Б.Б. сорвет урок по всей школе. Даже когда дети высунулись в окна, не смутилась, не запретила ему махать им рукой и подмигивать.

Да, что-то странное сотворила с ней эта весна. Видно, судьба была уйти с обжитого места, оборвать с кровью корни... А как иначе объяснить ее последний промах! Он-то и оказался роковым. А вовсе не солнечные ванны. Поздно вечером... вдруг... распелась! Захотелось ей, чтоб Б.Б. окно распахнул! Вдохнул синий упоительный воздух, запахи цветения! услышал, как... Вот и схитрила, стала запугивать! На лестнице мокро, в умывальнике сквозняки, воспаление легких, двусторонний отит... Слышишь, двери стучат... «А-а...» Ну он и решил, распахнул окно. Да так и замер! Вся ночь двигалась ему навстречу, как прекрасная женщина, и он стоял, счастливо обмерев, минут пятнадцать! пока вспомнил, зачем, собственно, открыл окно, и полез за банкой. Хорошая, кстати, банка, плотно закрывалась... И как плеснет — широко, вдохновенно, чтоб подальше... А Душа и не вспомнила, что скоро неделя, как кусты под окном вырубил, заасфальтировали дорожку и наставили лавок. И тут же визг! Уже через минуту в дверь стучали... Б.Б., одетый, дрожал под одеялом, делал вид, что его разбудили, а там кричали: «Мы видели, из какого окна!»

Возвращаясь к новому пристанищу, Душа пообещала себе, что не станет больше навещать прежние места, беречь себя воспоминаниями.

Между тем Б.Б. не сидел сложа руки. Он заметил, что Сократ развернут и освещен замечательно удачно, и решил, не откладывая, пристроить ему драпировку. Б.Б. вылез на табуретку и ловко задвинул за голову Сократу дощечку с красным сатином. Остаток ткани путем хитрых манипуляций вывел вперед и уложил благородными складками, отчасти прикрывшими свалку под подиумом. Он представил себе, как изумится Коля, обнаружив такие перемены, и воодушевился настолько, что едва не сверзился назад затылком. Хорошо, что под рукой оказалась труба отопления. Не дождавшись, пока утихнет сердцебиение, он взялся за благоустройство Никколо. Часть зеленой драпировки из-под Никколо он изящно отвел вбок на табуретку, массивная нога которой висела над бездной, и построил на ней натюрморт. Чуть выше, между двумя подиумами, он проложил мостиком доску, накиннул на нее попавшуюся под руку пижамную куртку и, придирчиво щурясь, расставил гипсовую дребедень с Экорше в центре. Новое положение вещей создавало замечательное преимущество: в любое место свалки можно было воткнуть фанерку, так что получалась устойчивая полочка, годная для постройки натюрморта. Он тут же и устроил их штук восемь из всего, что удалось собрать под ногами и в холодильнике.

Коля действительно охнул, когда явился утром. Он еще на лестнице понял, что Б.Б. обживает: в парадном сильно пахло хлоркой и явственно отдавало чесноком. Дверная ручка квартиры Б.Б. была тщательно обмотана влажным бинтом. Половину коридорчика занимала мокрая клетчатая тряпка. Обреченно вытирая о нее ноги, Коля был уже готов к чему угодно. Но увидев «Пергамский алтарь», созданный за ночь Б.Б., просто потерял дар речи. Учитель весь светился от ликования и потирал руки.

— Вы что же, головы сами таскали?! — ожил наконец Коля.

— С ума сошел! Инфаркта мне не хватало! Мозгами надо шевелить, мозгами! Ну что, здорово?

— Здорово, — промямлил Коля. — Только там же вещи остались, за подиумом и внизу. Все разбирать придется.

— Да ты что! — вскрикнул Б.Б. и покраснел всем лицом. — Такую красоту?! Обойдусь без того барахла. Что там осталось?

— Ну... Кастрюлю вон вижу, ящик... Краски, наверно... Грелка... Чемоданчик коричневый...

— Грелку достань.

Коля присел на корточки и стал протискиваться плечом за подиум. «Мостик» под Экорше дрогнул.

— Оставь! — испугался Б.Б. — Пусть так и будет! Ну ее. Она все равно пластырем заклеена. Буду бутылками пользоваться. В Англии все пользуются бутылками. А тут, Коля, холод и сырость хуже, чем в Англии, солнца никогда не будет. Борис Борисыч теперь — дитя подземелья.

Он побрел на кухню. Точно завоняло валерианой, заболталась в стакане ложечка.

— Там мама вам пирог передала! — крикнул Коля. — В кульке лежит.

Б.Б. помычал. Вернулся в комнату, показал пальцем на закрытый рот. Коля кивнул понимающе.

— А у вас в доме, видно, похороны, — сказал он. — Я шел — там люди стояли... разговоры похоронные.

Б.Б. поморщился. Не любил он похорон. Особенно не любил марш Шопена. Всегда вздрагивал, когда доносились откуда-то это медное, долбящее землю «бу, бу, бу-бу...» А как трубы взвоят, запрокинувшись к небу, совсем жуть брала. Он даже затыкал уши. Несносная музыка! Вот уже, кажется, кончилось, удаляются, уходят — и вдруг нате вам! — начинают заново, будто разворачиваются всем оркестром назад.

Б. Б. не досчитал до шестидесяти секунд и проглотил свою болтушку, только бы Коля не стал развивать ненавистную тему.

— Давай Люция Вера задвинем вон туда, в угол. Как раз закроет весь беспорядок, — предложил он бодрым голосом. — Ты толкай табуретку, а я буду страховать. — И он обнял императора повыше ушей.

— Двигают! — оказала старуха, живущая под Б.Б., и мотнула головой на свой потолок.

Соседки, собравшиеся под ее окном, оживились.

— Я ж говорила! — затараторила одна. — Гроб еще рано утром завезли. Я угол видела, когда заносили.

— А ночью топали, топали. До трех часов, наверно.

— Хоть бы сегодня увезли! — стала жаловаться молодая, толстая, — Собака всю ночь выла. Нет сил!

— И наша выла. Чуют...

Тут что-то сильно грохнуло в глубине дома. Послышался далекий женский визг. И снова грохот. И снова визг, но теперь уже ясный, проявившийся, как переводная картинка, и всем знакомый — визг дворничихи Паши:

«Лю-у-ди! На по-о-мощь! Убива-а-ют!!!» И, судя по запинкам и перепадам этого голоса, а также топанию и шарканью на лестничной клетке, Паша не преувеличивала.

Толпа неуверенно качнулась, но скорее в сторону от парадного. Предполагали, что оттуда должны вырваться растрепанная дворничиха и ее матом ревуший супруг, а ему, пьяному, не дай бог попасться на дороге. Опыт уже имелся. Но произошло нечто не положенное по сценарию. Гневный мужской голос перебил Пашкин визг: «Не смей бить женщину! мерзавец!» А затем новый грохот и короткий вскрик: «Уби-и-ли!» Такой же точно, как накануне, когда вносили труп. Тут соседи ринулись-таки на лестницу. На пяти этажах захлопали двери, замелькали в лестничном пролете головы — и все увидели вчерашнего покойника. Его незабываемый запрокинутый профиль, четкий нос, высокий лоб... Теперь уже без простыни. Он лежал как бы сломанный пополам в поянице: худые ноги в пижамных штанах раскинулись поперек лестницы, одна — босая, желтенькая, другая — в огромном черном валенке, который короткими, но неумолимыми толчками сползал вниз. Другой валенок валялся у порога распахнутой настезь квартиры, в глубине которой виднелось жуткое сооружение: все эти вчерашние головы, выставленные наподобие хора. И

казалооь, что это именно от них так страшно разит хлоркой... И еще казалось, что все они как-то разом подались к двери, пытаясь понять, что случилось с их хозяином.

Хозяин лежал в уже описанной позе. Испуганные соседи изучали его бледное, с белыми губами лицо... необыкновенно тщательно выбритое... густые светлорусые волосы, как-то трогательно откинувшиеся вверх и набок и постепенно намокающие бурой кровью из лужи, которая все разрасталась на кафельном полу, тихо отходя под широченный вельветовый пиджак... коричневый, накинутый прямо на голое тело, точнее — на сиреневую майку, так что целиком была видна красивая стройная шея с дикарским ожерельем из зубцов чеснока. И как непонятная подробность кошмарного сна — сухие каштаны на полу, на лестнице... катятся, покачиваются, спрыгивают со ступеньки на ступеньку...

Теперь кричал мальчишка раздражающим подростковым баском:

— «Скорую»! «Скорую» быстрее! — И еще: — Это я! это я виноват! Я должен был его удержать!

Так что Паша охотно поверила в его вину и на него же напустилась:

— Чего вы сюда выскочили? Кто его звал! в семейные дела мешаться!

А милицию, которая подросла раньше «скорой», она уверяла, развозя ладонью кровавые усы, что муж ее и пальцем не тронул, что это она свалилась со стула, когда снимала белье, что во всем виноват покойник: подвернулся подбородком под локоть, а у нее, у Паши, трое детей, и без мужа их не поднять.

Повторимся: что за несчастная судьба у человека! Какая бы беда с ним ни приключилась, для всех вокруг — потеха и цирк. Нет-нет! Успокойтесь: на этот раз Шопен не настиг Б.Б. Однако неизвестно откуда прокатился по институту слух, будто бы Локтев умер. В который уж раз! И все, как обычно, поверили, засуетились... Бросилиоь расспрашивать Колю, как только он показал-

ся на пороге школы. И хотя Коля, излагая суть происшествия, сильно сгущал краски, все тут же развеселились, и пошла по школе, по институту история о драке. Очередной анекдот. А что смешного в том, что муж дворничихи, отталкивая Б.Б., попал ему локтем в кадык, отчего Б.Б. задохнулся и потерял сознание? И крови он потерял много, хоть и натекла она из пустяковой ранки: грохнувшись в обморок, Б.Б. угодил затылком на кусочек гравия. Или для того, чтобы кто-нибудь отнесся к Б.Б. всерьез, ему следовало умереть?

Взять хоть больницу — уже к вечеру там ходили легенды, оскорблявшие Колю. Больные собирались под дверью палаты Б.Б., откуда доносился бабий вой: «Зачем! Зачем я вмешался! Теперь он ждет меня в парадном, чтобы добить! А если его посадят — она сживет меня со свету! Мне нельзя! мне нельзя возвращаться!» Коля считал, что Б.Б. абсолютно прав, и собирался поговорить об этом в институте, хотя и сам не знал, на что надеяться. Разумеется, никто и не подумал выслушать Колю. Зато тут же неизвестный автор набросал картинку, изображающую Б.Б. в виде Георгия Победоносца с копьем и, конечно, в валенках. Особенно хорошо получились поверженный пьяница — «змий», и дворничиха — «царевна». Коля с неоправданной злостью изорвал этот рисунок. Возможно, ему от природы не доставало чувства юмора, а может, возмутила быстрота этой метаморфозы: только что — испуг, сочувствие, готовность помочь — и вот уже карикатуры, вот уже Мишка Зайцев вытащил похищенный при переезде растрепанный дневник, забрался на подиум и читает его вслух, кривляясь, подвывая и копируя манеру речи Бориса Борисыча...

«28 сентября, 20 ч. 35 м.

В теменную кость с левой стороны как будто засаживают кусок раскаленной жести, согнутой в гармошку, каждые тридцать-шестьдесят секунд. Проходит насквозь до половины мозга. А за ухом так и вгрызается, так и вгрызается к той же точке по перпендикуляру.

Знаю: когда они сойдутся в этой точке, произойдет инсульт.

22 ч.30 м. Принял чабрец и пустырник, а бессонница не отпускает.

2 октября. 8 ч. 45 м.

Проснулся и сразу обнаружил, что мозг наверху отлепился и свободно болтается в черепе, вызывая изнурительную боль.

11 ч. 26 м. Слабительное не подействовало.

15 ч, 00 м. Слабительное не подействовало.

Непийводина дочка — подлая! Снова бросила мыло в воду, чтобы меня разорить! Знает, что у меня пенсия 18 рублей, что я в нищете прозя»-

«...же и грамотности настоящей у них не было. Что может Франция противопоставить передвижникам! Где их «Бурлаки на Волге»? Где их «Боярыня Морозова»? Ага! То-то! Делакруа? Чепуха! Эта его «Свобода на баррикадах» без воздуха и без пыли! Как постановка театральная. Мужики в шляпах! А один без штанов! Почему вдруг без штанов?! А сама эта «Свобода»? Как белая сосиска в желтом платье! Лицо поганое, рука неправильно стоит! Вот вам и французы! Тряпками позакладывают, чтоб не видно было, что не знают анатомии. А ихний Энгр хуже всех! Насажал полную баню голых баб — все безграмотные, без скелетов и без мышц. А еще академик! Или Ренуар... Намалюет дамочку кое-как, подсушит, а потом сухой кисточкой туману наведет, чтобы скрыть ошибки.

11 октября.

Проснулся и лежал, пока в школе не зазвенел звонок. От этого звонка всегда что-то дрогнет внутри. Нехорошо: потом сердцебиение. Надо засекают время и затыкать уши.

19 ч. 00 м.

На сгибах кишечника что-то цепляет и мешает прохождению пищи. Ощущается озноб и такой звук: тенн! тенн! А потом еще — совсем тоненько — о-ок!

Подлая, подлая, подлая дочь Непийводы!

12 октября. Так что же все-таки: почка или радикулит?!»

Ну и что тут смешного? А все гогочут, просто падают с парт, и даже Коля с трудом удерживает улыбку. Он чувствует себя виноватым.

Смиримся же, наконец: да, Борис Борисыч — человек-аттракцион! Ну и что? Ведь, в конце концов, он сам когда-то к этому стремился. Пел, плясал, устраивал розыгрыши. Вот все и привыкли. Взять такое, например. В общежитии, в той самой комнате... Утром пораньше привязывают к лампочке нитку. Двое, присев на пол, раскачивают за ножки кровать спящего товарища, третий дергает за нитку. Человек просыпается и под воздействием памяти о недавнем землетрясении выбрасывается в коридор в одном белье.

Или вот еще — тоже сценарий и постановка Б.Б. Это уже в Никольской слободке, на практике. Поздно вечером, к тому моменту, когда на дороге должны появиться деревенские девушки, идущие из клуба, труппа Б.Б. обматывается с головой простынями и заходит в озеро по грудь. По сигналу занырявают, а когда девушки появляются, начинают не спеша, в живописном беспорядке, в полной тишине подвигаться к берегу. Представляете? Ну вот. Их тогда чуть не отправили в город за такие шутки. Или еще... Да разве все перескажешь! И всегда заводила — Б.Б. И всегда смеется громче и дольше всех, будто нарочно... а потом долго хватает воздух открытым ртом, прижимает локоть клевому боку. Тоже, вроде бы, нарочно. Все и привыкли. Тогда же, в Никольской слободке, когда профессор Крестовский влез белыми брюками в краску, все решили, что это Б.Б.

для смеху перепачкал траву. А он просто палитру уронил и не обратил на это внимания.

Да что там! Взять хоть это самое «сальто» на заводской трубе. В Самарканде, во время эвакуации. Человек взбирается на двадцатиметровую высоту — сам, кстати, вызвался — написать по кругу: «Все — для победы!» И вдруг задевает что-то ногой — и взлетает ввысь! переворачивается через голову! — а внизу — рваное железо! ржавая арматура, готовая принять его жалкую фигурку на копыя! Но Б.Б., описав круг, аккуратно становится на обе ноги посреди метровой площадочки! И с тем же ведром в руке, а краска из ведра еще летит вниз на замерших от ужаса зрителей... И что же — через пять минут уже все хохочут! Человека током рвануло! Его могло бы сейчас разбрызгать по всему двору, как эту краску, а ему хлопают, будто клоуну! Но сам он чем лучше? Разве он не пялил вперед грудь? не подмигивал так, будто готов сейчас же повторить свой фокус? Но вот что никак нельзя объяснить: через неделю — письмо из Ташкента:

«У нас прошел слух, будто погиб Боря Локтев. Невозможно в это поверить: он был такой... Мы только сейчас поняли, как его...»

Любили! А как выяснилось, что жив — тут же смеяться. Над всем, включая больное сердце. И сразу — карикатура: Б.Б. танцует на трубе в пачке, сетчатых чулках и парике Мэрион Диксон, а изо рта — облачко со словами: «Я из пушки в небо уйду! Диги-диги-ду-у!» Жалко, что тогда еще не было валенок. Валенки появились... Пойдите-постояйте... Где-то через год после расстрела Берии. Году в пятьдесят пятом... Валенки, Берия... Какая связь? Да непосредственная. Знаменитая «Клятва другу», дипломная работа Б.Б., за которую он получил Сталинскую премию, место преподавателя и собственную комнату (и тех самых завистников, о которых вечно толковал) — так вот эта картина представляла собой огромный пейзаж. Большую часть его занимало небо, вечернее, бесцветное... дальний горизонт... Одинокая могила — и над нею задумчивый Берия в развеваю-

щемся плаще. Нет, чтоб выбрать какого-нибудь Ворошилова, Буденного! Лицо ему показалось поинтеллигентней! Лицо... Вещь обманчивая. Смотришь — вроде действительно интеллигентное, приятное, добродушное. Очки... А как скажут тебе, что это злодей, мерзавец, каких мало — сразу видишь: точно! Свиная рожа, взгляд неискренний, улыбка подлая. Ничего по лицу нельзя понять!

Гнойная правда сочилась в ночь из черного репродуктора: «...являлся агентом разведок... систематически совершал...» Б.Б. лежал, свернувшись под одеялом, и задыхался от страха, вздрагивал от каждого звука. Ждал. Опыт предыдущих лет учил, что были у него основания бояться ареста. Ну что ж, достаточный повод для того, чтобы получить обострение. И странностями обзавестись.

Друзья Б.Б. искренне беспокоились за него. Но когда стало окончательно ясно, что никто не собирается трогать Б.Б., все снова завеселились. Рассказывали со смехом о том, что он боится выходить на улицу, рисовать, работать... Короче, получалось, что заболел он по доброй воле, но перестарался. А главное — понапрасну. Всего-то и было, что картины Б.Б. повывбрасывали из музеев.

Ну так как же не повеселиться над героическим подвигом Б.Б., рисковавшего жизнью ради спасения неблагодарной дворничихи! Как не изобразить двух санитаров, ведущих упирающегося Б. Б. по лестнице домой! Как не увековечить его забинтованную голову! Ведь известно уже, что ранка безобидная. Известно, что дворник не убил Б.Б., когда вернулся из тюрьмы через два месяца. А что он боялся выйти из своей квартирки — так он и раньше не выходил. В общем, ссылка на окраину ему не повредила. Волновались, что он там останется один, без помощи, а он не только старых учеников не растерял, но еще и новыми оброс. И не удивительно: дешевле трех рублей никто в городе не брал, а он — бесплатно. Да и левачить начали многие

педагоги, а у него школа строгая, академическая. Как никак, ученик Армякова-Козловского и такое прочее. Так что напрасно Коля сердился, возмущался человеческим легкомыслием и неблагодарностью.

Бедный Коля, не знал он, что приближается срок его собственного предательства. Неожиданного и даже как бы случайного. Скорее всего, ничего бы такого не произошло, не появился на горизонте Вика.

Вику направил к Б.Б. Юра Коваленко, с которым когда-то она училась в студии Фроловского. Встретились на выставке. Юра пожаловался Вике на сермяжную скуку в институте. Она рассказала, что завалила экзамен по рисунку. Он посмотрел Викины работы, сделал кое-какие замечания и в конце концов сознался, что, занимаясь у Фроловского, бегал тайком к Борису Борисычу Локтеву, что это, конечно, неэтично, но так делали многие ученики Фроловского, поскольку Фроловский совершенно не давал того, что нужно для поступления в институт.

Не окажись при этом разговоре мать Вики... Но она оказалась. И уже через день понурая Вика стояла на лестнице, как раз там, где в свое время покоилась нижняя часть тела Б.Б., а мать ее стояла на месте давно смытой кровавой лужи. И звонила... звонила... Здравый смысл требовал развернуться и уйти, но Викиной маме было досадно возвращаться из такой дали ни с чем. Кроме того, она знала от Юры, что Б.Б. очень болен и уже лет двадцать как не выходит на улицу. А значит, варианта было два: либо скорая увезла его в больницу, либо он находится в квартире, но по какой-то причине не в состоянии открыть дверь. И вполне возможно, что дверь придется ломать.

Этими мыслями она поделилась с дочерью и собиралась уже позвонить в соседнюю квартиру, но тут дверь Б.Б. дрогнула и резко распахнулась на всю длину цепочки. В открывшейся щели блеснули глаза — будто битое стекло упало в воду. Затем стали постепенно проявляться и все прочие подробности, нам уже знакомые.

Ибо коричневый пиджак поверх сиреневой майки, а также валенки на босых ногах не были следствием торопливых действий человека, услышавшего женский крик о помощи. Они представляли собой повседневный деловой костюм Б.Б., продуманный до мелочей. Чего мы еще не видели — так это лица Б.Б. в его официально-отчужденном выражении. С удовольствием отметим: лицо было красиво. Особенно лоб с высокими светлыми висками, с романтично накатывающей русой волной без единой сединки. Губы Б.Б., редкой, совершенно юношески трогательной формы, были напряженно сжаты. От уголков рта поднимались кверху застенчивые складочки, ограничивая с двух сторон верхнюю губу, так что она не сходила, как обычно, на нет, и имела выражение вдохновенной готовности к улыбке. Да и голубые глаза стали хороши, как только немного успокоились.

— Вы к кому? — подозрительно начал Б.Б., хотя уже заметил и белое платье Вики, и длинные — по всей спине — волосы, и рижскую клетчатую папку, распираемую рисунками.

Мать Вики подробно изложила ему, что адрес взяла у Юры Коваленко, что в прошлом году Вике поставили двойку по рисунку, хотя все уверяли, что она очень способная. Б.Б. слушал недоверчиво и не спешил сбросить цепочку. Потом вдруг решился и широко раскрыл перед ними дверь.

Из квартиры разило хлоркой, чесноком и еще чем-то затхло-кислым. Вике почему-то казалось, что это запах сиреневой майки. Чувствительная к запахам, она тут же начала задыхаться, побледнела и даже не пыталась вникнуть в невнятные стенания Б.Б. Захлопнув дверь и заперев ее на две задвижки, Б.Б. вдруг весь как-то раскис и тоненько затараторил:

— В ужасный момент! В ужасный момент моей жизни вы попали! Уничтожили меня завистники! Предали на растерзание низким людям! Лишили последнего смысла жизни! Придется мне распустить учеников. А как я буду без них существовать!

Вика не улавливала смысла в его словах, поняла

только, что Б.Б. им почему-то отказывает, и испытала от этого большое облегчение. Ученики — их оказалось довольно много, в основном девочки-пятиклассницы, смурные и напуганные, — повалили из ванной комнаты, а двое выбрались из стенового шкафа.

— Продолжайте работу, — строгим мужским голосом скомандовал Б.Б. Стараясь не шуметь, они заняли свои табуретки и без вдохновения зашаркали карандашами, забулькали в воде кисточками.

— Вынужден, вынужден отказать. А ведь все родные, родные люди, — снова заскулил Б.Б. бабьим голосом. — Вот это — дочка моего лучшего друга, — указал он на затравленную крепышку с бантиками. — А эта — Коля! Я учу его уже больше шести лет! Он мне как сын, можно сказать! Душу вложил! А теперь вынужден бросить на произвол судьбы. Остаться, так сказать, без единственной своей последней опоры. Я таки знал, что эти низкие люди мне отомстят! Хотя его посадили не за меня, а за жену! У меня пенсия — восемнадцать рублей. Как я могу из такой пенсии платить налоги?! Оболгали меня! А я денег с людей не беру! И не буду брать. Борис Борисыч искусством не торгует!

И Б.Б. зарыдал, не скрывая лица. Тут сразу видно стало, что черты его несколько простоваты, что вовсе ему не за тридцать, а по меньшей мере — за пятьдесят. Длинные белые зубы, разделенные треугольными щелями пародонтоза, пугали. Будто обнажилась страшная тайна: что человек этот, минуя стадию старости с ее обычными атрибутами, на ходу превращается в скелет. И вздорную эту мысль подтверждал подозрительный грохот в валенках. Казалось, под черным фетром болтаются обнажившиеся кости.

Но всего страшнее был двойной голос Б.Б. Будто он говорит, а кто-то подвывает ему. И пожалуй, что Экорше — своим разинутым пыльным ртом. Да Удзано улыбался, как неискренне сочувствующий сосед, и на лбу его красовалось пятно, похожее на засохшее яйцо — след кухонной баталии. Слева от его плеча догнивали два яблока рядом с заплесневелым ломтем хлеба и глечи-

ком, а пониже роились мошки вокруг куска вишневого пирога. Именно этот пирог изображала «дочь лучшего друга», и, судя по замученному виду ее акварельки — уже давно. Сидела она ссутулясь, почти касаясь носом рисунка, — очевидно, боялась рассмеяться.

Душа Б.Б. буквально трепетала. Знала, что Б.Б. не выносит эту девчонку, и если та рассмеется — произойдет катастрофа, скандал. Что Б.Б., в его расстроенном состоянии, не удержит даже присутствие посторонних, и он покажется им в наименее выгоднейшем свете, возможно даже отлупит паршивку, и тогда эти двое подумают о нем Бог знает что.

Так уж вышло, что Душе Б.Б. Вика понравилась вопреки всякому здравому смыслу. Это длинное белое платье с бледным цветком на пол-юбки, эти длинные волосы... длинные негустые ресницы, светлые глаза, готовые в любую секунду налиться слезами... Нравилась. Хоть и ясно было, что она с гонором, строптива, а рисовать как следует не умеет. Как и все ученики Фроловского. Но преобладал надо всем... корыстный интерес. Почему-то Душа сразу уверовала в могущество Викиной матери. Как только услышала, что эта дама — юрист, так и повисла у нее на юбке в немой мольбе, перебивающей бессвязный лепет Б.Б. И дама вникла, выудила из путаного потока слов нужное и перехватила инициативу. Она тоже, хоть и по-своему, оказалась человеком, который живет как бы на сцене, как бы перед зрительным залом. Так где-нибудь в провинции... хороший ресторанный тенор... подходит к столику блистательного незнакомца и поет, обращаясь к нему, «Очи, — например, — черные», а тот, благосклонно дослушав первый куплет, поднимается — и подхватывает мощным оперным голосом...

Б.Б. даже сел, когда Викина мать взялась излагать своими словами суть дела.

— Значит, так! — начала она. — Низкая неблагодарная женщина заявила в финотдел, что вы якобы занимаетесь частной практикой и не платите подоходного налога. Вы получили повестку, но в указанное время в финотдел не явились...

— Какой налог! У меня пенсия восемнадцать рублей! Я инвалид третьей группы! — втиснулся со своим припевом Б.Б., особенно напирая на слово «третья», будто это некая высшая стадия, но развернуться ему не удалось.

— Успокойтесь! Перестаньте прятаться! Отдайте эту повестку мне! Завтра я им устрою! Они еще придут к вам извиняться!

Затем она изложила дикторским голосом биографию Б.Б. Он и не представлял себе, что успел ей столько рассказать. Особенно же потрясли Б.Б. тонкие обобщения, с которыми она осветила его обстоятельства. У Б.Б. посветлели глаза, сомкнутые губы трепетно подергивались в восторженном изумлении. Он снова был похож на юношу. Действительно, он уже двадцать лет прикован к дому. Не может сам ни выбросить мусор, ни купить себе хлеба, а между тем — единственный! — бросился на помощь женщине, подавая своим ученикам пример гражданского мужества! Действительно, будучи учеником известного передвижника Армякова-Козловского, он является мостом, соединяющим классическое и современное искусство. Действительно, дети — его единственная связь с внешним миром, а забота о нем оказывает на них дополнительное воспитательное воздействие. И лишив Б.Б. этой связи, государство обязано будет взять на себя заботу о человеке, который чудом существует на восемнадцать рублей.

— Вот именно, вот именно, на восемнадцать рублей! — вдохновился Б.Б. — Другой на восемнадцать и три дня не проживет! А я даже откладывать мог бы! И ученикам своим, так сказать, этот опыт передаю. Во-первых, — тут же начал он делиться опытом с Викиной матерью, — барахла не надо покупать. Дорогую вещь купил один раз — и она тебе всю жизнь служит.

И он потащил ее к стенному шкафу.

Б.Б. по очереди вытащил оттуда тяжелое синее пальто, старомодный коричневый костюм, хорошо сшитый из дорогого бостона, шелковую рубашку.

— У меня там еще есть кое-что, — указал он на

грандиозное сооружение, увенчанное гипсами и натюрмортами. — Но ни к чему оно все, лишнее! Каждая вещь должна быть продумана — для чего она тебе!

Душа так вся и заметалась! Не хотелось ей, чтобы Б.Б. расхотелся при Вике, но остановить его было уже невозможно.

— Художник, — все сильнее распалялся Б.Б., — должен выбирать, что для него важнее! Искусство — или каждый день воротник стирать на рубашке, время тратить! Я к этой майке, — он даже расстегнулся для наглядности, — пришел путем поиска! В ней нет ни воротника, ни извините, подмышек! Опять же цвет! Темную майку, к примеру, вываривать не надо. С вываркой оно как: вываришь три раза, и пошло все дырками! Будь добр, новое покупай, бросай денежки на ветер! Поэтому Борис Борисыч купил себе майки фиолетовые, или, как мы, художники, выражаемся для красоты, — сиреневые. Вы можете спросить: почему фиолетовые, а не голубые, к примеру? А я вам отвечу: фиолетовый цвет — не то что голубой, он желтизны не боится, а когда полиняет, так даже еще лучше становится! Теперь пиджак. Вельвет, чтоб вы знали, самая лучшая ткань — ему сносу нет! При том у него вид — артистический! И к телу приятно, а главное — ворса отталкивает грязь! Или вот носков я, к примеру, не ношу: от них одна вонь! А валенки имеют лечебный эффект: грубая шерсть. Если брать большой размер, нога не потеет.

И он сочувственно поморщился на Викины узкие туфельки.

Душа прямо вся измаялась! Видела, видела, что не стоить об этом при Вике, что она вот-вот расхохочется! Или расплачется, вон и глаза уже полны слез — сейчас вскочит и убежит, а мамаша не пойдет ни в какой финотдел. И Коля тарачился на Б.Б. с мольбой и осуждением. Тоже... проникся...

Нет, не была Вика красива. Но что-то в ней было... Станный наклон фигурки, эти нежеланные слезы в светлых глазах, эти влажные ресницы... Душа все видела и жалела Колю. А Б.Б. тоже видел, но не жалел и

раздражался, глядя, как у Коли отчаянными рывками ходит туда-сюда острый кадык. Знал Б.Б., чего в ужасе ждет от него Коля, знал! И в глазах его уже поблескивала веселая жестокость. Но — удержался. Свернул. На каштаны. Погромыхал в валенке, загреб из кармана целую горсть.

— Знайте, вот это — спасение от всех болезней. Если б не это — Борис Борисыча давно уж не было бы в живых. Я, — он сделал паузу, будто боялся оглушить собеседника своим страшным сообщением, — ревматик!

— Да, — с весьма умеренным сожалением покивала Викина мать. — У Викочки тоже ревматизм.

— Что ж вы раньше не сказали! — вскричал Б.Б. так, будто только что узнал, что Вика — родная его сестра по отцу. — Беру, беру, хоть и знаю, что работы негодные! Знаю, как они рисуют у Фроловского: никакой школы! Я всех его учеников доучиваю! В институт готовлю. Общее дело делаем: он любовь к искусству прививает, а я шлифую, можно сказать, брильянты.

Далее Б.Б. перечислил двадцать-тридцать имен, и при каждом имени Вика и мать ее чуть не вздрагивали и обменивались взглядами, полными испуга и удивления.

— Встречу Фроловского — расцелую, — продолжал воодушевленный их реакцией Б.Б. — Брошусь на шею! Большое, скажу, дело делаешь!

— Вы знаете, — деликатно замурлыкала Викина мать, — мы бы не хотели, чтобы Михаил Исаич узнал о том, что мы обратились к другому педагогу... Он человек самолюбивый, можно сказать — ревнивый... И к тому же сердечник, после инфаркта... Не хочется, чтобы по нашей вине...

— О чем речь! — великодушно повел плечами Б.Б. — Никому не скажу!

Он, наконец, сел, раскрыл Викину папку и произнес с торжеством пророка, убедившегося в правильности своего предсказания:

— Конечно! Так и есть! Способная девица, но совершенно запущенная! — И застонал капризно: — Если б вы хоть на пару месяцев раньше обратились!

Мать укоризненно кивнула Вике.

— Ну что теперь! — продолжал Б.Б. — Поздно! Сделаю, что могу, но... Ничего не гарантирую. Постараюсь все вложить в самый короткий срок...

Бедная Душа Б.Б. чувствовала себя корыстной лгуньей. Она видела ясно, что подготовить Вику в институт не удастся и за год. Ее рисунки не просто не соответствовали должному уровню — они как бы настаивали на своей безграмотности с какой-то наглой мощью. Самое странное, что Душу Б.Б. они чем-то привлекали, и она суетливо порхала над папкой, стараясь получше разглядеть с быстрым ветерком сменяющие друг друга листы. По большей части это были портреты, нарисованные жирными черными линиями с небрежной подтушевкой в самых неожиданных местах, создающей иллюзию объема вопреки всем правилам. Очевидно, Душу подкупала какая-то чрезмерная выразительность этих лиц.

Итак, лица были безусловно неправильны. Б.Б. неохотно морщился, а вместе с тем кроме отдельных незначительных мелочей ни к чему не мог придумать, пока не наткнулся, наконец, на изображение гипсовой головы Вольтера.

— Ну вот! — чуть не захлебнулся он радостной слюной. — Какой же это гипс?! Это ж какая-то проволока гнутая! Где здесь объем? Где здесь фактура?

Душа, растерянно помахивая крылышками между рисунком и носом Б.Б., с недоумением сознавалась себе, что почему-то видит и объем, и фактуру, и даже пространство.

— Что это у тебя? набросок? Гравюра? — продолжал Б.Б. — Сейчас я покажу тебе, что такое настоящий гипс!

Он потянул из-за батареи доску, к которой был приколот Колин Сократ, и сюрпризным жестом выставил ее перед Викой.

Коля тут же попытался забрать свой рисунок. Душа Б.Б. его понимала. Как-то и ей самой Колин Сократ вдруг показался скучным и необычайно серым.

Но Б.Б. выдернул у Коли доску.

— Видишь? Все тут на месте! Полная, так сказать,

раскладка! Это тебе не то, что пальцем грифель развить! Это выразительные средства! Тон! Полутон! Вал,,р! — Голос Б.Б. становился все нежнее. — Сфумато! И, наконец, — блик! — при слове «блик» глаза Б.Б. восторженно блеснули.

И Викина мама взглянула на Вику так, будто много раз говорила ей о том же, да дочь не слушала.

— И знаешь, в чем корень зла? В том, что Фроловский позволил тебе рисовать мягким грифелем. У меня любому сосунку известно, что гипс рисуют тонким и твердым карандашом! Вот как-нибудь позвоню Фроловскому и скажу: «Что же это ты детей калечишь мягкими карандашами?!»

Тут Вика напряженно вытянулась и, наконец, произнесла свои первые слова:

— Михал... Исаич... ругал меня за то, что я рисую мягким грифелем... Это я сама!

Оказалось, что голос у нее слабый, какой-то напряженно-неуверенный, будто она старается удержать вертикально лист тонкой бумаги. У Коли екнуло сердце. Он испугался, что сейчас этот голос сломается и опадет, и неожиданно для себя пробубнил противным подростковым баском:

— Хорошие рисунки. Если написать, что это Ван Гог, все будут восхищаться.

— Ван Гог! — изумленно взвизгнул Б.Б. и развернулся к Коле вместе со стулом. — Нашел пример для подражания! Может, он «Бурлаков» написал, твой Ван Гог? Или «Запорожцев»? Или «Боярыню Морозову»? Да его не то что в институт не приняли бы — он в художественную школу экзамен не сдаст! Он же стул нарисовать не умел! Смотри, как у меня малые дети рисуют табуретку! — Он бросил Вике на колени целую стопку восьмушек с одинаковыми табуреточками, похожими на подтонированные чертежи. — Видала? А у него, у взрослого мужика, кривые стулья без всякой перспективы!

— А я, — закричала Вика, и слезы покатались-таки по ее лицу, — за один стул Ван Гога отдам ваших... всех ваших «Запорожцев» и «Суворова с Альпами»! К ним по

два вьетнамца в день подходят, а к Ван Гогу не протиснешься!

— Ты чего? Ты чего? — испугался Б.Б. — Да я не против Ван Гога! Если хочешь знать, я сам когда-то баловался этим! — Он с вороватой ухмылкой подмигнул в сторону кровати. — Если бы ты увидела кое-что, ты бы со мной так не говорила! Но ориентироваться надо — на высшие достижения! На людей, получивших настоящую школу! А твой Ван Гог, небось, и про плоскость горизонта не слышал!

Тут Б.Б. пошел толковать про «точки схода», про фронтальную плоскость и про сагитальную, про линию профиля, про лицевые узлы... Душе было так досадно, что он все выдает в первый же день! Так она надеялась, что он хоть про вертушку дополнительных цветов забудет! Куда там, вспомнил и про это! Даже стишок дурацкий про белого медведя выдал сейчас же. Он и сплясал бы, будь в комнате свободное место, но всюду сидели девчонки со своими папками, табуретками, скрипели карандашами, вякали кисточками в банках с водой — унылые, позабытые Б.Б.

В тот день Вика ушла первая. Мать ее куда-то спешила, и Б.Б. не решился их задерживать. Неизвестно зачем засобирился и Коля, вызвался их проводить. Б.Б. стоял у окна и смотрел, как они идут по дорожке к троллейбусу. Вика с матерью шли под руку, Коля плелся справа от Вики. Ветер дул сбоку, и длинные волосы Вики относило на Колю. Б.Б. было интересно, о чем они говорят. Боялся, что Вика ругает его, и послал Душу следом за ними — проверить. Но волнения его были напрасны. Как раз в тот момент, когда Душа догнала их, Викина мать говорила с большим воодушевлением:

— Вот видишь! Сколько раз я тебе твердила, что ты даром тратишь время у Фроловского! Ты у него за четыре года не узнала столько, сколько этот дал тебе за один день! Кстати, ты все запомнила?

Душа вздохнула. Она знала, что расточительному Б.Б. сказать больше нечего. Что завтра снова будет вал,р, и сфумато, и точки схода...

— Ну что ж, — сказала Вика раздумчиво, — может, и насобачусь как-то на этом дурацком академизме... Одного не пойму, — сурово обратилась она к Коле, — вам-то зачем сюда ходить? Ведь у вас в художественной школе с реализмом вроде бы все в порядке!

— Да... — промычал Коля смущенно. — Привык как-то. Хожу к нему с детства. Он ведь совершенно беспомощный. Я при нем вроде как нянька. Я хотел вас попросить... Вы там хорошенько объясните все, в этом финотделе... А то он так испугался, что запретит и мне приходиться.

— Да-да, — с одобрением откликнулась Викина мать. — Я все сделаю, можете абсолютно не беспокоиться! Я и по дому ему помогу! Свяжусь с другими мамашами, и мы проведем у него генеральную уборку.

— Ой, вот это не удастся, — смутился Коля. — Это уже многие хотели сделать. Не дает. Вы видели там натюр-морт? Зеленая чашка и кусок пирога с вишней. Это моя мама передала ему еще весной. Я говорю: «Борис Борисыч! Давайте выбросим! Вокруг него мошки летают!» А он как разоидется! Стал обзывать меня вандалом, Геростратом!

Душу слегка задели такие Колины слова, но в целом домой она вернулась успокоенная. Начинались сумерки. Обычно в это время Б.Б. посылал ее к дверям института поджидать А.Г. Нет чтобы послать утром, по солнышку, когда она идет нарядная, подтянутая, бодро цокая каблучками. Душа различила бы это цоканье даже среди шарканья целой толпы. Нет, именно в сумерки посылал, когда она тащится, седая, одинокая, на отяжелевших неуверенных ногах, ступающих как-то отдельно друг от друга. Душе давно надоело изучать синие жилы на лодыжках А.Г., подсчитывать ее морщины. Она частенько халтурила, не долетала до места и, скоротав время в каком-нибудь скверике, докладывала Б.Б.: «Да-да, посмотришь — так тебе в матери годится!» Он особенно и не вникал. И Душу оскорбляло выражение скромного злорадства на его лице.

Так что она была очень довольна, когда Б.Б. послал ее в совершенно неожиданное место. Далековато, правда,

но она уже привыкла мотаться туда-сюда и на удивление осмелела. Короче, до «Бурлаков» она добралась через какие-нибудь полчаса. И действительно, в зале оказался один вьетнамец. А может — кореец. Он что-то писал в записной книжке. Оттуда Б.Б. послал ее совсем уж в Лондон, к стулу Ван Гога, но законопослушная Душа его долетела только до границы — и вернулась назад. Впрочем, Б.Б. не сомневался, что Вика и тут права.

Он сел у окна, подпер голову кулаком... Задумался. С одной стороны, новая ситуация даже радовала Б.Б. Столько раз он готов был уничтожить, сжечь работы, увязанные в серой папочке и хранящиеся под кроватью! И не уничтожил только потому, что не было никакой возможности совершить это, не привлекая к себе внимания и не оставляя следов. Ведь даже изрезанные на мелкие кусочки, они могли быть извлечены из мусорника и сложены, где надо, в целое. И вот теперь получалось, что эти фитюльки, написанные полушутя, под чужим влиянием и, возможно, для того лишь, чтобы показать себе и другим: вот, дескать, и я так могу, причем запросто! — эти пустышки способны собрать вокруг себя толпу, способны перевернуть всю жизнь Б.Б., имеют право на будущее... Неужели они действительно стоят больше, чем картины, написанные кровью и потом? В которые вложено столько знаний! столько чувства! И все даром, впустую! Неужели человечество когда-нибудь дойдет до такого безумия, что ради мазни, которую без труда выдаст любой способный семиклассник! снимут «Бурлаков» и сожгут на заднем дворе музея, как его «Клятву другу» и «Пути в будущее»?!

Нет! Такого быть не может! Б.Б. поднялся, вытер со лба холодный пот и заходил по комнате. В крайнем случае унесут в запасник. А потом, когда пройдет это время безумных заблуждений, достанут — и поймут!

Б.Б. вдруг озарил: может, и его детища целы и ждут где-то своего часа! Во всяком случае — «Пути». Ведь Каганович — не Берия, не так уж сильно он проштрафился. И Б.Б. тут же, не дожидаясь утра, отправил свою неотдохнувшую Душу в Харьков.

Была уже поздняя ночь, когда Душа оказалась в музее. На всякий случай она пролетелась по пустым залам, поискала в запаснике, а потом еще в длинном сыром подвале. Она хорошо видела в темноте, и даже сквозь пыль, но она не выносила запаха мышиного помета. Картин было слишком много, приваленных одна к другой, так что протиснуться ей было очень трудно. А она устала. Да и картины все были какие-то... Короче, снова она сжульничала. Подумалось вдруг — а что, если слетать в прошлое? И надо же: у нее это получилось со второго раза, причем даже крыльями работать не пришлось. Как-то так вытянулась, напряглась, вроде бы вывернулась наизнанку — и оказалась перед картиной. Краски живые, свежие, как бы даже... с росой. Картина выглядела несколько иначе, чем ей помнилось. Будто и Каганович, и его спутники ушли за эти годы чуть левее и глубже... и не так сильно бросались в глаза, но все равно: ужасно хотелось, чтобы их не было вовсе! Эх, Борис Борисыч! Как она просила его: не надо этих фигур! Лучше без них! Красивое небо! красивый горизонт! Сохнувшие степные травы на переднем плане! Уж как Душа пела, когда он их писал! Говорила ему: «Зачем тебе эти усы да кепки!» — «Нет, нельзя иначе! Требование эпохи!» А она вон как быстро ушла, «требовательная», и картины с собой утащила...

Не любила Душа эту эпоху. Точно так же, как красный дом с колоннами, о котором все сожалел Б.Б. и куда невесть зачем гонял ее чуть не каждый день. Не сочувствовала, когда Б.Б. начинал рассказывать о каких-то забавных случаях, проделках, замечательных событиях своей молодости.

Ей бы утаить от Б.Б. новооткрывшиеся способности, честно порыться в картинах... Ну и поплатилась...

С этого дня стал ее гонять Б.Б. почему зря в лучшие свои времена. Не сразу, конечно. В первый день ему было не до того. Проснулся ни свет ни заря и начал переживать по поводу финотдела. Как там, не забудет ли Викина мать, не передумает ли идти, не перепутает

ли часы приема... И что ему тогда делать — забаррикадировать дверь? распустить учеников? Или наоборот — оставить, пусть подтвердят, что денег Борис Борисыч не берет. И как в таком случае поступить с Викой — не выгнать ли ее? Почему-то ему приятно было мысленно прогонять Вику. Мстительно воображал себе, как открывает дверь и холодно говорит через цепочку: «Вы уж извините, мадам тю-тю, но я передумал. Запущены вы! Вам не то что я — вам и Армяков-Козловский — да что там! — сам Чистяков вам уже не поможет, с такой техникой и с таким гонором в придачу!» Захлопнуть у нее перед носом дверь, а перед этим еще станцевать!

Вместе с тем он с нетерпением ждал Вику. Возможно, это был азарт борца, ставшего в стойку в ожидании противника. Так, например, ему очень хотелось, чтобы Вика явилась в своем белом платье с этим гигантским лиловым цветком. Тогда он мог бы ей сказать: «А эти кринолины, мадам, годятся не для работы над произведением искусства, а для лежания в постели до двенадцати часов) Будьте добры, больше не являйтесь на занятия в ночной рубахе!» Б.Б. с наслаждением предвкушал, как у нее повиснут на ресницах слезы, а губы потемнеют и как бы чуть-чуть размажутся... Еще он надеялся, что она принесет свой толстый грифель. И он даст ей начать рисунок, а потом поднимет на смех, а потом изорвет испорченный лист, а грифель изломает и выбросит в окно! Когда же она снова начнет про Ван Гога...

Но ничего такого не произошло. Правда, на Вике снова было белое платье, другое, с бледно-розовыми горошинами. Но при ней оказался фартучек, светленький, с белыми оборками, с вышитым сердечком на кармане. Б.Б. смотрел, как она завязывает сзади длинные ленты, и не знал, что сказать. Душе же все это... как-то нравилось. К тому же мать Вики с порога сообщила, хоть и мельком, но никак не умаляя своих заслуг, что с финотделом вопрос закрыт, с чем последовала на кухню и стала там шумно разгружать сумку, не давая Б.Б. времени насладиться радостью избавления.

— Зачем! Зачем! — огорченно вскрикивал подоспевший Б.Б., вода расстроенным взглядом за пухлой рукой, выгружающей из сумки миску голубцов, банку сгущенки и пакетики концентрированного супа. — Зачем семью обижаете! Вы меня и так спасли! Можно сказать, к жизни вернули! Заберите обратно домой! В семье пригодится, а я же один! Несут и несут! Идемте! — И он распахнул перед Викиной матерью кладовку. Метровая гора суповых пакетиков дрогнула и двинулась на нее из глубины, опасно качнулась сине-белая башня сгущенки.

Викина мать удовлетворенно кивнула, цепким взглядом оценивая содержимое кладовки и на ходу корректируя принятое прежде решение. Но уносить домой ничего не согласилась. И вообще стало ясно, что Б.Б. с ней спорить не может. Отчасти из благодарности, отчасти — она подавляла его своей всесторонней мощью, что очень беспокоило Душу: Душа знала, как это может сказаться на Вике. И предвидя, какими катастрофами чревато такое воздержание Б.Б., обмирала от страха.

Но... Но Вика... хоть и в вызывающе белом платье, сидела какая-то неестественно смиренная. Придаться к ней было невозможно, как к женщине, которая вышла замуж за нелюбимого, но решила стать ему идеальной женой. Сидела, вытянувшись, так что даже за сутулую спину ее нельзя было ругнуть, и держала наготове твердый карандаш, заточенный как шило. Смотрела выжидающе, готовая принять новую порцию академической премудрости.

Б.Б. начал с того, что посоветовал ей выпивать натощак стакан кипяченой воды с чайной ложкой меда.

— Лучшее средство от прыщей, — провозгласил он, пристально всматриваясь в крошечный прыщик под воздушной, зачесанной набок Викиной челкой.

Душа боялась, что он начнет еще объяснять механизм воздействия, но имеющий богатый опыт Коля сочинил на ходу:

— У меня, Борис Борисыч, что-то грунт на холсте трескается!

— Ну вот, — шлепнул себя по коленям Б.Б. — Все ясно:

завел, конечно, слишком густо клей! Раствор должен быть совсем реденький! чуть желтенький!

Пожалуй, это было единственное, что Вика узнала нового в тот день. Но, в конце концов, повторение — мать учения, так что Б.Б. не только не смущался — он получал не меньшее, чем накануне, удовольствие, произнося звучные слова «вал», «р», «сфумато», и так же взблескивал глазами при слове «блик». Но Душа!.. Уж так ее воротило от этих бликов! от точек схода! от мудрого завета передвижника Армякова-Козловского: никогда не тереть резинкой вдоль линии, а только поперек! И все эти гипсы, гнилые натюрморты! Даже дети!

Честно признаться — Душа и их не любила. Ну, сочувствовала, разумеется, Б.Б., который буквально из кожи лез, чтобы натаскать их до необходимой для поступления кондиции, но... Душа и имен их не запоминала, тем более что и Б.Б. за глаза пользовался не именами, а характеристиками, «Непийводина злобная дочка», или — «Вот эта близорукая, что не хочет пить сырые яйца», или — «Та дуреха, которая травилась мухомором, когда завалила экзамен по живописи», «Тот, мордастый, в очках, у которого отец поэт», «Рябая евреечка с задницей», «Деревенская, которая одевается не хуже городских» и так далее. Случалось, правда, и наоборот: прицепится к какому-нибудь имени — и треплет его на все лады: «Эльза-Ильза-Гильза!» Или полюбит какую-нибудь звучную фамилию — тут уж держись! Замучит! «Ар-р-тист Бржестинский! Что это за нос вы построили Сократу?!» А нос был как нос. Как на двадцати других рисунках. Признаться честно, Душа и не различала, где чей. И никогда она не могла понять, завершена ли работа. Ни разу не было такого, чтобы Б.Б. сказал: «Все. Довольно. Эта картина готова». Куда там! Только что-нибудь вроде: «Ну-ну! Вот уже начинает получаться!» или «Хороший старт!» А на этом «старте» постылом акварель уже наслоилась грязной синекоричневой ржавчиной! Ничего! В крайнем случае Б.Б. смоешь лишнее жесткой кистью: «Работай, работай дальше!» — даром, что желтенькое яблочко сморщилось,

стало коричневым, засохло, а по драпировке ползет черная плесень — продолжай, продвигайся к никем не достигнутому совершенству! Да-да, никем не достигнутому, ибо чудо избавления свершалось всегда одинаково — протиралась в бумаге дырка. Не терпела бумага совершенства!

Что же касается Вики, то ватман ее прохудился даже слишком скоро, но, к сожалению, не насквозь, поэтому Б.Б. не позволял ей начать новый рисунок. Надо сказать, что Викин «Экорше» был, пожалуй, одним из худших, какие доводилось видеть Душе, — такой бездарностью, такой тоской от него веяло! Казалось, именно Вика — виновница его двухсотлетней скорби. Душа предпочла бы прежние проволочные Викины выверты. Короче, дня через два она потеряла интерес к Вике и стала летать в прошлое, уже по доброй воле. Остановится Б.Б. у Вики за спиной, начнет дышать укоризненно, ругаться за то, что сильно давит на бумагу, или привяжется к Непийводиной дочке: «Снова ты воду в мельницу налила!» А Душа — шурх! — и уже далеко.

Было у нее в прошлом несколько любимых дней. Чаще всего она отправлялась в Никольскую слободу. Развалится в траве... вс., гвоздички, желтые лютики... Где-то совсем рядом шмель гудит... Снизу, с речки веет свежий ветерок... по небу тихо передвигаются облака... студенты рисуют... хорошо рисуют, правильно. И такие все молоденькие, важные... Крестовский в белом костюме... вот-вот влезет штаниной в злополучную краску! И как знать — не за брюки ли за испорченные подбил он Б.Б. нарисовать Берию?! Впрочем, чепуха! Кто ж тогда мог подумать, что Берия — шпион...

Вернется нехотядомой... проверить — как там... А там что — там Коля сидит, Вике в затылок смотрит... и глаза у него — будто решил броситься с моста... Вот Эта, близорукая, в шестой раз покрывает лист желтой акварелью и гадает, зачем его покрывать и для чего она должна оставить нетронутым миллиметровый квадратик белой бумаги в центре листа...

— Как для чего, как для чего? Сейчас сюрприз будет!

— Б. Б. щурится на квадратик, будто проверяет, испекся ли пирог. — Ну-ка, скажи, какого он цвета?

— Белого... — говорит девчонка.

— Как же белого! — начинает обижаться Б.Б. — Ты лучше, лучше присмотришь! Ну? Какого цвета?

— Бе-е...

— Какой цвет дополнительный к желтому, тупица ты! — темнеет лицом Б.Б.

— Фиолетовый...

— Ну вот! Теперь еще посмотри! Какого цвета?

— Фиолетового?

— Ну да! Наконец-то! — ликует Б.Б. — Фиолетового! Или как мы, художники, говорим для красоты, — сиреневого!

Непийводина дочка сидит, съездившись, столкнешься с ней взглядом — жмурится, как зверек, на которого замахнулись палкой...

Тошно, тошно Душе... Она опять в Никольскую слободу. На бережок. Там хорошо... Мотя сидит на сухом стволе поваленной вербы... Платье у Моти розовое, слишком. Ядовитый цвет. Зато как она пахнет, Мотя, — кувшинками! И на шее кувшинка висит... Стебель порезанный — как ожерелье. Темные волосы на висках мокрые... А у Б.Б. футболка белая в голубую полоску...

— Выходи за меня замуж, Мотя? — говорит он.

Тут Душе становится неловко... Знает она, как все будет. Точнее — именно не знает! Вот Б.Б. рисует Мотю в этом самом платье... вот посылает ей с почты открытку... Вот Б.Б. стоит в кабинете перед Крестовским и Яремичем, кланчит комнату, эту самую свою будущую комнату... Крестовский в белом костюме, Яремич — красавец, рубашка апаш... Вальяжные оба...

— Ну зачем вам жениться, Локтев! Карьера только начинается» все впереди!

А Б.Б. не сдается, на своем стоит. Вот он поясок Моте присматривает в галантерейной лавке... А дальше просто непонятно — куда она делась? Будто и не было никогда... Душа потыкалась туда, потыкалась сюда, да и вернулась.

Снова Коля. Снова Вика. Б.Б. сидит на кухне. На столе. Голый. Позирует Этому, у которого родители поумирали, и он пару раз приходил выпивший. Ему обнаженную натуру сдавать. А где ж возьмешь деньги на обнаженную натуру? Вот и мерзнет Б.Б. на сквозняке, нервы себе расстраивает. Кухня-то маленькая, рисовать приходится из коридора. А дверь в комнату хоть и закрыта, но все равно страшно. Б.Б. осторожно спускает ногу, касается босыми пальцами пола, бежит на цыпочках посмотреть, не наврано ли в пропорциях, не начал ли этот артист накладывать тон на непостроенной фигуре. Знает его Б.Б.! Сердце так и колотится, так и бухает: вдруг сейчас злобная дочка Непийводы высунется в дверь! Тогда Б.Б. придется ее убить. Да, так недолго и инфаркт получить, но сейчас ему недо инфаркта. У него на животе появилась сыпь и разбегается с немыслимой скоростью, все выше и выше, все гуще и гуще.

— Видишь, что делается! — скулит Б.Б., уже водворившись назад, на свое место, стараясь не шевелить губами. — Я классический аллерг!

— Да какое там классический! — грубит Этот, что без родителей, что два раза выпивший. — Не надо было столько яиц глотать! Я бы от пятнадцати яиц уже дуба врезал!

Б.Б. вздыхает, подсчитывает: «Вика принесла пять яиц. Та Рябая с задом — десять. Действительно — пятнадцать!» И что это его вдруг понесло! Так весело было их есть! Цокнешь о стенку, отковырнешь скорлупу, припушишь солью — и в рот! Вроде бы для того, чтоб показать девчонке этой близорукой, что яйца вкусные. А на самом деле из-за Вики.

Душа чувствовала, что именно так оно и есть. Вот уж, кажется, совсем перестал обращать на нее внимание, махнул рукой — и снова... Все-то ему хотелось ее как-то задеть... даже обидеть! или позабавить... похвастать перед ней... Что делать, мужчина...

Постоит над Викой, посопит... и пошлет Душу туда, в дни своего триумфа. Нельзя сказать, что Душе это было

неприятно. Аплодисменты, речи, новый костюм (первый в жизни), вручение диплома и медали лауреата, ответное слово... Крестовский... прогулка под руку из конца в конец выставочного зала... Конечно, Крестовский — профессор, но и Б.Б. не просто выпускник — лауреат Сталинской премии! Взад-вперед, под руку... красная дорожка пружинит под ногами... полотна маленькие... полотна средние... полотна на полстены... «Видишь, — самодовольно мурлычет в разлапистый нос Крестовский, — видишь, сколько тут Ленина! А ты тоже хотел. Твоего бы среди этих всех и не заметили бы! Говорил тебе, что будешь благодарен старику за совет!» И у Б.Б. губы дрожат от благодарности... Сам Андронов руку пожимает: «Хорошее начало, молодой человек!»

Или еще погонит Душу в приемную Кагановича. Лазарь Моисеевич согласился попозировать во время работы. «Вы, Лазарь Моисеич, забудьте о моем присутствии, я тут, в уголочке...» Легко сказать — забудьте... Он, бедный, уже и стоит, и смотрит, будто с картины. И посетители его тоже. «Может, вам чаю, Борис Борисыч?»

Но уж в этот день Душу приходилось загонять силой. Она и теплое рукопожатия дожидаться не стала, вынырнула чуть позже... в комнатенку Б.Б., где эти «Пути в будущее» уже целую стену занимали. Восхитилась привычно: красивое небо... какого цвета — и не скажешь... сумерки... темная трава под ногами. И чего тут не хватало без этих мужиков?! Ну что бы ему тогда послушаться ее! Ведь умоляла, убивалась: «Смой их! Смой! Пусть даже рельсы останутся, они не мешают! Девушку какую-нибудь дорисуй в крайнем случае, но не этого усатого с приплюснутым носом! Ведь Крестовский тебе больше не указ!» Душу такая досада взяла! Вцепилась она Б.Б. в свитер, перепачканный краской, затрясла его, завопила в самое ухо: «Ты что, еще одну Сталинскую премию хочешь?! Хватит с тебя премий! Знаешь, какой прок от этой премии будет? Гонорар промотаешь в два счета, а картина повисит в музее года три — и в мусор! Прощтрафится твой Каганович!»

Простая была Душа, думала: вдруг Б.Б. хоть теперь ее услышит... И надо сказать, что лицо Б.Б. выразило некоторое беспокойство... Даже взял вдруг и набросал на бумажке девушку в развевающемся платье... с развевающимися волосами... Душа аж задрожала от радости, решила: наконец-то получается! Вот теперь за раз всю жизнь его исправит! И ну давить: «За А.Г. перестань бегать! Не нужна она тебе с этими тремя языками! с очками, нажитыми от непрерывного чтения! И мать у нее дворянка, а никакая не горничная! Видно ведь! А отец — не иначе как белый генерал! Зачем тебе такие неприятности! На что тебе эти три иностранных языка, если сам ты ни одного не понимаешь! А главное — не оценит она героизма твоего, унизит тебя, опозорит! В загс не придет! Будешь стоять, стоять три часа на солнцепеке в новом костюме с целым кустом белой сирени в руках — всем на смех!»

Но тут уж Б.Б. не выразил никаких признаков внимания. Более того: набросок девушки, повертев рассеянно, смял и бросил в корзину. А сам принялся за руку Кагановича, устремленную вдаль. Ракурс был сложный — снизу. Такое под силу разве что Микеланджело. А Б.Б. ничего, справился. Душа покружила над корзиной: показалось ей, что девушка чем-то похожа на Вику. Впрочем, набросок был сильно скомкан. Вздохнула — и вернулась. И так ей дико показалось все вокруг! Валенки... пижамные штаны на тощих ножках... Там Каганович жал руку Б.Б. с сердечной правительственной симпатией — а тут... Викина мать тащит его, как мальчишку, за локоть...

— Нет! Я хочу, чтобы вы заглянули туда! Вы сразу поймете, откуда запах!

— Нельзя! Не смейте ничего трогать! Это же красота! Это неприкосновенное! Это, можно сказать, — алтарь искусства!

— А это что? А это? А это? — граненым дамским голосом звенела Викина мать. Она потянула за хвостик сгнившее яблоко, причем хвостик вытащился вместе с качаном. — И это называется реализм: у девочки на

рисунке оно желтое, а в натуре — уже все стало коричневое!

От такого аргумента Б. Б. дрогнул.

— Хорошо, — сдался он, — выбрасывайте. Мы его заменим. Найдем похожее.

— Да это что! — не оценила жертвы Викина мать и сунулась толстыми плечами в дебри «алтаря», по дороге зацепив угол зеленого сатина, так что стоявшие на нем бутылка и коробок спичек поехали и грохнулись на пол. — Вы сюда загляните, там сзади — другой натюр-морт!

Б.Б. нехотя сунулся за фанерку и отшатнулся так резко, что качнулись Сократ и Экорше, двинулся с места гипсовый шар с угрожающим звуком, похожим на дальний гром. Там, в полумраке, тоже была драпировочка и плетеная корзинка... возле корзинки громоздилось не большими кучками что-то темное и... живое.

Б.Б. обмер на несколько секунд, но тут же воскликнул с облегчением:

— А!.. подумаешь! Грибы сгнили! Я и забыл, что ставил Светке грибы!

— Ну так что? Будете их хранить? Или позвольте мне вычистить и вымыть хотя бы этот угол?

— Ладно, — вздохнул Б.Б. — Ты помоги, Колька... Неудобно... Там черви...

Коля тут же взялся отодвигать передний натюрморт. Девочки взвизгнули и зажали носы. Вика опрометью выскочила на балкон. Б.Б. направился было за нею, но по дороге отвлекся на трусливо согнутую спину дочки Непийводы, остановился и, звонко хряснув по ней растопыренной пятерней, заорал:

— Все будет отцу рассказано!

Коля был очень брезглив, но чувство долга в нем преобладало над всеми прочими чувствами. Стараясь не приглядываться, он столкнул гниль в коробку и тут же поспешил с нею на мусорник. Но запах в комнате не только не исчез — он еще и распространился по всей квартире. Такой густой, что даже имел как будто цвет... эдакий серо-коричнево-синий. Б.Б. пришлось отпус-

тить учеников по домам, а Викина мать сама попросила хлорки и, обвязав пол-лица мокрым носовым платком, пошла нагло шуровать повсюду веником и тряпкой.

Колю, ввиду приближающихся экзаменов, отправили на балкон к Вике делать наброски. И он, поколебавшись, согласился. Конечно, он полагал, что обязан принимать участие в уборке, но... побыть наедине с Викой!.. Главное — не дать ей уничтожить эти самые наброски! Ибо, в отличие от Б.Б. и от Души его, слишком увлекшейся путешествиями в прошлое, Коля знал, что Вика не забросила свой жирный грифель и в отсутствие Б.Б. извлекает его достаточно часто. Он знал даже, когда это должно произойти. Сначала Вика, как бы впервые обнаружив перед собой замусоленный лист с изображением Экорше, все меньше похожим на оригинал, замирала. Опускала руки. Напряженно закидывала голову. Начинала постукивать ногой об пол. Вот тут и выныривал из папки крамольный грифель и случайные клочки бумаги. Почти не отрывая руки, Вика набрасывала Экорше. Затем по очереди все остальные гипсы Б.Б. Рисунки получались объемные, красивые, похожие. Разве что выражения их были несколько преувеличены. Сократ выглядел чуть тупее, да Удзано — чуть любопытнее. Такой рисунок занимал у Вики не больше пяти минут.

На законченные рисунки она чинила карандаши. Возмущенному Коле Вика объяснила, что утонет в бумагах, если будет сохранять всю свою «пачкотню», после чего Коля стал отбирать у нее рисунки с мрачной пунктуальностью. Вика, удивленная, но и несколько польщенная этим, начала расширять тематику. Она изображала ряд профилей одинакового размера, находящихся друг на друга — как это делается на медалях или знаменах. Сократ, Люций, Никколо... — и передний справа всегда был профиль Бориса Борисыча. А то еще набросает одну из гипсовых голов — и пририсует к ней майку, валенки, пиджак, руки в карманах, набитых каштанами. И так точно она передавала позу Б.Б. — его непринужденную стройность, тайную настороженность! Но что

поражало больше всего — она, не теряя сходства, и лицам их придавала выражение лица Б.Б.

Самого Б.Б. она могла изобразить, кажется, даже закрыв глаза. Она рисовала его коротеньким, с огромной головой, но это никак нельзя было назвать карикатурой. Представьте: здоровенный валенок, и из него, как чертик из табакерки, выскакивает Б.Б. в своем пиджачке поверх майки, а между пиджачком и валенком — вместо ног — пружинка. Но в том-то и дело, что это не было смешно! Романтичный полет волос! глаза, сверкающие испуганно-восторженным любопытством, вдохновенно-робкие губы... Это был обжигающе живой портрет, полный доброты и сострадания.

Так что Коля не чувствовал себя предателем, когда повесил этот портрет учителя над своим столом. Рядом он прицепил Викиных «Бурлаков». Естественно, что у бурлака на переднем плане, того, что смотрит прямо на зрителей, было лицо Б.Б. Молодому, с запрокинутой головой, она пририсовала профиль Коли, а вдали на барже громоздилась голова Люция Вера.

Была еще другая «копия», с «Утра стрелецкой казни». Б.Б. в грозной позе Петра восседал на коне, на переднем плане на земле валялись отбитые головы Люция Вера, Да Удзано, Экорше и Сократа, а на эшафоте стояли их обезглавленные подставки. Слева плакала сама Вика. Подобных копий она набросала множество, когда Б.Б. заставлял ее делать схемы композиций...

А в тот день на балконе Вика нарисовала коллективный портрет, вроде фотографий, какие привозят с курортов: Б.Б. в кругу своих гипсовых друзей сидит на лавочке, и на всех — вельветовые пиджаки и валенки. Вика не поленилась подкрасить выступающие треугольники маек сиреневым фломастером. И такую они все вызывали жалость — даже Люций Вер! — что Душа Б.Б., отвлекись она от учиненного Викиной мамой разгрома, не обиделась бы на Вику. Но Душе было не до того. Б.Б. лежал на кровати, с левой рукой на сердце, с правой на лбу. К причудливой смеси ужасных запахов он прибавил запах пролитой валерьянки.

Викина мать мощно возила тряпкой туда-сюда, точно, как Феня, настырная домработница Петровых, и так же выглядывал у нее сзади кружевной подол рубашки. Б. Б. сознавал, что должен бы быть ей благодарен: интеллигентная женщина... моет... старается ничего не задеть... Ах, как ему хотелось, чтобы она задела! И не какую-нибудь мелочь, а пусть даже Люция Вера! и пусть бы он разлетелся вдребезги — и Б.Б. мог бы с полным правом заорать! замахать кулаками!

Б.Б. хищно следил за нею. Но ничего серьезного она не натворила, и Б.Б. пришлось придаться к мелочи. Освобождая угол комнаты, она переставила свою сумку со стула на подоконник. Б.Б. не сразу обратил на это внимание, но вдруг сообразил! вскочил! забился весь, закричал шепотом:

— Стойте! Что же вы! что же со мной делаете?! Соседи увидят — подумают, что у меня женщина!

— Да ведь все видели, что я к вам иду, — удивилась Викина мать.

— Не понимаете! Ничего вы не понимаете, какие подлые люди окружают меня! Напишут анонимку, что у меня дом свиданий! И меня выселят, сошлют за черту города! Подождите, не смейте подходить к окну!

Он приволок из передней двухметровую рейку и принялся поддевать ею ручку сумки. Дело оказалось не такое простое, и Б.Б. долго манипулировал рейкой в позе азартного рыболова, пока поддетая сумка не съехала, наконец, ему прямо в руки. Достигнутый успех его несколько умиротворил, но он все же не забыл о кознях соседней и продолжил:

— Собак!.. нарочно под моими окнами выгуливают по ночам собак и гавкают, чтобы я не мог спать! А вот это? Посмотрите! — Он указал на сырое пятно на потолке прямо над раковиной. — Вот вам пример! Софья Исаковна! Я так хорошо отношусь к евреям, а она дырочку просверлила и водой на меня капает!

— Да бог с вами, Борис Борисыч! Это трубы подтекают, надо слесаря вызвать.

— Вы не знаете! — простонал он женским голосом и

помолчал, будто не решаясь открыть ей ужасную правду. — Это она мне мстит за то, что я на ее Наде не хочу жениться! У нее там какая-то Надя на фабрике работает! Из села!

— Ну а почему бы не жениться, Борис Борисыч, если женщина хорошая? Надо посмотреть, познакомиться...

— Какая там хорошая! Ей просто из села на работу далеко ездить! Пропишется — а потом отравит какой-нибудь едой вредной! Или скандалить начнет, доведет меня до инсульта. А мне и обратиться будет не к кому: вокруг одни враги!

— Вы извините, — сказала Викина мама, — но, по моему, главный ваш враг — мнительность. Почему вы вообразили, что у этой женщины какие-то корыстные цели? Может, она устала от одиночества, хочет заботиться о ком-то! И потом — что вы все про этот инсульт? С чего бы это у вас должен быть инсульт?

— Что же, — насторожился Б.Б., — по-вашему, мне пенсию даром платят?

— Да нет же! Но люди с третьей группой инвалидности живут абсолютно полноценной жизнью! Объясните мне: почему вы не можете выйти на улицу? Ведь вы же по комнате ходите! Вчера вот камаринскую танцевали. Вышли бы с Колей под руку, походили бы возле дома... У вас стало бы совсем другое самочувствие!

Б.Б. улыбнулся улыбкой Будды и покачал головой.

— Если бы вы знали все...

— Как хотите, Борис Борисыч, но мне кажется, что не так уж страшно вы больны, а просто сами себя до смерти запугали!

Если бы Викина мать три дня придумывала, как задеть Душу Б.Б. всего больнее, она бы не выдумала ничего лучше... Душа Б.Б. так и заметалась, так и затрепыхалась! Это недоверчивое, насмешливое отношение к Болезни Б.Б. терзало ее всю жизнь! И пусть уж Викина мать проявила такое непонимание — что с нее возьмешь, с чужого человека! — но тут прослеживалась цепь, буквально какой-то заговор! Вот, кажется, только что все были свидетелями: у Б.Б. высокая температура... его

ударил током... пырнули ножом в плечо — и все волнуются, стараются чем-то помочь — Но что же — стоит Б.Б. чуть оправиться, стать на ноги — и к Болезни его начинают относиться как к комическому эпизоду, им же, Б.Б., и разыгранному для потехи. А то и... для корысти! Замечала, замечала Душа эти тени язвительных усмешечек на губах, это легкое недоверие во взглядах... И то сказать — как-то слишком к месту все это случилось!

Что чужие! Душа и сама начинала порой колебаться: действительно ли... Она еле дождалась, пока уйдут, наконец, Вика с матерью и Коля, пока Б.Б. уляжется на кровати... правая рука — на лбу, левая — на сердце... и опрометью бросилась в тот день, когда Б.Б. с голыми ногами и в сатиновой тунике изображал Менелая на прохваченной сквозняком сцене актового зала. Мартовский ветер приоткрыл форточку, но никто и не заметил: рыженький Женька Любавский, изображавший Париса, подхватил на руки высокую, статную скульпторшу — Елену... На репетициях он ее уносил достаточно легко, но тут вдруг — повернулся, что ли, неудачно? — застрял посреди сцены с красным от напряжения лицом, и Менелай — Б.Б. — не знал, что делать — получалось, что у него предостаточно времени, чтобы отнять у замершего похитителя жену. Ему бы изобразить оцепенение — а он топнул на Женьку, будто выгонял теленка из хлева, и тот, рванувшись, скульпторшу уронил...

Душа устала от громкого хохота и поспешила в комнату, в ту самую, в свою. Было темно... и здание гудело, будто его пытаются изнутри взорвать... и тайный голос выл на лестнице: «А-а-а-а!» А потом смех двинулся вверх по лестнице, зашаркали, застучали в коридоре. Вечеринка, охлажденный за окном лимонад. И все та же тога, сандалеты на босу ногу!.. Недолгий сон перед самым рассветом... смех со сна, как у перевозбужденного ребенка. И уже наутро легкая, но неприятная боль в горле. Б. Б. покашлял, проглотал... Душа удовлетворенно закивала, будто отыскала в книге нужное место. Он даже сказал — и все слышали, как он сказал: «Кажется, меня слегка продуло». И вот только после этого прибе-

жал к ним в комнату Саша Орлов и бухнул с размаху, вопреки правилам приличий того времени: «Миколу Ткача арестовали! Вы как хотите, а я завтра пойду в органы и скажу, что он честный комсомолец! каких еще поискать!» И все молчали, между прочим. Один только Б.Б. вызвался: «И я с тобой! Это какая-то ошибка!» А уже к вечеру у него было тридцать восемь и две. Назавтра — тридцать девять и шесть. Душа сама проверяла показания градусника — хотела быть объективной. У Б.Б. и голоса-то почти не было, когда он просил Орлова: «Подожди, мне лучше станет — пойдем вместе!» А тот ни в какую: «Нельзя ждать, поздно будет». И снова же все это слышали! Все слышали, как участковая врачиха ужасалась: «Тридцать лет работаю — и не видела такой ангины! Тут же фарш какой-то, а не гланды!» И что же — как только выяснилось, что Орлова в ГПУ задержали, впустили в одну дверь, а выпустили в другую — догонять Миколу, все стали переглядываться, перемигиваться, будто Б.Б. предусмотрительно организовал себе эту ангину, чтобы не идти с Орловым... А для верности — еще и осложнение! Вон побегал с мячом три минуты — и брякнулся на скамейку, отдышаться не может, сгибается, скалит зубы, локоть к левому боку прижимает. А вокруг недоверчивые ухмылки: кончай, Борька, свой спектакль, центрального нападающего не хватает! И шел ведь, хотя Душа подсказывала: нельзя! смотри, до беды доведешь! Но он ее тогда не слушал. Больше, чем беды, боялся этих ухмылок...

И в военкомат ведь сам пошел — добровольцем! Душа и туда слетала, в пятый день войны. «Миокардит», — говорит врач и смотрит так, будто Б.Б. его ловко перехитрил. Может, после этого Б.Б. и стал слегка... не то чтобы наигрывать... но подчеркивать свою болезнь. И хотя осенью всех студентов художественных вузов вернули с фронта и в Самарканде начались занятия, привычка эта у Б.Б. так и осталась.

Ну и что с того? Кто с этим считался? А сам Б.Б. и подавно. Кто, к примеру, посылал его на ту злосчастную трубу? Сам вызвался! А за Петром Непийводой кто

ухаживал, пока его в больницу не отвезли? Душа и не рада была, предостерегала: «Смотри! Заразишься тифом — сердце не выдержит!» А он и слушать не стал. Ну, Непийвода — друг, как было бросить друга в беде, ходить и знать, что он там лежит один, бредит... одеяло с себя сбрасывал... Но вот, спрашивается, с чего он полез разнимать тех узбеков, даже не имея понятия, из-за чего они дерутся! Получил ножом в плечо... Или вот еще, предупреждала: «Не тянись ты за москвичами! Ну их, с их «Красной мебелью», с их Ван Гогами и Гогенами! Ни к чему тебе их буржуазное влияние! Миколу за меньший проступок упекли! Но Никола-то — крепкий, здоровый! А ты что? Тебе там не выжить! А он...

Или взять уже самый конец войны. В Загорске. Душа вспомнила про Загорск и даже изумилась, как это она ни разу туда не выбралась! Тоже, можно сказать, лучшие дни жизни! Купола... расписные терема... и снег, снег, снег... широко, высоко... до самых окон кельи... За стеной кричит младенец. Там тепло: Б.Б. сам сложил печку, сам натянул веревки для пеленок. У Таньки Ивановой мастит... Все боятся, как бы молоко не пропало... Б.Б. прикидывает, не видал ли где в городе козы. Идут за дровами. Б.Б. — а как же без него! — в чужих дырявых валенках... В лесу тепло... такая тишина! Дымок от костра натягивается неподвижной стрункой, незримо вырастает все выше, выше... Душа за ним, к небу... А внизу, у костра, разговоры — такие тихие, благостные... «Мы с Таней решили ребенка крестить. Кто хочет быть крестным?» Душа и вернуться к Б.Б. не успела, а он уже выпалил: «Я!» И по дороге домой все ныла, ныла: «Откажись! Разве ты в Бога веруешь? Ты же комсомолец! Узнают — из института выгонят! Говорили ж тебе: попы обязаны ведомости в НКВД посылать!» А все-таки пошел! И ведь что интересно — все ему с рук сходило! Вот и привык ее не слушать, пока не споткнулся на этом Бери.

Да... тут уж она отыгралась! Что же она ему говорила?.. Да то, что и всегда. Что лучше бы он мишек каких-

нибудь сунул вроде шишкинских, чем галстук и манжеты на брюках выписывать. Грозилась, что завистники теперь все ему припомнят: и крестины, и москвичей-космополитов. «Подожди-подожди, — зудела, еще и до Кагановича твоего доберутся!» Он и так, бедный, весь дрожал, скорчился, как зародыш, в одеяло с головой заматался, а она добивала: «Спрячься! Притаись! Хорошо еще, что ты больной! Может, пожалуют, не тронут...» Она ведь чего хотела? Чтобы он меньше высовывался, осторожнее сюжеты выбирал. А он... Вон как вышло! Пульс, хлорка, валенки... «Меланж» под кроватью... ночной поход в уборную на дрожащих ногах... Переборщила, в общем.

И так потрясло ее это открытие, выбило из колеи, так поразило чувство собственной вины, что не могла она думать ни о чем другом. Каждый день моталась в прошлое — то туда, то сюда! Пыталась что-то изменить. Возвращалась разбитая, крыльев не чувствовала от усталости. Так и ковыляла по квартире на ногах, безразличная ко всему, что происходит рядом. Суета какая-то, возня...

Начались экзамены в художественную школу, дочка Непийводы отказалась рисунок перекалывать... Вроде бы Б.Б. ее побил — Душа не помнила точно. Не взволновало ее и сообщение Вики о том, что она едет поступать в Москву. Кто-то посоветовал. А Б.Б. тогда же обрадовался втайне. Отколол с доски Викин рисунок и, сощурился на него с портновским снисхождением, предложил: «Скажешь, у тебя, мол, много таких, но ты их дома забыла!» А на следующий день Коля вдруг объявил, что тоже едет в Москву. Тут уж Б.Б. удивился:

— А тебе зачем черт-те куда тащиться? Ты-то подготовлен как следует, тебя тут все знают. Даже если чуть маху дашь на экзамене — тоже ничего. Ты за кем увязался? Эта Вика твоя — вторая А.Г., даже еще хуже! Ты только свяжись с ней — она тебе всю жизнь поломает! Чем в Москву за ней ехать, лучше бы свел прыщи со лба!

Душа Б.Б. высоко ценила понурюю Колину доброту, а сам он с Колей всегда был грубоват, не боялся задеть

его самолюбие, обидеть. Но на этот раз Б.Б. перегнул палку, и Коля обиделся. Может быть, таким образом он получал возможность покинуть больного учителя без угрызений совести.

Однако недели через две он позвонил в дверь Б.Б.

— Ты что же, — спросил Б.Б., впуская «блудного сына» в дом и пытаясь разгадать, что это в нем так изменилось, — экзамены завалил?

Комната была полна маленьких девочек, которые успели появиться за время отсутствия Коли. С любопытством аборигенов они уставились на нескладную фигуру вошедшего, его ежину шевелюру.

— Завалил, — как-то гордо ответил Коля.

— И эта — Тю-тю-тю, — конечно, тоже?

— Нет, — не без злорадства ухмыльнулся Коля. — Она сегодня сочинение сдает.

— Как это?! — взвизгнул Б.Б. и осел на счастливо подвернувшийся стул.

— Да так. Она им на первом экзамене поясной портрет как завернула этим своим толстым грифелем... Экзаменатор его сразу отложил. А мне еще на просмотре педагог сказал, что я не пройду, «У нас, — говорит, — не в моде уже эти площадочки».

— Не в моде?! — возмутился Б.Б., — Не в моде... А как иначе передать реальный объем?!

— Ну... — улыбнулся повзрослевший Коля, — Тициан и Леонардо как-то обходились без площадочек. Тоже ничего были художники, не хуже передвижников. А, кстати, я что-то и у передвижников не вижу никаких площадок...

Тут бы Б.Б. полагалось схватиться за сердце... упасть. Скорая помощь, похороны. Раскаяние...

Похороны... Все бы вам похороны! Наорал он на Колю, вот и все.

ЭПИЛОГ

И Коля уехал во Львов, где еще принимали документы. Он поступил на факультет графики. На втором курсе

женился, и в родной город вернулся нескоро, отцом двоих детей. После сложных междугородных квартирных обменов. Измотанный не по годам, разрывающийся между мастерской и преподаванием в художественной школе, он не забыл своего чудака-учителя, но так и не выбрался к нему, а к известию о его смерти отнесся с грустью чисто философской. Не екнуло у него сердце и тогда, когда на афише выставочного зала он прочел имя Вики. Сперва он даже не вспомнил, кто такая Виктория Карева. А вспомнив — прошел мимо. Но вдруг остановился. Длинные, мягкие волосы коснулись его щеки, внезапно, будто рука слепого наткнулась — и испуганно опала... Коля замер, посмотрел на часы.

Работы Вики занимали две большие стены и еще узкий коридорчик. Они резко выделялись среди картин других художников, создавали в зале особенное напряженное пространство. Коля... Нет, он не был разочарован... Медовое спокойствие странных Викиных картин околдовало его. Но он ожидал чего-то другого — какого-то продолжения тех дерзких, нетерпеливо-корявых и пугающе живых набросков. Он пожалел о том, что Вика, по-видимому, совсем забросила свой былой гротескный стиль. Подумал, что было бы очень неплохо выставить в маленьком коридорчике ее графику. Впрочем, он допускал, что Вика давно уничтожила свои ранние работы.

Коля с удовольствием подумал о том, что где-то среди его бумаг должны валяться несколько портретов Б.Б., наброски гипсовых голов, комические сценки... Глядя на размытые очертания двух женских фигур, особенно пленивших его странными оттенками красных и охристых тонов, он мысленно создавал новую картину. Безумное, ликующее лицо Б.Б., такое, каким изображала его Вика, коротенькая фигурка, провалившаяся в валенки, но написанная в новой манере Вики и в этой же красно-охристой гамме, которую очень освежил бы маленький сиреневый треугольник майки. Коле померещилось даже, что он ощущает запах чеснока и хлорки.

— Каково?! — триумфально-радостно взвизгнул за спиной у Коли знакомый голос, не считаясь с музейным

благодичием зала. — Г-гениальная девица! Тоже у меня училась!

Коля обернулся. По скользкому, как стекло, паркету, быстро перебирая палочкой и подтягивая правую ногу, с поджатой к груди рукой, в коричневом костюме, в наглаженной белой рубашке с галстучком и в лакированных старообразных туфлях, с неседующей своей шевелюрой, спешил ему навстречу Б.Б. Локтев.

— Где ж ты был?! — приветствовал он Колю с радостной укоризной. Так приветствуют человека, с которым вчера договорились о встрече и разминулись минут на пятнадцать.

— Да... во Львове... — начал приходить в себя Коля. — Я бы зашел... но мне сказали... что...

— Умер! Ха! И Петьке Плющу так сказали! Вот люди! Вечно пустят сплетню! Это у меня инсульт был! Ногу, руку вот парализовало! Чепуха! Напрасно так боялся! Ничего страшного! — И он ободряюще похлопал Колю по плечу, будто Коля стоял следующим в очереди за инсультом. — Писать, правда, больше не могу. Покончено с живописью. Но и у меня кое-что припасено! Пора! пора достать и показать людям! Посмотришь, какой поднимется переполох! Узнают, кто есть Борис Борисыч! Ты домой?

— Нет. Я только что пришел.

— Ну, ладно, пойдем. Я с тобой еще раз посмотрю!

— А вам не трудно?

— Да ты что! — изумился Б.Б. — Нога у меня — ничего. Рука хуже, но тоже есть определенные удобства. Видишь? — Он повесил свою палку ручкой на согнутый локоть. — Хорошо еще на часы смотреть: всегда время перед глазами!

— А по хозяйству? — робко поинтересовался Коля.

— По хозяйству — Надя. — Он хлопнул себя по лбу. — Женился я! Жена у меня!

— Хорошая? — обрадовался Коля.

— Любовь! — выкрикнул Б.Б., и глаза его оверкнули так счастливо, что Коле вспомнился Викин рисунок, тот, на пружинке, из валенка.

Речь у Б.Б. была несколько затруднена. Возможно, поэтому он почти каждую картину кратко объявлял гениальной. А по залам он ковылял так быстро, что Коле много раз приходилось его догонять.

На улице Б.Б. показался Коле еще бодрее. Бросив на прощанье «Не бойсь! На меня не поедут!» — он ринулся через дорогу на желтый свет.

Действительно, машины нетерпеливо урчали, но ждали, пока Б.Б. перейдет, а затем рванули с места. Б.Б. оглянулся и приветственно помахал Коле палкой, как дрессировщик, исполнивший сложный трюк.

И когда через неделю кто-то сказал в учительской, что Б.Б. умер, — Коля только плечами повел и рассмеялся. Однако наутро в вестибюле школы висело наскоро написанное плакатным пером извещение о смерти Б.Б. с его адресом, датой и точным временем похорон.

Все-таки похороны... Задал Б.Б. напоследок зрелище всему дому! Никто и представить себе не мог, что проститься с ним явится столько народу — и какого народу! Постаревшим соседкам Б.Б. не были, разумеется, известны славные имена, но гордые седые гривы! но казацкие усы и шкиперские бороды говорили сами за себя. А вышитые сорочки! А вдохновенные взгляды сквозь золотые очки! а царственные поступи и бюсты с лауреатскими значками и медалями!.. Более того! Выяснилось, что и Б.Б. — лауреат! Любовно начищенная медалька блестела на исклотовой казенной подушечке. Соседки шепотом обсуждали неожиданную новость, оттесненные в сторонку, под буйную зелень, сожравшую просторный когда-то двор.

Б.Б. лежал в красном гробу, поставленном на две табуреточки, точно такой, каким появился в этом доме. И столько раз его здесь принимали за покойника, что и теперь смотрели с недоверием. Надо сказать, что вид у него действительно был какой-то... не вполне мертвый. Неулежавшийся. И что-то неугомонившееся таилось в уголках губ. Казалось, сейчас он вскочит, весело подмигнет и призовет всех последовать его примеру.

У изголовья гроба беззвучно и непрерывно, как раненая береза, плакала испуганная Надя. Была она крупенькая, и вся как-то грушкой наливалась к груди и плечам. Казалось, она старается занимать на земле как можно меньше места и чувствует себя виноватой, поскольку это у нее не получается. Треугольное ее личико, с покорными карими глазами и бледными веснушечками, вызывало у всех симпатию.

Душа Б.Б. стояла тут же, под табуреточкой. Она видела, что окружающие относятся к Наде, как к доброй няньке, которая честно исполнила свой долг и честно заслужила квартиру. Душе было очень обидно за Надю. И за Б.Б. В последние годы она редко оставляла Б.Б., все больше пребывала на месте. Разве что слетает, посмотрит: что это Надя с работы не идет... Поэтому теперь ей было особенно бесприютно. Вокруг стояли давно уже ставшие чужими люди. Под ногами рассеянно топтались их души, посматривали на нее, как дети, которые видятся только по большим праздникам и дичатся друг друга. Одну она и вовсе не узнала, понятия не имела, чья это. Чудная какая-то. То улетала, то возвращалась. Крылышки четкие! будто только что сделаны! личико аккуратное, строгое... И вся такая нервенькая, как трясогузка.

Потом уж, на поминках, стало ясно, чья она: только заговорят об А.Г. — так вся и встрепенется, забеспокоится...

Вообще разговоры были для Души Б.Б. неприятные. Сначала дочка Непийводы стала рассказывать, как Б.Б. лупил ее кулаками. Выпила водки на голодный желудок — и понесла.

— За что он меня так ненавидел?!

— Потому что своевольная была! — стукнул по столу Непийвода. — Не тебе клеветать на него! Он твоего отца от смерти спас в эвакуации!

— Он меня раз чуть не прибил! Вот в этот угол загнал! Вика Карева собой заслонила! А он сбоку! через плечи ее! Кулаками! А я, я... честное слово!.. я ни разу это мыло в воду не бросала!

— Да успокойтесь! — просил Коля. — У него всегда была такая девочка... которая его раздражала. Всегда черненькая, между прочим, и полненькая.

— Да конечно! — вмешалась самая видная из дам. — На него обижаться грех. Он был психически больной человек!

— Почему это?! Почему это он психический?! — обиделся Непийвода. — Просто он веселый был, Боря.

— Как же не больной! Человек двадцать лет не может ходить, а после инсульта начинает бегать по всему городу!

— Как это — бегать?! — зашумели за столом.

Оказалось, что большинство присутствующих не знает и об инсульте.

— Когда же это он insult перенес? — обратился к Наде интеллигентный горбун.

— Не знаю, — испуганно заморгала она. — Когда мы поженились, он был уже после инсульта.

— Теперь ясно, — обрадовался быстро хмелеющий скульптор. — А то иду как-то по улице, вижу: человек с палочкой, а бежит как таракан — вылитый Борис! А это он и был!

— А я его на Бессарабке встретил. «Борис, — говорю, — ты куда?» — «В ботанический! — отвечает. — Поехали со мной, там сирень цветет!» Я думал сначала — обознался, потом решил — галлюцинация!

— Я тоже! — усмехнулся Коля.

— А все Анечка Гречанинова! На ее он совести! Видите — вот и на похороны не пришла, — сказал длинный с пудреной лысиной.

— Чепуха! — перебила дама. — Она бы пришла, но у нее давление высокое, а завтра ее аспирант защищает. Потому она и не вышла за Борю, что побоялась связать свою жизнь с психически больным человеком! Мне кажется, он таким стал после того случая с трубой.

— Скорее после истории с Берией, — задумчиво промышчал с другого конца стола бородатый. — Помню, когда Берию расстреляли, захожу к нему, а он мне дверь открывает в одеяло замотанный... «Все, — говорит, —

мне конец». Там еще раньше было дело: он во время войны формализмом что-то немножко увлекся. Какое-то у него были работы с того времени. Мне покойный Витька Мороз рассказывал. Он к нему приходил, просил, чтобы Витька у себя несколько картин спрятал.

— Ну?

— Конечно, Витька побоялся. Такое время было... А Анечка тут ни при чем.

— Нет, — настаивал на своем лысый. — Она виновата хотя бы в том, что дело до загса довела. Выставила парня на посмешище!

— Точно! — подхватил Непийвода. — Мы там три часа на жаре стояли! Он, бедный, сначала боялся, что букет завянет... Помню эти глаза голубые, отчаянные, коричневый костюм... Как увидел его сегодня в этом же костюме... — И он заплакал.

— Странная вещь! — снова вступил горбун. — Вы заметили? Боря в течение жизни совершенно не менялся! Как будто он и родился таким. Кстати, кем были его родители?

Все стали переглядываться, пожимать плечами.

— Может, он детдомовский? — предположил кто-то.

— По-моему, — припомнил Непийвода, — он сестре писал, когда на Моте хотел жениться...

— Интересно, почему у них не сладилось? Вроде бы он комнату просил в общежитии...

— Нет. Все-таки Мотя была для него слишком простая.

— Ага! — возликовала дама. — Мотя для него простая! Задурил девчонке голову, а потом уехал — и тю-тю! А он для Анечки, выходит, не простой? Вы же знаете, я любила Борьку. Но иногда у него бывало лицо... трактирного или приказчика...

— Я не согласна с тобой, Таня! — внятно, как читают детский стишок, заговорила длинная стриженная старуха, похожая на кенгуру в золотых очках. — Он был очень интеллигентным человеком — внутренне, от природы. И такая образованная девушка, как Анечка, могла его развить, дотянуть до своего уровня. Ты вспомни — по-

моему, он чудесно писал небо! Вот бы увидеть те работы, что он хотел у Вити Мороза спрятать. Я уверена, что это были замечательные работы! Он был очень талантливый. А какой славный! Я тогда ходила домой через спортплощадку и всегда останавливалась посмотреть, как он играет в волейбол. Мне всегда казалось, что он вот-вот взлетит следом за мячом! У него футболочка была голубая с белым, под цвет глаз. А глаза были действительно небесного цвета! И эта его деликатная губка... Такой весь чистый! светлый! радостный! Я смотрела на него и думала: вот он — воплощенный облик нашего времени!

— Вот это правильные слова, — оживился Непийвода. — И не будем их портить. Давайте лучше споем. Какая была его любимая песня? Никто не знал. И Непийвода запел свою любимую:

Сто-ить гора-а-а висо-о-кая-а,
Попид горо-ою га-ай, га-ай...

Привольная грудь его вздымалась под богатой кремовой вышиванкой.

Душа Б.Б. решила взглянуть, как отнеслась душа А.Г. к словам старухи, но под столом уже никого не было: разлетелись кто куда. Только правильная душа Непийводы скучала на его здоровенном ботинке, слушала. Потом и она улетела — слишком длинная была песня.

Як хо-о-ро-ше-е, як ве-е-се-ло-о
На би-и-лим сви-ти жи-ить!..
Чо-го-о ж у ме-е-не сер-де-ень-ко-о
и млие..., и бо-ли-ить?..

Душа еще не обвыкла в новом своем положении, не знала, куда ей деваться без Б.Б. Дверца стенного шкафа была приоткрыта, и оттуда виднелся вельветовый пиджак. Душа сгоряча ткнулась головой в карман — забыла, что Надя давно зашила дырку, — посидела на плече, подумала, зачем-то прошуршала, как моль, сквозь левый рукав и, разочарованная, поспешила вон из шкафа. Она решила, не откладывая, выяснить, может ли по-

прежнему наведываться в прошедшие времена. Старательно напряжись, вывернулась — и оказалась в точности там, где хотела. Рамка тихого света окаймляла незапирающуюся дверь кухни. Голубой умоляющий глаз Б.Б. прижался к щели. Оттуда опасно дуло. Надя, освещенная сбоку настольной лампой, сидела на своей раскладушке, в ночной рубашке, украшенной по вырезу вышивкой с дырочками. Лоб ее, как всегда на ночь, был повязан красным шерстяным платочком от мигрени...

— Надя! — жалобно позвал Б.Б., — можно я посижу с тобой рядом?

— Можно, — ответила совестливая Надя. Она не считала себя вправе отказать и потянулась за халатом.

— Не надо, — робко попросил Б.Б., и Надя покорно оставила халат на стуле.

Б.Б. протиснулся между дверью и холодильником. Сел. Сквозь дырочки была видна смуглая Надина кожа. Белая рубашка, крепко накрахмаленная, под мышками сложилась в две маленькие буквы «у», а между ногами и туловищем — в одну большую «т».

— У нас дома такие занавесочки были, — умиленно сообщил Б.Б. и добавил, помедлив: — Можно, я поглажу тебя?

Надя промолчала, но он придвинулся к ней совсем близко и здоровой рукой обнял за спину, а больную приложил к ее плечу. Со стороны было похоже, что он собирается сидя танцевать с нею лезгинку. Застенчивая лампочка оставляла все вокруг в мягком полумраке и подливала во все краски желтоватый оттенок...

Душа не знала, что с нею будет дальше, но решила, что при возможности здесь, в этом самом вечере, и будет проводить время. Но на этот раз не стала задерживаться и вернулась назад. Гости допивали чай. Отраженный свет заката заливал пустую комнату, широкий стол, аккуратно застеленную кровать Б.Б. с гипсовыми головами, составленными в рядок. Они были похожи на родственников, терпеливо ожидающих, когда для них освободятся места за столом. Один Люций Вер восседал на своей табуретке слева от Непийводы и смотрел

в тарелки — нахально, будто подсчитывал, кто сколько съел,...

— Я хочу посоветоваться, пока вы все тут, — обратилась к гостям Надя. — Как мне быть со статуями? Я — человек простой, одинокий, я ответственности боюсь. Борис Борисыч даже пыль с них стирать не разрешал! Я решила отдать в музей. Протоо так, безвозмездно.

Гости помолчали, растроганные, но все-таки не выдержали и рассмеялись.

— Это не музейные вещи, — виновато объяснил Коля. Да Удзано уставился на него выжидающе, Сократ тупо смотрел прямо перед собой, Экорше готовился завывать в голос. — Может, в какую-нибудь студию...

— Да нет! — перобил лысый. — Они же все дефектные! Это ж Рябоконь — как попортит по пьянке отливку, так и тащит ее Борису. Узнайте, нет ли тут кружка при ЖЭКе, для них сойдет. А то выставьте их возле мусорника — кому надо, сами заберут.

— Тогда пусть здесь остаются, — отрезала Надя, как добрая мачеха, которой предложили сдать в приют непутевых детей покойного мужа.

Провожая гостей к дверям, она была вежлива, но не могла скрыть некоторой холодности, и только Колю попросила задержаться.

Коля догадывался, зачем, и с тоской сознавал неотвратимость надвигающегося. Он стоял и покорно слушал, как Надя шарудит в кладовке. Давно уже у него не было прежнего любопытства к неведомым шедеврам учителя.

— Вот, — сказала Надя и положила перед Колей серую папку и стопку тетрадей, зеленых, с красными корешками. — Это наследие Бориса Борисыча. Пожалуйста, сдайте его на выставку или еще куда там надо...

Коля раскрыл папку, Ему улыбнулось хорошенькое личико узбекской девочки, и достаточно свежо написанное. К сожалению, левую сторону лица портило фиолетовое плоское пятно, изображавшее, по-видимому, тень. Оно явно было намазано поверх обычной незамысловатой жиавписи. Следующим оказался ста-

рик С таким же пятном, но синего цвета, и невнятными разводами на заднем плане. Коля полистал еще для приличия и предложил:

— Оставьте себе что-нибудь на память.

— Нет, — светло улыбнулась Надя. — Он для людей старался. Для народа.

Коля направился к троллейбусной остановке. Она оказалась на старом месте, но больше не была конечной, вместо пустыря, огороженного забором, отходили далеко на запад густо застроенные улицы.

Троллейбус подкатил почти пустой. Коля уселся у открытого окна, пристроил сбоку папку и зеленые тетради Бориса Борисовича. Он вспомнил вдруг, что сидел точно на этом месте, когда впервые возвращался из новой квартиры учителя. Вспомнил, как читал листки из его дневника, подобранные под лестницей.

Коля сдвинул бечевку и вътащил наугад одну из тетрадей. Раскрыл ее. И сразу наткнулся на свое имя.

«17ч. 00м.

Уже третий день, как терплю невыносимую муку. Что-то натянулось между поясничным позвонком и печенью. Чувствую, что если оно разорвется, произойдет внутреннее кровотечение. Пожаловался Кольке — а он и слушать не стал. Совсем испортился! «Вызывайте, — говорит, — врача!»

Врача... Знаю я этих врачей! Начнешь им что-то объяснять, а они тебя поднимут на смех.

А все на нервной почве, от Софьи Исаковны. Опять приставала оо своей Надей. Вот ей Надя! Фигу я на ее Наде женюсь!

19 ч. 00 м.

Приложил перцовый пластырь. Слабительное не действует. Верхняя часть мозга сжимается и разжимается наподобие гармошки. Дочка Непийводы нарочно оставила в уборной свет. Злорадствовала за спиной.

22 ч. 08 м.

Итальянцы, итальянцы! Что — итальянцы?! Дутые величины! Вещи у них, конечно, красивые. Но вопрос — почему? Потому что натуру красивую выбирали. Наряды богатые, кружево, драгоценности. Невелика хитрость красивую картину нарисовать! А ты попробуй свою «Мону Лизу» в пиджаке нарисуй, с перманентом! А я посмотрю! Ага? То-то! Вот и нет ваших итальянцев! Создали культ! Кто из них сдал бы вступительные экзамены в институт? Ботичелли? Или Перуджино со своими куколками? Может, только троих бы и взяли: Леонардо, Рафаэля и Микеланджело. Но, сказать по правде, НАСТОЯЩЕГО, АКАДЕМИЧЕСКОГО рисунка и у них не было! Если хорошо посмотреть, так и ошибок полно. Взять хоть «Мадонну Литту» — голова у ее младенца откуда растет? А нога у «Раба умирающего» почему в яме? Почему? Пропорций не рассчитал ваш Микеланджело! Вот и пришлось в подставку вгрызаться! А взять его последние работы... Так лучше бы он их вообще не делал, не портил впечатление! Не говоря уж о Рембрандте! У Саскии шея свернута, плечей под платьем нет, глаза смотрят в разные точки! Да ему бы Армяков-Козловский больше тройки за эту картину не поставил! А Колька, дурак, повторяет чужие глупости! У самого лоб весь в прыщах, а он за этой фифой в Москву потащился! Святыни попирает! А она хуже любой А.Г.! Видно, мир перевернулся, раз таких стали в вузы принимать! Передвижники им не вершина! Да только с них и пошел настоящий реализм! Только с них и началась настоящая школа! Да, я не отрицаю: итальянцы, голландцы, фламандцы были гениями, но по грамоте они уступают любому современному студенту-второкурснику!

Не надо мне было вообще сюда переезжать! Остался бы при Армякове-Козловском. Разве тут были педагоги такого масштаба?! Крестовский? Ха-ха! Да вся моя жизнь пропала к черту из-за Крестовского! Как я хотел? Хотел просто пейзаж написать, вид из собственного окна. Вот эту самую весну, когда зелень только появляется! И все видно насквозь, а сбоку подсвечено зака-

том! «Не успеешь! — говорит. — Таких всего три-четыре дня!» А я говорил ему: успею, успею я за три дня, захвачу! А он: «Может солнца не быть, может погода испортиться... Зачем такой риск?.. И вообще бесперспективно это! Не соответствует духу времени!»

Ну ладно, с Берией — он меня подвел. Но Кагановича — кто заставлял меня рисовать?! Столько труда, столько сил пропало даром! А может, есть оно где-то, не сожгли? Может, когда-нибудь пересмотрят, вернут на законное место? Поймут, что главное — это живопись, Мастерство, а не кто там нарисован. Веласкеса же не повыбрасывали из музеев за то, что он Оливареса рисовал! А тот, небось, был похуже Кагановича...»

Февраль 1998 г.



Владимир ХАНАН

В СТОРОНУ МОЛОДОСТИ И ПЕЧАЛИ

Рассказы

Проблема полета

Мой друг Володя Лежнин был уверен, что человек может летать. Не ДОЛЖЕН УМЕТЬ, а именно МОЖЕТ, только люди забыли, как это делается. Решению проблемы, как вспомнить это естественное умение, мой друг посвящал много времени и творческой энергии. Момент постижения случился с ним в рабочее время, посреди производственного процесса, абсолютно мне непонятного, ибо Володя трудился в качестве инженера и замначальника отдела невесть чем занимающегося НИИ или КБ и трудился не впустую, ибо числилось за ним несколько оригинальных изобретений, часть из которых засвидетельствована патентами. Так вот, значит, постигнув то, над чем упорная его голова трудилась много времени, Володя Лежнин встал из-за своего рабочего стола и обратился к сослуживцам: «Товарищи!

Я могу летать!», после чего скорым, но значительным шагом подошел к окну и распахнул его уверенным движением рук. В отличие от многих инженерных отделов, где в основном трудятся равноправные советские женщины, в данном отделе (видимо, специфика этого НИИ или КБ) было несколько мужчин, которые и не дали Володе взлететь — между прочим, из окна шестого этажа. Так началась его карьера сумасшедшего.

«Ты знаешь, как у нас лечат МДП — маниакально-депрессивный психоз? — рассказывал он мне. — Сначала тебя уколами выколачивают из мании в депрессию, дней десять держат связанным во избежание суицида, потом развязывают, пичкают какое-то время успокоительными таблетками — и выписывают домой в полной уверенности, что эта разлука не надолго. И в этой своей уверенности никогда (наука!) не обманываются».

Мы познакомились с ним в одной старой ленинградской квартире, где жила пожилая художница со своим молодым любовником, в квартире, функционирующей также в качестве салона. Меня занесло туда после литературного вечера, который следовало отметить, а вышеуказанная квартира, где, было обещано, нальют, была ближе всех. «А у нас тоже есть поэт, — уже под занавес сказала хозяйка, — пишет очень хорошие стихи». И рекомендованный поэт, красивый настоящей мужественной красотой, энергично и с энтузиазмом прочел несколько неожиданных (посвященных, например, теще!) текстов, всеми профессионалами через пять минут обруганных, а на меня произведших серьезное впечатление. Это были бесспорно талантливые, даже очень талантливые стихи, смутно, но сильно успокаивающие слушателя. В них проглядывала если не сумасшедшинка, то, скажем так, опасно направленная потенция. Мы стали видеться, это всегда было интересно. К этому времени Володя уже был на инвалидности по психиатрии, а поскольку размер пенсии зависел от получаемой до того зарплаты, его пенсия была достаточной, чтобы не думать о куске хлеба.

Володина жена была из Литвы, из местечка под Виль-

нюсом с забавным названием Пушкиновка (литовское название не употреблялось), где находилась усадьба сына Пушкина А.С. Григория. Там и проживала в описываемое время столь серьезно — до стихотворных посвящений — обожаемая теща. И в одно из посещений любимой тещи Володя повстречался с типичной литовской ведьмой, раганой, знакомство и последующая любовь к которой не могли не сказаться на его, смею сказать, «подготовленном» здоровье. Вольно и невольно содействуя его жизни, я отправил Володю в «свою» деревню в Литве, к доброй моей хозяйке Антосе, рассчитывая на благотворное действие тех мест, богатых грибами, воздухом и покоем. В каком-то смысле я просчитался. Рагана приехала и поселилась поблизости, пугая суеверных литовцев, всего 600 лет тому назад принявших христианство, а добрая моя хозяйка Антося, перепугавшаяся до смерти, когда Володя (вопреки настоятельным моим указаниям!) рассказал ей о своих дурдомовских отсидках, сбавила его под каким-то благовидным предложением соседям, не боявшимся ничего в силу хронического пьянства. «Ну, я там и поманьячил!» — удовлетворенно сообщил мне герой событий, вернувшись в Ленинград на перекладных, без денег и студенческой куртки, оставленной в залог за три рубля, потраченные на грехи. Куртку я позже выкупил и приобрел.

Болезнь, естественно, прогрессировала. До сих пор жалею, что отдал ему обратно его картину (да как было не отдать: он хотел этой картиной доказать врачам свою нормальность, в чем, разумеется, не преуспел), нарисованную гуашью на газете. Это был, наверное, первый случай, когда со страницы советской газеты глядел талант. Его стихи становилась все интереснее и сумасшедшее, хотя общаться становилось все тяжелее. Последний раз я видел его в спину. Дело было так. Не открыв дверь на довольно долгие звонки (меня страшно раздражали визиты без предупреждения), я все же не удержал любопытства и выглянул в окно — узнать, кого принес Бог, и увидел Володю, стремительно вышедшего из

моего подъезда. Он резко прошел пять-шесть широких шагов, остановился, пожал плечами и так же резко продолжил путь. Через два-три месяца его приятель, гениальный и, кажется, уже совсем сумасшедший поэт, соратник Володи по психушке, позвонил мне и как всегда задыхаясь, позвал на похороны Володи Лежнина, который взлетел-таки из окна своей квартиры, расположенной на седьмом этаже дома в районе с неожиданно подходящим названием «Комендантский аэродром». Я, разумеется, обещал прийти — ни одной минуты не собираюсь этого делать, так как не терплю шуточек на тему похорон. Какие могут быть похороны, когда не далее как за час до звонка оумасшедшего гения случайно выглянув в окно, я ясно видел Володю Лежнина, летящего — на фоне предзакатных облаков — в юго-западном направлении. Как я предполагаю, в сторону Литвы.

Ты лети с дороги, птица

Летом перед седьмым классом ленинградский прозаик Семен Глинский, который тогда не был ни Глинским, ни Семеном, ни, тем более, ленинградским прозаиком, подбил Марика вступить в туристический кружок Пушкинского Дома Пионеров. Сам инициатор к тому времени сходил в почти что месячный поход в город Краснодар, ибо дружина, в которой пионерствовали друзья, носила имя героини-молодогвардейки Ульяны Громовой, известной всей стране в образе худенькой и очень строгой Нонны Мордюковой. Сюда же (в смысле, в кружок) они привлекли третьего их друга Толика Якупова, и уже сам подверстался сосед по двору, младший на год Серега Ширяев. Кружком руководил милейший, как сейчас понимает Марк, человек — Николай Дмитриевич, мужчина лет сорока спортивного вида, то есть, всегда в спортивном трикотажном костюме забытого ныне образца. Какие были занятия? Да особо и не вспомнить, какие. Пара практических — во дворе перед Домом Пионеров: поставить-сложить палатку, ну, там, разжечь костер, то-се, а больше всего —

бесконечные рассказы Николая Дмитриевича, который поговорить любил и умел. Затем генеральная репетиция в виде односуточного похода с ночевкой, и — поход по Карельскому перешейку на целых десять дней! Десять дней по «российской Ривьере» (тогда так не говорили) пешком, неутомимыми молодыми ногами, только вперед! — мимо прохладных озер, включая знаменитую Красавицу, через ручьи и реки, включая знаменитых близнецов Брата и Сестру, дружной ватагой пяти-семиклассников (таков был возраст кружковцев) — только вперед! с всегда веселым (позже стало понятным, от чего) Николаем Дмитриевичем во главе — ах, пионерское походное лето! Трем старшим мальчикам (Марик был в их числе) Николай Дмитриевич иногда давал свое охотничье ружье-одностволку, и с этим ружьем, двумя патронами и ассистентом — кем-нибудь из младших пацанов они ходили на охоту. Однажды Марик ловко подстрелил дрозда с красивым черно-красным оперением, в чем сегодня искренне раскаивается. А вечера у костра — с болтовней, хохотом, анекдотами? А приготовление пищи — главным образом, тушенки с макаронами? А палатка самых младших девочек, поставленная на гадюьем гнезде, ночью чуть не взлетевшая в космос от их визга? А песни? «Ты лети с дороги, птица!» или та, тоже времен гражданской войны, которой научил их Николай Дмитриевич, — это ее припев вынесен в заголовок. Уже ближе к концу похода Маша Котлер с Лидой «Торопыжкой» исполнили у костра свой вариант. Вместо «Если есть запас патронов, то товарищу отдай» в их варианте звучало «Если есть запас конфет — ты их нам скорей отдай». И вся песня — в таком духе.

Как-то раз на привале Марик обрубал топориком сучья заготовленной для костра елки и, неловко развернувшись, рубанул себе по руке — там, где кончается кисть, под большим пальцем. Он отчетливо помнит все детали: как рассеченная кожа, побелев, вдавилась в руку, причем, боли еще не было, как сначала показалась красная полоска — а через секунду обильно хлы-

нула его очень красная — кровь... И только тогда пришла боль. Девочки сразу подняли крик, и еще через минуту невозмутимый, абсолютно спокойный Николай Дмитриевич умело бинтовал Марику руку. А забинтовав, достал из своего руководящего рюкзака (там застрявало) «маленькую», то есть, для тех, кто не знает, бутылку водки вместимостью 250 грамм и, не жалея, не меньше трети ее вылил на бинт в том месте, где была рана. (Рекомендуется всем: боль утихла мгновенно.) И все пошло своим чередом: переходы, ночевки, разговоры, костры.

Почти лежа в своем удобном кресле, подаренном зятем, Марк посмотрел на свои руки, устало лежащие на подлокотниках, и на левой привычно отметил белую тонкую полоску, «Господи! — в одно мгновение все вспомнив, подумал Марк, — как много, оказывается, впечатано в короткую, всего-то двухсантиметровую ниточку шрама». — Таня Манис, Маша Котлер, Люда Фурман (смотри-ка, сплошь еврейки, а тогда и не заметил), Боб Конский, Толик Якупов, Серега Ширяев, Алеша Пьянцев, Тоня, Лида Торопыжка, Николай Дмитриевич, мир его праху... Свежий ветер Карельского перешейка, бесконечное лето, юность, дружба... Все так.

Аура факта

Где-то в первой половине семидесятых, не то в 73-м, не то в 74-м, Марка пригласила в Тарту подруга, учившаяся там в университете) естественно, на филологическом), и бывшая своим человеком в доме Юр-Миха — как всеми произносилось — Лотмана. Марк в Тарту не бывал, об университете и Лотмане был, конечно, наслышан и начитан, — поехал. Как раз в это время группа ленинградских «левых» поэтов делала коллективный стихотворный сборник «Лепта», и Марк вечером перед отъездом зашел к Юле Вознесенской, где и происходил самиздатовский, в данном случае правильной будет сказать «самиздательский» процесс. О процессе как-нибудь при случае, а ближе к вечеру, выпив «на посо-

шок» с Олегом Охупкиным неразбавленного спирту (было же когда-то здоровье, было!), Марк убыл на автовокзал.

Именно с Тарту Марк стал понимать, что чужая страна лучше всего познается не с парадного входа, со столицы, а с черного — с провинции. Город был небольшой, а время у Марка было. После лекций подруга водила его по местным достопримечательностям, а пока она училась, Марк слонялся по городу так, как любил гулять в местах незнакомых: куда глаза глядят.

В маленьких городах это особенно приятно, ибо и захочешь — не заблудишься. Более того, в таких городах куда ни сворачивай, всегда попадешь в одно и то же место. Например, Марк заметил такую вот закономерность: куда бы он ни шел, часа через три блужданий ноги непременно приводили его в студенческую столовую, где он брал себе второе, а оставшееся в желудок пустое место заполнял бесплатной квашенной капустой, в изобилии присутствующей на столах. Это — плюс бесплатный хлеб и студенческие фуражки — были уже последние остатки когдатозных традиций Дерптского Университета. Главные из них — автономия Высшей Школы, студенческое самоуправление — были сметены советской властью в первую очередь.

Подруга водила Марка к церкви, построенной знаменитым конструктивистом Саариненом, к развалинам собора 13-го или 14-го века, об архитектуре которого хотелось сказать «орденская», и — вестимо — к Университету, классицизм которого был дружелюбен царскому Марку. Они пили традиционно отвратный эстонский кофе в милых эстонских «кохвиках» и вкусный крепкий чай с лимоном в студенческом кафе. А один раз, но это уже у Марка в номере, знаменитый ликер «Вана Таллин», на который где-то случайно набрали и который Марк купил, ибо хотел чего-нибудь крепкого, а подруга водку не пила. Купил без удовольствия, ибо ликеры вообще не жаловал, а этот тем более, главным образом, за то, что этот «Вана» помимо своей приторности входил в «джентльменский набор» позолоченной молодежи обеих российских интеллектуальных центров, наря-

ду с ритуальными поездками в эстонскую столицу и прочими глупостями, вошедшими в моду с легкой руки писателя-пижона Василия Аксенова.

Кстати, о литературе. Вечер Марка в ТГУ, где он читал свои стихи, прошел удачно, ибо читал он — по многочисленным отзывам — хорошо, а после окончания вечера один из слушателей, средний сын Юр-Миха Гриша, подарил Марку его пастельный портрет, живо Марку кого-то напомнивший. В том смысле, что человека, изображенного на портрете, он знал, но в данный момент не мог вспомнить. «Это же Шандор Петефи», — позже, в Ленинграде, сказала Марку Лена Игнатова. Точно, Петефи, один к одному. Что еще о Тарту? Кроме того всем известного факта, что там жил и пил водку Николай Языков, хороший русский поэт, там еще жил какое-то время и В. Кюхельбекер — подруга показала Марку его дом, а где-то рядом, неподалеку жил и еще один близкий знакомец Пушкина — генерал Бенкендорф, чье имя также знакомо каждому любителю русской поэзии.

Вспоминая и подытоживая свои тартусские впечатления, Марк решил изобразить их на бумаге в нетрадиционной (по крайней мере, для себя) манере. Без литературщины, лишних эмоций — рационально, конструктивно, может быть, несколько в стиле Добычина, но без его мути: четко, ясно, в несколько слов. Следует сказать, что и сам Тарту, как провинция европейского, германского, условно скажем, ареала, диктовала, по мнению Марка, этот стиль, — абсолютно не подходящий, например, к российской провинции, будящей вообще только эмоции и розовые слюни. Тогда как провинция данного типа востребовала рацию, интеллект. Чуть-чуть проясняя, что значит рационально, без эмоций: факт, круг ассоциаций — исторических, социальных, так сказать, аура факта. Причем, двумя-тремя словами — все. По такой, приблизительно, схеме.

ТАРТУ - ДЕРПТ:

Руины собора XIII века — Орден, экспансия на Восток, начало Остзее (Остзейского края).

- Церковь Сааринена — не Финляндия, упаси Боже, только Франция, Франция!
- Дерптский Университет — Немцы, немцы, Языков, бурши, бурши.
(отдельно) Языков — Пушкин.
- Дерптский Университет (еще) — бесплатная капуста для бедных, фуражки, самоуправление — студенческие вольности.
- Кюхельбекер — Остзейский край, Пушкин — Лицей — Сенатская — Сибирь.
- Русская семья (Калмыковатые Кюхельбекеры — «...и друг степей калмык».)
- Бенкендорф Ал-др Христофор., русск. генерал — Остзее. Отечественная война с Наполеоном, легкое правление Александра I. Оловянный Николай I — Сенатская — Кюхля — Пушкин. Могила в Таллинне.
- ТГУ (Тартусский Гос. Университет) — Классицизм. Семиотика — Лотман, младший Гаспаров (Бор-Мих), студенческие фуражки: фронда социальная и национальная. Неправдоподобно умная и фантастически красивая филологиня Маша Гурьянова, приторный «Вана Таллинн».
- Студенческая столовая — бесплатная квашенная капуста.
(отдельно) Запах бесплатной квашенной капусты — анализ: Хабеас Корпус Акт (Англия); Билль о правах (Англия); Американская Конституция; Декларация прав человека и гражданина (Франция).
- Пожалуй, так. Что-нибудь в этом роде.

Кондуктор не спешит! Кондуктор понимает!

Марик Володя Ермолаев и Володя Козлов (Пушкин) ехали из школы домой на автобусе. Царское Село, в котором они жили и учились, было, в общем-то, не

велико, потом только расстроилось. Но их школа находилась на самой окраине, рядом с полуразрушенным собором, неподалеку от Казанского кладбища. Школа — там учились только 9-е, 10-е и 11-е классы — имела интересную историю. До того, как стать школой, она была колонией, где содержали преступников, а потом, вскоре после того, как Марик ее закончил, стала лечебно-трудовым профилакторием (ЛТП), — то есть, по сути, той же колонией, но только для алкоголиков. Можно даже попытаться вывести некоторые закономерности. Предположить, например, что биография школы развивалась противоположным образом: ЛТП — школа — колония. Тогда было бы естественным, если бы многие, ее окончившие, попали в тюрьму. А поскольку на деле было по-другому: колония — школа — ЛТП, то в тюрьму, по наблюдению Марика, никто из его соучеников не попал, а вот спились многие. Ну, да не суть. В этом, значит, автобусе, Марик, Ермолаев и Козлов (Пушкин) заплатили по шесть копеек. До реформы 61-го года — 60 копеек. Так как билет стоил в это время в зависимости от расстояния. Шесть копеек — это было почти максимальное расстояние (был еще билет за восемь копеек). Школа была, напоминая, на самой окраине. Дали они деньги и ждут билетов. А кондуктор — появился в этом автобусе — мужчина странного такого вида, если, конечно, считать странным, что некоторые мужчины похожи на женщин, сидит себе и ухом не ведет. То есть, деньги взял, положил в свою сумку на животе, и все. Никакого движения. Марик и обоим Володям было, в общем-то, все равно, но интереса ради Козлов (Пушкин) спросил: «А почему вы билеты не даете?» И тут эта кондукторская морда задумалась, запечалилась, закручинилась — интересно, впрочем, что не смутилась. Но задумалась. А подумавши, сказала: «Так ведь вы же все равно их выкинете». Вот так. И крыть нечем. Ведь действительно — выкинем. Посмеялись, вышли из автобуса, разошлись. А на самом-то деле — как же так? Это уже потом Марик пришло в голову: что еще за логика такая? Конечно,

выкинем, но ведь не сразу. А сначала будем с ним, с билетом, ехать — с полным правом, а не в расчете на то, что не будет проверки или — в случае проверки — кондуктор признается, что деньги взял. С полным правом и гордостью человека и гражданина. А если руководствоваться логикой этого бабистого типа, так и зарплату можно не получать (в смысле, не платить). Придешь, а там скажут: «Распишитесь». — «А деньги?» — «Деньги? Так вы ж все равно их потратите». А уж это точнее точного — конечно, потратим. Но — сами! Но — не сразу! А то ведь и — когда во цвете лет срязит тебя шальная, бандитская, к примеру, пуля — скажешь этому, ну, который жестокий Рок: «Зачем во цвете лет-то?» А в ответ тебе: «Во цвете — не во цвете, сорок лет туда, сорок — сюда, — все равно помирать, с жизнью расставаться». Все равно расставаться, верно. Но — не сейчас. И ведь не задаром: за это время и получить кое-что успеешь. Что-то было не то, не та логика была у странного того, не известно откуда взявшегося КОНДУКТОРА.

С бабистым лицом был мужчина, с глазами выцветшими, пустыми. И сидел он на своем высоком месте, как-то подобрившись всей своей неявной фигурой, как будто бы пряча, не раскрывая чего-то. Кто же был сей, уж ни... — страшно подумать! Сам ли повстречался ребятам в промчавшемся и сгинувшем том автобусе? Да чего уж там: тогда не узнали — а теперь что говорить...

Лекарство от любви

Дело было в третьем классе. Марик, Борька и Вера — классная редколлегия — делали стенгазету. Марик и Борька жили в одной коммунальной квартире, и сейчас все сидели в Борькиной — самой большой в этой квартире — комнате. Делали они газету и по ходу этого дела так развеселились, что стали писать друг другу записки. Борька с Мариком написали Вере: «Мы тебя любим». Вера это, конечно, знала. Как и весь класс.

Трудно было не знать, потому что на переменах, когда все играли в «ручеек», Борька и Марик постоянно выбирали Веру. Так они и отбирали ее друг у друга всю перемену, чем, в известной мере, портили игру всем остальным ребятам. Но на них не обижались, потому что они ухаживали за Верой, не нарушая никаких классных правил ухаживания. Короче, Марик с Борькой написали Вере «Мы тебя любим». А поскольку это было не самое привычное для них дело — объясняться в любви, да еще письменно, то они свое смелое сообщение малость зачиркали, но так, чтобы можно было прочесть. В свою очередь Вера написала им: «И я вас тоже». И тоже зачиркала.

Марик бы на этом и успокоился, но Борьке этого показалось мало, и он написал следующую записку: «А кого ты любишь больше?» Очевидно, он думал, что его — если это написал. А вот Марик не стал бы спрашивать — по той же, кстати, причине. То есть, он был уверен, что, если Вера их обоих любит, то больше она любит именно его, Марика. Не понятно, почему он так думал. Более того, не понятно, почему он и всю жизнь так о себе думал, правда, надо сказать, что ошибался редко. И Вера в следующей своей записке написала: «Марика» и опять, понятное дело, зачиркала. Конечно, Марик был рад, хотя не подал виду, а Борька расстроился, посопел, посопел — и ушел в уборную. Что он там — довольно долго делал, не известно, ясно только, что не книжки читал, потому что в их уборной книг не было, а были, как у всех, повешены на гвоздь нарезанные куски газеты. Потом Борька как ни в чем ни бывало пришел из уборной и, когда Вера отвернулась, вдруг сказал Марику на ухо: «А от Верки г-ом пахнет». Это было в высшей степени нелогично, потому что это как раз он, Борька, пришел из уборной: от кого еще должно было пахнуть, как ни от него? Так что Марик пропустил это мимо ушей, и Веркин образ в его глазах ничуть не поблек. Тут интересно другое. Спустя много времени Марик прочитал книгу знаменитого древнеримского поэта Овидия «Лекарство от любви» и понял, что Борька, чтобы справиться со

своей отвергнутой любовью или, может быть, проще — самолюбием, сам того не зная, использовал метод рекомендованный в таких случаях знаменитым римским изгнанником, которого он, конечно же, не читал. И поняв это, Марик также понял, почему этого поэта считают великим. А каким еще его считать, если его советами пользуются через две тысячи лет люди, даже его не читавшие? Вот так. Что еще сказать?

Марик женился поздно, на хорошей женщине с очень тяжелым характером, так что живут они нелегко. Борька женился рано, воспитал двух сыновей, но жена его от него гуляет, так что ему тоже не позавидуешь. Вера сейчас замужем уже в четвертый раз, и, судя по тому, что пьет по-черному, и четвертое ее замужество не сахар. Так что можно сказать, что из всей компании без потерь вышел только один человек — Овидий. Потому что он и классик.

Клуогаранд

Кунстник Макар, так значилось на почтовом ящике мастерской таллиннского художника Володи Макаренко, собирался на море. Когда Марк с Куприяновым зашли, он обговаривал какие-то детали поездки с Мишкой Сафоновым, таллиннским тогда еще поэтом, а позже стокгольмским бюргером, потому что только русских поэтов Стокгольму и не хватало. Так Марк с Куприяновым оказались в Клуогаранде — приморском кэмпинге, находящемся в каких-то сложных отношениях с эстонской советской литературой.

Там уже все было готово — и через малое время затеялась симпатичная интеллигентская, можно даже сказать, богемная пьянка — с умными разговорами) чтением стихов и прочими подобного рода радостями. Еще через какое-то время окосевший Марк (напирая на то, что он не пьет, а, стало быть, обделен развлечением, Куприянов съел всю закуску, остальные практически пили, занюхивая) вышел из палатки проветриться — и заблудился. Дюны-шмуны, сосны-шмосны, тропинок

нет, все пространство, как одна сплошная тропа во все стороны, куда идти — неизвестно. Страха, конечно, никакого, ибо вся-то Эстония, при свете дня выглядящая таким небольшим полуостровом, ночью вообще кажется островком: далеко не уйдешь. В рассуждении всего этого Марк улегся прямо на песок и заснул. Проспав недолго (не очень-то поспишь на песке, усеянном сосновыми иголками), он проснулся и двинулся вперед, твердо рассчитывая, что куда-нибудь да выйдет. И оказался прав. Соткавшись из серебристо-сумрачного лунного света, сосновых крон и морского шума, возникла перед ним дриада — прелестная лицом — и взявши Марка за руку, увела его, зачарованного и не протрезвевшего, в свою палатку. И там, оставшись нагой, уже окончательно потрясла поэта совершенством прекрасной своей фигурки, теплыми блестящими карими глазами и нежной матовостью кожи. Тут же переодевшись в костюм Адама, Марк (деепричастие это однозначно требует действия — а вот «фиг» вам! Не в том смысле, что его не будет, а в том, что оно не будет обозначено). Короче, уже под утро, натянув на голое тело свитерок, только-только прикрывший замечательную ее попку, дриада выскользнула из палатки, взмахнула крыльями и через мгновение опустилась у самой кромки прибоя. И там, сорвав с себя свитер и швырнув его не глядя за спину, шагнула, как Антифродита, в шипящие пенные волны.

Через несколько часов Марк с Куприяновым уезжали, оставив кунстника Макара добирать про запас виды Балтийского моря, которое он собирался сменить (и вскоре таки сменил) на Атлантический океан на том его участке, что омывает Францию.

Сейчас — спустя годы — Марк тоже живет на иных берегах. Но когда видит по телевизору или даже просто слышит слова «Балтика», «Балтийское море», то всегда вспоминает одно и то же: пологий эстонский берег, поросший высокими соснами, желтые песчаные дюны и нагую прекрасную дриаду, входящую в пенное море.

О «газике» послевоенном

Памяти Т. В.

Так и хочется сказать «старый отцовский «газик». Но во-первых, он не был старым, а во-вторых, не был и отцовским, в том смысле, что отцу не принадлежал, а был персональной машиной, положенной заместителю директора завода по должности. При «газике» был шофер, хотя мой отец сам умел водить машину; но тогда это и в голову никогда никому не приходило — что начальник может сам сидеть за рулем, как в Америке, например. Я человек совершенно не спортивный, и говоря так о себе, привык думать, что в этом я пошел в отца, тогда как, скажем, в Англии начала века мой отец, наверное, считался бы спортсменом (сужу об этом по литературе). Он великолепно плавал, не на скорость, а просто очень хорошо, долго и выносливо держался на воде, причем не один раз спасал тонущих. Однажды при этом он чуть не утопил меня. То есть, уплыл спасать какую-то женщину, когда я, переплывая реку рядом с ним, уже выбивался из сил. Уплыл спасать эту бабу, оравшую дурным голосом: «Помогите! Тону!», оравшую, как выяснилось, просто для пьяного куражу, такие в то время были приняты шутки. А я чуть не утонул в этой проклятой Черной речке. Можно сказать, что нам, поэтам, с этой Черной речкой не везет.

Водил машину отец лихо. Как-то раз, катая нас с сестрой, он свалил машину в кювет, причем она перевернулась вверх всеми четырьмя колесами. Но никто не пострадал, мы только слегка испугались. Не пострадали, наверное, потому, что пьяным везет, а отец был солидно «на взводе», и, кроме того, было такое спокойное послевоенное время, и «газик» был таким мирным, как демобилизованный солдат, что просто ничего не могло с нами — мной и сестрой — произойти плохого... К тому же, это было наше, как тогда абсолютно без иронии говорилось, счастливое детство.

Шофера моего отца звали дядя Саша Осипов. Я до сих пор помню его приятное честное лицо интеллигент-

ного рабочего человека. Они бывали у нас дома, у него была красивая жена и сын этой жены, пасынок — мой одноклассник и друг Вовка Стогов. О Вовке я написал в одном своем рассказе, а еще раньше упомянул его, лучше сказать, помянул, в стихотворении: Вовка разбился, упав с высоты в какой-то полуразрушенной церкви, каких было много в нашем городке. Вскоре после этого погиб и дядя Саша Осипов, а его жену еле успели вынуть из петли.

У директора завода персональной машиной была «эмка». И хотя она была шикарней «газика», даже с занавесками на окнах, я никогда ей не завидовал. В «газике» была какая-то удивительная надежность. Позже мне сказали, что эти «газики» — бывшие американские «студебеккеры», и я понял почему «газик» казался мне таким надежным: уже в самом слове «студебеккер» звучала железная надежность американской машины.

Всю мою жизнь сопровождают меня несколько любимых запахов. Есть два полевых цветка, чьи запахи, только я их вдохну, переносят меня в детство, в Углич, к нашему уютному деревянному дому. Потом я нашел эти цветы и в Ленинграде и в Царском Селе. Здесь, в Иерусалиме, я тоже нашел их, у них тот же запах, хотя сами цветки большего размера, чем в России — и стебель, и соцветья. А вот еще одного запаха — из самых любимых — здесь нет, потому что в единственной машине, похожей на «газик» моего детства — в машине, которая возит израильских солдат, — нет брезента, обязательного компонента того, дорогого моему сердцу, запаха. Но хотя его здесь нет, я все равно могу вызвать его из своей памяти и почувствовать, как тогда: запах нагретого солнцем брезента, горячего покрашенного металла и обволакивающий оба запаха мягкий запах бензина. Так получилось, что один из самых любимых моих запахов — запах отцовского «газика», хотя я всю жизнь не любил отца. А вот потребность его любить была.

Тайны ремесла (три рассказа)

Кажется, у Довлатова это где-то промелькнуло, не помню, где. Неважно. Эту историйку я услышал в первый раз довольно уже давно от нашей общей приятельницы Тани Юдиной, не раз упоминавшейся в довлатовских записных книжках. Они переписывались, Танька читала мне наиболее интересные письма, — так, о знаменитой эпистоле Довлатову от Воннегута я узнал из письма — намного раньше его русскоязычных читателей.

А сам анекдот — в первоначальном значении этого слова — таков. Некий молодой человек, решивший стать писателем и усиленно постигавший тайны писательского ремесла, объявил, что одну тайну, из самых, подчеркивалось, главных, он уже постиг. Самое трудное в рассказе, говорил он, это концовка. Так вот, он нашел универсальную формулу этой самой концовки, подходящую практически для любого рассказа. Плюс абсолютная простота и стопроцентный успех. Примеры? — Извольте: Война, молодого солдата отправляют в разведку. Трудное задание, риск, реальная возможность гибели. Концовка: «Капитан долго смотрел ему вслед...» Еще. Из другой оперы: Конец 50-х. Молодой парень рвется на целину. Белоручка, неврастеник. Начитанный, но слабый. Но рвется. Там — трудности, лишения, кочевой быт. Концовка: «Секретарь комсомольского райкома долго смотрел ему вслед...». Еще. Больница. Молодой человек после тяжелой травмы. Врачи однозначно: не будет ходить. Медсестра — самоотверженная, молодая, красивая. Влюбленность, роман, роковая страсть (он уже ходит). Наконец, выписывается — уезжает. Концовка; «Медсестра долго смотрела ему вслед...»

Последний пример меня добил, то есть, убедил окончательно. Пявота молодого писателя была мне очевидна. Я и до этого интуитивно чувствовал, что есть, есть какие-то формулы, которыми втихомолку пользуются «инженеры человеческих душ». Что помимо таланта и вдохновения держат они в своих тайных кладовых и иные, так сказать, кирпичики, из которых склады-

вают свои «нетленки» и «эпохалки». Следовало только провести проверку практикой — и я взял вышеприведенную формулу, не страшась обвинений в плагиате, ибо — об этом говорит вся история литературы — прием, найденный одним автором, становится законным достоянием всех. Вариант с медсестрой оказался мне самым многообещающим, и, в силу заявленной профессии, наиболее универсальным. О результатах судить читателю.

Рассказ первый: «Сердце разведчика Прохоренко»

— Товарищ генерал! Полковник Прохоренко явился по вашему приказу! Что случилось, Алексей Петрович?

Несколько секунд генерал, не мигая, пристально смотрел на вошедшего и, не принимая неофициального тона, сказал:

— Садитесь, полковник. Садитесь и расскажите мне, причем, прежде хорошенько подумайте... Только не выдумывайте, не выдумывайте! — раздраженно повторил генерал. — Так вот, рассказывайте подробно о ваших, так сказать, делах.

— О каких именно, товарищ генерал? — сказал Прохоренко. — Я же вчера направил вам подробный рапорт по всем подлодкам класса ГП-137А, его — что — не передали? Могу доложить устно. Все это барахло у нас берут с дорогой душой, причем, по цене выше, чем мы рассчитывали. Похоже, их хотят толкнуть куда-то в Африку, тамшним обезьянам, как действующие. У нас по документам они проходят, как простой металлолом, причем, в разборе... То есть, пять уйдут, как три. Деньги через офшорную, как вы приказывали...

— Передали, передали, — криво усмехнувшись, сказал генерал. — Через третьи руки! Ты, что, не понимаешь, что об этом письменно... Ладно, проехали. Расскажите нам лучше, полковник — голос генерала снова стал официальным — о своих других делах: как давно и по какой цене вы продаете иностранцам оборонные секреты нашей Родины?

— Какие секреты? О чем вы, товарищ генерал? Кому я... — полковник приподнялся и снова сел, почти упал, на стул — я вас не понимаю...

— Не понимаешь? Он не понимает! — зло сказал генерал, — А это что? — В его руках оказалась какая-то, странного вида, газета.

— А твое сраное интервью этой... как ее?.. — Он наклонился, к селектору: — Игорь, принеси перевод из японской «Кимоноку Расава».

Через пять секунд генерал держал в руках несколько страниц машинописи.

— Вот. Здесь: «Наша страна не держит оружия массового поражения на Сахалинской гряде...» А вот еще: «Склад бактериологического оружия в Волочаевске-17 ликвидирован еще в прошлом году в соответствии с договором от...»

Генерал швырнул листки на стол:

— Ты что, тридцать лет в разведке, зубы на этом съел, голова — вон — вся седая, не знаешь, что это и есть наши главные секреты — о том, чего у нас нет?! Ты знаешь, что с нами Москва — он кивнул в сторону неснятого портрета Андропова — сделает?! В общем так, Матвей Данилович, — голос генерала был почти спокоен, — это дело нам с рук не сойдет. Это не подлодки... Значит, вариант у нас один. Ты сегодня же пишешь рапорт на увольнение в запас по состоянию здоровья и уходишь — пока в отпуск. Рапорт я придержу — мало ли что... Может, и обойдется... А не обойдется — в отставку, с полным пансионом. Будешь рыбку ловить... где твои старики? — В Ростове? Посидишь с удочкой у теплого моря, не то, что наше... Да не нервничай так! — рожа красная, как после поллитры. Давление? Это при нашей работе профессиональное... Я предусмотрел. Счас тебе укольчик, в приемной сдашь рапорт капитану — и домой, в постельку...

— Кустарникова здесь? — спросил он в селектор, — пусть зайдет.

— Лариса Андреевна, — сказал генерал вошедшей в кабинет сорокалетней женщине в белом халате, туго

облегающем ее аппетитное тело, — сделайте-ка нашему отпускнику успокоительный укольчик, а то он у нас за последнее время что-то сильно разволновался. Вы медсестра опытная, не мне вас учить.

Генерал как-то исподлобья заглянул в красивые, блестящие и как будто расширенные зрачки Ларисы Андреевны, и, вздрогнув, отвел глаза.

— Отпускнику, — ласково проговорила Лариса Андреевна, между тем руки ее быстро приготовили все для укола, — сделаем, как отпускнику, — говорила она, уже вводя иглу в вену полковника Прохоренко. — Вот и все. Вот и хорошо.

— Ну, ты все понял. Будь. Если что, звони, — уже скороговоркой говорил генерал в спину выходящим. «Жалко, конечно. Но как разведчик он все равно пропал, — глядя на закрывшуюся дверь, подумал генерал. — Даже не вспомнил, с чего начинается наша служба. А начинается она со слов «Из разведки не уходят — из нее выносят вперед ногами». Все. Проехали».

Сдав рапорт дежурному адъютанту, полковник Прохоренко шел длинным коридором Управления и думал: Обойдется — не обойдется, а отдохнуть и впрямь пора. Вон как сердце разболелось.

А тем временем, вышедшая из тех же дверей медсестра Лариса Андреевна Кустарникова, поставив на пол свой чемоданчик-аптечку, прикуривала длинную сигарету «Данхилл» от красивой импортной зажигалки. Она знала, что до обязательного, точно спланированного современной медициной, паралича сердца полковнику-чекисту Прохоренко осталось ровно пятьдесят метров коридора и два лестничных пролета. Уже держась за сердце правой рукой, Прохоренко медленно шел по направлению к своему отпуску. Медсестра долго смотрела ему вслед...

Рассказ второй: «Прикладная химия».

— Значит, так, товарищи, — пожилой человек в дорогом импортном костюме и в модных очках обвел взгля-

дом присутствующих, — или господа, как это сейчас принято? Ситуацию вам полностью обрисовал товарищ из Комитета.

— Не Комитета — эФэСБэ, — тихо поправили из угла.

— Неважно. Короче, ситуация нетерпимая, надо ее решать. Я разговаривал на самом верху, — он сделал небольшую паузу, — там очень недовольны. Вы понимаете — карт-бланш нам не дадут: не те времена, но и особо придирааться тоже не будут. Вот так. А вообще-то, я не понимаю, — он повернулся к директору НИИ Прикладной Химии, — вы что, сами не в состоянии справиться с этим, как его... Парнокопытным? — Паперным, — тихо поправили из того же угла.

— Как? — горько спросил директор — низенький толстенький академик. — Из партии исключать? — так он в ней сроду не был, да и что она сейчас... Премии лишить? — ну, так не купит он себе лишних две бутылки пива — знаете, какие у нас сейчас премии... Выгнать с работы? — так представляете, какой шум поднимется? В Гринписе он свой, у местных «зеленых» тоже, а «Мемориал»? А Боннэр, у которой он каждую субботу пасется? Выгоните, попробуйте — через два дня сто пятьдесят западных газет, да и наших тоже, завоят, что репрессирован борец за окружающую среду, за демократию, за черта в ступе... Думаете, это увольнение не свяжут с его заявлением о продолжающихся в нашем НИИ работах по химоружию?

— Зеленые, — пробурчал в модных очках, — звездно-полосатые, желтоблакитные... Хосподи! Дожили: несколько серьезных организаций не могут заткнуть рот одному болтуну. Резюмирую: ситуация нетерпимая. Надо решать. И решать — вам. Ну а мы — если что помочь...

— Феликс Юрьич, — после отъезда седого обратился академик к эфэсбэшнику, — вы ведь говорили как-то, что у Паперного где-то там, в Дубне, кажется, пассия... Может, их сфотографировать в постельке...

— Господи! Ну что вы говорите, — отозвался тот, — жены у него нет, кому мы эти фотки предьявим? Гринпису? Так это же не американский Конгресс. Им все равно,

с кем он трахается, лишь бы не с моржихой или там... Да и не любовница это, а первая любовь, еще со школы. Они и не видятся, только переписываются, правда, очень пылко. Фотки — не то... Хотя... подумать об этом стоит.

Через две недели старший научный сотрудник НИИП-РАХИМа Паперный стоял перед директором института.

— Прекрасно Вас понимаю, милейший Михаил Давидович, — вкрадчиво, но тепло говорил академик. — Конечно, поезжайте. О работе не беспокойтесь, здесь все же не дети, да и план вы оставили подробный, видел, хвалю. Только вот одна мелочь. Чисто для проверяющих. Знаете, времена новые, но и старых инструкций никто не отменял. Два месяца за свой счет, это, знаете... Лучше так: командировка по линии «Гринпис» с такого-то на неопределенное время. Вернетесь — поставим дату. Вам все равно, а отделу кадров спокойней.

Еще через два дня СНС НИИПРАХИМа Паперный сидел в кресле напротив главврача специализированной клиники неврозов им. профессора Хорвата в подмосковной Дубне.

— В общем, Михаил Давидович, ничего страшного. Но подержать ее здесь, полечить — поправился главврач — придется. А теперь извините великодушно, я — на совещание. А вам все очень подробно объяснит старшая медсестра отделения, кстати, очень опытная медсестра, рекомендую, — Хронина Нина Каллистратовна.

— Понимаете, Михаил Давидович, — говорила Хронина, когда они прогуливались по саду перед главным зданием клиники, — она обратилась к нам в первый раз два года тому назад. Вы не знали. Естественно. Она вам об этом не писала. Нет, то, что у нее — конечно, не сумасшествие. Вы знаете, мы, медики, вообще не употребляем таких слов. Это, как минимум, ненаучно. Но здесь действительно ничего опасного. Нужно только время, терпение и — тут она проникновенно посмотрела в глаза Паперного — хоть немного любви и понимания... Дело в том, что отношения с вами, я знаю, что только

письма, знаю... у нее стали чем-то вроде мании. Все, что она писала вам про своего мужа... — нет у нее никакого мужа и не было. Она просто... сначала боялась себя и своего чувства — отсюда выдумки про семью, а потом запуталась, испугалась, в общем, вы понимаете. У нас таких женских историй, знаете сколько? В общем, Михаил Давидович, дорогой, мы ее немножко подготовили, теперь все зависит от вас... На сколько у вас отпуск? — и месяц, и два? Отлично. Будете приходиться раз в два-три дня, гулять, беседовать, я уверена, это даст положительный результат. Все. Идите. Я вам там не нужна. По этой дорожке до чугунных ворот, они открыты, потом все время вперед, там будут следующие, она там. Ждет. Ну ни пуха!

— Подумать, как все поворачивается, — думал Паперный, не забыв послать «к черту» милую Нину Каллистратовну, — бедная Лариса! Почему не написала, что одна? — я бы сразу... Сколько же это мы не виделись?

— «Все в порядке», — доложила главврачу Хронина и тихо вышла из кабинета. В коридоре она остановилась у окна и закурила длинную сигарету «Данхилл», щелкнув красивой импортной зажигалкой. По дорожке сада медленно, задумчиво шел их новый пациент, бывший СНС НИИПРАХИМа Михаил Давидович Паперный, он шел по направлению к чугунным воротам, которые, этого он не знал, закроются за ним навсегда, а у вторых, несуществующих, его встретят два санитары, которые и решат за него все его бывшие и будущие проблемы. Михаил Давидович Паперный шел медленно, потом вдруг ускорил шаги и быстро, решительно пошел по длинной и прямой, как стрела, дорожке сада. Медсестра долго смотрела ему вслед...

Рассказ третий: «Ночное задание».

— А почему «медсестра»-то? Ты что, в медицинском училась? — сидящий в кресле бритоголовый «бык» с удовольствием разглядывал длинноногую, с роскошной грудью и прекрасной формы жопочкой красотку, наво-

дившую макияж перед высоченным, в два человеческих роста, зеркалом.

— Какой там медицинский! В тюрьме кличку дали.

— Ты, что, сидела? — в голосе «быка» проступило уважение.

— Да нет, — совершая какие-то действия кисточкой, отозвалась красотка, — только этого не хватало. Я тогда путанила в Европейской, ну, шеф и послал меня в Крестуху, к серьезным людям. У них там в камерах, вообще-то, все было — кроме баб. Ну, меня и послали им помочь. Типа расслабиться и тэ-пэ. Амне что, работа есть работа. Там, конечно, бесплатно, но никогда не знаешь, что может пригодиться. А мужчины там действительно сидели серьезные. У них сам начальник корпуса, полковник, как мальчонка, шестерил. Так вот, там был один авторитет из Средней Азии, то ли узбек» то ли таджик, я в них не разбираюсь, в гостинице у меня только фирма, так он всем мужчинам говорил «брат», а женщинам — «сестра». А когда меня трахал, все время говорил «ты как мэд, сестра. Ты как мэд, сестра». Вот они, остальные, и прозвали меня «мэдсестра». А оттуда на волю как-то передалось. Теперь уже все: «медсестра да медсестра». Так и пошло. Я привыкла.

— А спидович где приобрела? — поинтересовался второй, помельче и прыщавый, но тоже бритоголовый.

— Да уж не за партией, понятно, — ответила красотка, отойдя, наконец, от зеркала. — И ведь никогда же не шла с азиатами, только с фирмой, а тут купилась. Красавчик, весь в золоте, одна булавка с брюликом чего стоит, да и подружки с опытом говорили: не пренебрегай арабами, у них миллионеров каждый второй. По нефти. Вот и приобрела — на весь миллион.

— Кончили разговоры. К делу. — Появившийся без стука молодой человек с дипломатом внимательно посмотрел на девушку. — Лариса, готова? Пошли.

Уже вдвоем, без охраны, они подошли к маленькому смотровому окну, через которое был отлично виден отдельный кабинет ресторана *** . — Вот этот, в сером пиджаке и в очках. Посмотри хорошенько, не перепутай.

А перепутаешь — поправим. — Он хищно усмехнулся. — Считай, что тебе повезло: парень красивый, да и в постели, говорят, гигант — бабы от него без ума. Так что работа у тебя будет приятная. Вот ключ от номера на втором этаже — там все: прикид, драгоценности, сумочка, туфли, все, что надо, в лучшем качестве, без подделки. В сумочке штука баксов — твоя. Еще колечко с бриллиантом. Значит так: твоя работа — две ночи. Это чтобы с гарантией. И гуляй. Но две ночи надо работать хорошо. Через час жду тебя здесь. Знакомство и прочее дело наше. Все.

Утром следующего дня Лариса лежала на шикарной, громадной, как летное поле, кровати, отдыхая от только что отбушевавшей любви и удовлетворенно мурлыкала под восхищенным взглядом любовника. — И откуда ты такая взялась? — в который раз говорил он, — где я только ни был, чего только ни видал — и Бразилию, и Таиланд, в швейцарском Давосе был на симпозиуме, там элита со всего мира, а самое прекрасное — его руки опять потянулись к ее груди — оказалось здесь, в своем городе. Под боком.

— Лара! — продолжил он, оторвавшись от ее губ, — у меня сейчас дел буквально на два-три дня. Потом — поедем... куда ты захочешь: Канары, Багамы, Амазонка, Ниагара — на неделю, вдвоем, Лариса, а?

— Ми-и-луй, милый мой, — говорила она, перебирая пальцами его пряди, — какая неделя? — ты же знаешь, я замужем, через два дня муж приезжает, все, что я могу — это остаться с тобой — боже, как я этого хочу — еще на одну ночь. Еще на одну неземную, волшебную ночь. Поэтому распорядись сделать нам кофе, пей, одевайся — и поскорее возвращайся. Я буду тебя ждать здесь. Слышишь: я бу-ду те-бя жда-а-ать.

— Жалко? — спросила себя Лариса, когда дверь спальни закрылась за мужчиной. Жалко, жалко, жалко, да нет, не жалко. Все они дерьмо, и этот такой же ласковый. Она стояла у большого, «венецианского» окна, украшавшего шикарный трехэтажный особняк, расположенный посреди огромного, огороженного

сплошной оградой, участка. Выйдя из дверей, Марат Дмитриевич Панов — так будет высечено на могильной плите — подошел к своему, уже выведенному телохранителем из гаража, «Мерседесу» и, послав воздушный поцелуй окну спальни, сел рядом с водителем. «Мерс» легко взял с места и тихо пошел по направлению к уже начавшим открываться воротам.

Держа у распухших, нацелованных за ночь губ длинную сигарету «Данхилл», только что прикуренную от красивой импортной зажигалки, «медсестра» долго смотрела ему вслед...



Ирина БЕЗЛАДНОВА

БРАТЬЯ

Памяти Бориса Довлатова посвящается

Маркумер почти сразу после смерти брата, как будто ему стало неинтересно жить. В последний раз Нина видела его через несколько дней после смерти Кирилла — случайно встретила в трамвае. Она узнала его сразу, хотя не видела несколько лет, и был он неузнаваем. Марк сидел, сложив руки на коленях, и спал. На повороте трамвай трянуло, и он стал падать, запрокинув лицо, все в каких-то багровых шишках, и упал бы, если бы его не подхватил сосед и, толкая в плечо, начал будить. Тогда Нина встала и с заколотившимся сердцем, наступая на чьи-то ноги, стала протискиваться к выходу и вышла на ближайшей, не своей остановке.

Познакомились они во время съемок одного нашумевшего фильма, на которые Нина попала в качестве жены ассистента оператора. Перед отъездом сестра мужа предупредила ее: «Кстати, там у вас вторым режиссером...», и она назвала его имя. «Смотри, не влю-

бись!» Как будто это было возможно — не влюбиться в него, такого, каким он был в то лето... она и влюбилась. Съемки проходили на Западной Украине — и «натура» была роскошной, в первый же день, когда, отойдя от съемочной площадки и присев под кустом, она рассеянно журчала в густую траву, на нее выскочил заяц, замер от неожиданности и, высоко подпрыгнув, метнулся в сторону; потом она поняла, что своим стремительным прыжком он возвестил начало новой эры в ее жизни. День начинался с пронзительно-мелодичного крика га-лок, и Нина просыпалась с предчувствием праздника, как в детстве в канун новогодних каникул. Из окна номера было видно, как на парадном крыльце гостиницы постепенно собирается съемочная группа. Поспешно одеваясь и завтракая на ходу, Нина нетерпеливо поглядывала вниз и была счастлива уже тем, что он появится, просто не может не появиться... Творческая группа, «творцы», уезжала раньше, за ней на тряской «кубани» пылили все остальные. На съемочной площадке их поджидали танки и самоходки (фильм был о войне), а рядом с ними под нежарким утренним солнцем на смятой траве сидели актеры в старых, как бы выдавших виды, гимнастерках и проговаривали с режиссерами сцену, которую предстояло снять. То, что происходило на площадке, для Нины было другим, захватывающе интересным фильмом, в котором она сама принимала участие. Невидимая рука «крутила кино» — и кадр за кадром тянулся день... Незанятый в сцене молодой и еще незначительный артист, засунув руки в карманы галифе, лениво «бацает» на самоходке блатную чечетку; в стороне лежит автор сценария и жует травинку, а кто-то из актеров комментирует его действия. Ничего не подозревающий автор задирает ноги в пыльных сандалиях.

— Мысль пришла, — говорит актер, поднимая указательный палец. Автор опускает ноги в траву.

— Ушла мысль, — сокрушенно сообщает актер, и все радостно хохочут.

— Отставить разговорчики! — Кричит в рупор помощ-

ник режиссера. — Приготовиться...кадр 56, дубль 1-ый. Камера!

Длится летний день, и каждая минута привносит в него, что может — краску, звук, запах: пламенеет на солнце пунцовая «бобочка» автора, оглушительно ревет мотор разворачивающейся самоходки, горячий воздух пропах бензином и гарью от дымовой завесы пиротехника. И вдруг, совсем уж «как в кино», из тучи желтой пыли выскакивает самоходка, на ее башне, скрестив ноги и обхватив руками колени, сидит он — и ветер парусом надувает его белую рубаху. А над ним — только выцветшее небо и солнце...

Марк никогда не смотрел на нее открыто, а исподтишка, полуприкрытый камерой или деревом; он прятался за дерево, но Нина видела его следящие за ней глаза, и вся группа видела тоже, и женщины лицемерно жалели ее мужа. А она его не жалела, уже не жалела, но расстаться пока не могла... Их первая встреча с Марком случилась на черной лестнице, в полуподвале, сразу после возвращения с природы; она видела его мокрое от жары и волнения лицо так невозможно близко, что, как при контузии, временно оглохла: он что-то говорил, но она не слышала и только жалко улыбалась в ответ. И та, единственная за все время съемок ночь, которую они провели в его номере, тоже запомнилась как-то странно, урывками: помнилось только, что было абсолютно темно, потому что Марк имитировал свое отсутствие; что несколько раз кто-то молча стучал в дверь, что они чему-то долго смеялись... Что утром, только рассвело, он ходил на разведку, а она в ванной комнате смотрела в зеркало на свое бледное лицо (она всегда, даже в юности, была очень бледной по утрам) и не верила, что эта бритва на раковине и эта небрежно промытая кисть — его, Марка... Она не могла потом вспомнить, под каким предлогом исчезла тогда на всю ночь, и был ли вообще хоть какой-то предлог, но на всю жизнь осталось тошнотворное предчувствие удара в спину, когда она бежала по пустынному в этот ранний час гостиничному коридору от мужа, гнавшегося за ней с охотничьим

ножом в руке. И странное знаковое происшествие, занозой вонзившееся в воспоминание той первой ночи. Она надела в тот вечер тяжелый кованный браслет, купленный накануне в местной ювелирной лавке, а утром не обнаружила его на руке. На следующий день она спросила о нем Марка, но он сказал, что никакого браслета нет, что она, должно быть, потеряла его уже утром. Он смотрел на нее и улыбался, и вдруг она поняла, что он врет. Она знала это так точно, как если бы сама видела браслет, забытый на тумбочке у кровати... Она знала это целую минуту, а потом на помощь ей пришел здравый смысл, и абсурдное подозрение сменилось раскаянием и чувством стыда. Но когда к нему приехала на неделю его вторая жена, готовая за ним, как говорили в съемочной группе, в огонь и в воду, Нина поймала себя на том, что с опаской смотрит на ее запястье... Год спустя его первая жена Вика, ставшая ее подругой, смеясь, подтвердила ее тогдашнюю догадку.

— Да он от каждой любовницы таскал мне что-нибудь в качестве сувенира, — со смехом сказала она. — То брошку, то колечко... ну что ты, это у него в порядке вещей... подарил жене, а может быть, другой бабе!

Это могло быть правдой: около него, как легкая стайка мошек перед теплой погодой, вились «другие бабы» — из съемочной группы и местные. Он всем им улыбался своей немного виноватой улыбкой, и одна из них, официантка ресторана при их гостинице, была его «гастрольной женой». «Гастрольных жен» имели почти все, и каждый вечер после съемок, или день напролет, если съемок не было, большой семьей собирались у кого-нибудь в номере и пили до глубокой ночи, а утром, проспавшись, снова ехали на «натуру». Пили все, пили «по-черному», Нина никогда раньше не видела, чтобы так пили, но уже тогда среди киношников было точно известно, что вот Марк — пьет...

Съемки кончились, они вернулись в Ленинград, и он исчез. Что удивительно — это почти не причинило ей боли: его исчезновение было предсказуемо, как слово «конец», завершающее фильм. А через год, поздней

осенью, когда она уже рассталась с мужем, появился снова; просто позвонил и сказал:

— Хочу предложить тебе вояж в Зеленогорск — со мной и с моим братом. Если согласна, скажи «да».

Утром следующего дня Нина стояла у входа в метро неподалеку от дома, поджидая братьев. Они опоздали на 10 минут, но когда появились, она сразу забыла об этом, потому что, когда они появлялись, все остальное уже не имело значения. Представляя брата, Марк сострил:

— У Кирилла завидное преимущество — на него все смотрят снизу вверх.

Сам Марк был выше среднего роста, но рядом с братом он выглядел мальчиком, а Нина, здороваясь с Кириллом, так запрокинула голову, что у нее свалилась шапка. Оказалось, что братья еще не завтракали, и они пошли в пирожковую напротив метро. И сразу стали объектом всеобщего внимания: реакция публики была такой, как если бы в пирожковую вошел Аллен Делон. И так, под знаком всеобщего внимания, они прожили этот день. Нина чувствовала себя, как на сцене, и к вечеру очень устала: это было не похоже на обычное, в основном мужское внимание, к которому она привыкла, и она поняла, какой изнурительной должна быть популярность. В Зеленогорске, сойдя с электрички, они пересели в автобус, вышли через несколько остановок и долго искали какой-то зеленый дом. Дома вокруг были разноцветными, но зеленого среди них не было.

— Не могли же они его переокрасить, — недоумевал Марк. — Специально к нашему приезду!

— А адрес у него имеется, у этого дома? — Поинтересовался Кирилл.

— Она сказала: «Выйдешь на третьей остановке, и сразу увидишь красивый зеленый дом...»

Поискали еще немного, потом Кирилл остановил прохожего и спросил:

— Тут есть поблизости зеленый дом?

— Какой дом? — удивился тот,

— Красивый, — уточнил Кирилл.

Прохожий воспринял это как розыгрыш... Снова сели в автобус, проехали еще пару остановок, еще походили, потом плюнули и решили ехать к другой знакомой, которая тоже жила в Зеленогорске. Другая знакомая их не ждала и очень удивилась, когда увидела... во всяком случае Нине так показалось. Посидели, вылили-закусили и пошли гулять. Гуляли долго, пока не замерзли. Тогда посоветовались и поехали в привокзальный ресторан. Скинулись, причем Нина тоже принимала посильное участие, и снова выпили и закусили. В ресторане Марк умудрился тупым ножом порезать руку; Кирилл стал промокать разрез салфеткой и запачкался кровью. Они взялись за руки и продемонстрировали Нине свои окровавленные ладони — их это очень забавляло.

— Мы с тобой одной крови, — сказал Марк, и Кирилл захохотал.

Домой она вернулась поздно ночью и пьяная. У ее парадной Марк предложил:

— Можно я зайду?

Нина покачала головой: ее мутило и хотелось только одного — спать.

— А можно я? — Спросил Кирилл.

Они с Марком встречались нечасто, но каждая встреча запоминалась: никто не умел смотреть такими откровенно жадными и одновременно нежными глазами, никто не мог, как он, превратить в фиесту промозглый вечер с летящим вкось и вкривь мокрым снегом... Нина жила тогда на Гороховой, в маленькой квартирке на первом этаже, в которой занимала 2 смежные комнаты, еще у нее была своя прихожая. И была соседка — седовласая вальяжная Дора Львовна, с неослабевающим интересом следящая за перипетиями ее личной жизни... К Марку Дора Львовна испытывала сложное двойственное чувство: пылко восторгаясь его красотой, она не прощала ему нестандартность поведения; Марк все делал «не как люди»: например, расставшись с Ниной поздней ночью или утром, он мог через 5 минут разбудить Дору Львовну звонком в дверь, чтобы снова оказаться в спальне с

окном, выходящим во двор и задрапированным тяжелыми гобеленовыми порттьерами. Он вбегал, как на пожар, хватал Нину за голые плечи и осыпал ее растерянное лицо быстрыми поцелуями... Потом исчезал — так же стремительно, как появлялся. Иногда он пропадал, как проваливался сквозь землю... до нового появления.

В тот зимний вечер Нина пришла домой поздно и удивилась, увидев в коридоре бодрствующую Дору Львовну.

— Ниночка, — сообщила она, испуганно запахиваясь в халат от пронзительного холода, впущенного Ниной с улицы, — только что звонил Марк. Я уже спала...

— Извините, — сказала Нина.

— Он тоже извинился, и просил передать, что позвонит завтра в это же время. Спросил, как я поживаю и пожелал спокойной ночи. — Она помолчала и добавила, поднимая тонкие выщипанные а-ля Марлен Дитрих брови. — Последнее прозвучало, как издевательство...

На следующий день Марк позвонил «в это же время», причем Дора Львовна демонстративно выглянула в коридор, скорбно постояла в открытых дверях и скрылась. Поболтав о том о сем, на прощанье, как о чем-то обыденном, он объяснил, что будет и впредь звонить в ночное время, потому что только в этот час имеет доступ к телефону.

— Не буду утомлять тебя подробностями, — подытожил он. — Есть кое-какие ограничения... все же тюрьма!

— Как тюрьма?! — Опешила Нина.

Выяснилось, что уже третий месяц он сидит в тюрьме — дурацкая история, можно сказать, полный идиотизм, но уже пообвыкся и ничего... жить можно. С этого дня с нетипичным для него постоянством он звонил каждую ночь: видимо, тюремный режим не баловал разнообразием. Мина ждала его звонка заранее, накрыв телефон подушкой, чтобы заглушить звук. Она недоумевала — почему тюрьма, но спросить стеснялась, а сам он к этой теме больше не возвращался. Выручила Вика.

— Ты бы хоть поинтересовалась, за что он сидит, — сказала она.

— Как-то неловко, — призналась Нина. — А ты что — знаешь?

— Я-то знаю: спер из вестибюля райкома какого-то бронзового оленя — по пьяной лавочке... на спор. Сидит за пьяный дебош... Еще легко отделался!

Вика работала редактором в эстрадном отделе Концертного Объединения, куда, вернувшись со съемок, устроилась Нина. Уже через неделю они стали подругами: в отделе, кроме них двоих, работали одни старухи, которые понимали ненормированный рабочий день только в сторону переработки, прокуривали комнату до синевы и не употребляли косметики. Так что сначала их дружба была просто на выживание, но, вычислив Марка, они сдружились по-настоящему... Через две недели Нина поехала к нему на свидание и повезла объемистую посылку с продуктами. Тюрьма находилась в пригороде Ленинграда, и Нина взяла такси: почему-то ей казалось, что тюрьма стоит где-то на обочине асфальтированной дороги, и она была неприятно удивлена, когда шофер остановил машину и сказал, что дальше — бездорожье... Она расплатилась и зашагала по снежному полю в сапожках на платформе по тогдашней моде и в короткой дубленке; посылка оттягивала руку, ноги под тонкими колготками оледенели. Марка она увидела издали: он стоял на крыше двухэтажного здания, похожего на барак, и, прикрывшись рукой от солнца, высматривал ее. Потом исчез и появился уже внизу, перед баракком. Свидание происходило «среди долины ровныя», метрах в 10 от барака.

— Не обращай внимания, — попросил ее Марк, сам заметно смущаясь и прикрывая смущение смехом. — Я обещал — в пределах видимости...

— Кому обещал? — Спросила Нина.

— Там... ребятам, — и Марк неопределенно махнул рукой в сторону барака. Он был в ватнике и грязных валенках, непривычно коротко подстрижен, но меньше всего походил на заключенного, скорее на знаменитого артиста, играющего роль арестанта... Да разве обыкновенный зэк звонил бы по телефону своей девушке каж-

дую ночь? Она собиралась поехать к нему снова, но Вика отговорила ее.

— Не будь дурой, — велела она. — Если не секрет, что было в первой посылке?

— То, о чем он просил... — Уклончиво ответила Нина.

— А именно?

— Ну, кофе, еще шоколадный вафельный торт, варенье...

— Ясно, так сказать, продукты первой необходимости... А как насчет бутылки?

Нина молчала.

— Короче, — резюмировала Вика. — Дело твое, но, если погрешься снова, перестану уважать — имей в виду.

Нина уклонилась от новой встречи, Марк вроде не обиделся, но звонить стал реже. Зато неожиданно объявился Кирилл.

Кончался обеденный перерыв, они с Викторией сидели в коридоре и болтали. Вдруг глаза Вики опрокинулись и снова встали на место.

— Не оборачивайся, — зашептала она. — Сюда идет Кирилл... как я выгляжу?

Для Вики при всех обстоятельствах это было самым важным: когда она схватила воспаление придатков, и Нина навещала ее в больнице — Вика лежала там в палате на шестерых при полном макияже и в нейлоновой ночной сорочке... Кирилл поздоровался и сел рядом. Говорил он больше с Викторией, а когда их обеденный перерыв кончился, попрощался и пошел по длинному коридору. И со стороны казалось, что ему в нем тесновато.

— К тебе разлетелся! — сказала Вика. — Это я помешала — спугнула орленка...

— Почему орленка?

— А, да, ты не знаешь... Во времена оны, когда еще я была женой Марка, в семье считалось, что Марк — это орел, а Кирилл пока что орленок.

На следующий день Кирилл пришел встречать ее вечером — стоял напротив подъезда, широко расставив ноги и заложив руки в карманы, и ждал. Они пешком

дошли до ее дома на Гороховой, постояли у ворот... Нина не пригласила его зайти, и он не напрашивался. Кирилл стал появляться часто, они гуляли и разговаривали, потом он провожал ее до дома. Во время одной из таких прогулок он впервые сказал, что пишет. Сказал — и сразу перевел разговор на другую тему. В один особенно промозглый вечер Нина все-таки пригласила его зайти и напоила крепким кофе. Он сидел за маленьким столиком на двоих и не знал, куда поставить ноги; на ее вопрос, как он предпочитает кофе — с лимоном, со сливками, или с ликером, подумал и сказал:

— Кофе я пью первоначально черный, а вот... водки у тебя не найдется?

Выпил подряд пару рюмок и запил черным кофе. Когда Нина хотела убрать со стола пустую чашку, он протянул руку, взял ее за плечо и привлек к себе. Она стояла, он продолжал сидеть, но их головы были почти вровень. Кирилл смотрел на нее, и она вдруг подумала, что он похож на армянина и что — совсем ничего общего с Марком: лицо большое, тяжелое, с темными восточными глазами, руки и ноги тоже большие и тяжелые и он не знает, куда их деть. Он еще помедлил, потом снял руку с ее плеча, выпил третью рюмку, поднялся и ушел. И не появлялся целую неделю. Она ждала, чувствовала себя виноватой и не говорила Марку, что видится с Кириллом. Через неделю вечером он позвонил в дверь ее квартиры. Дверь открыла Дора Львовна, она же проводила его по коридору в Нинины «апартаменты». Вид у нее был ошеломленный...

Все еще тянулась, не могла кончиться зима, и Нина окончательно запуталась в своих чувствах. Как всегда, ее выручило врожденное легкомыслие: когда ум заходил за разум и делалось невмощно, она махала на все рукой и просто плыла по течению. В одну из суббот она поехала на Васильевский остров навестить тетку, и дала Кириллу телефон.

— Ты позвони туда, и мы договоримся, — сказала она.

Они сидели с теткой на ее старинном диване со спинкой красного дерева и разговаривали, это у них

называлось «беседы на диване». Тетка была маленькая, старая, с молодыми блестящими за стеклами очков глазами. Она была страстным рассказчиком. Ход мыслей у тетки был путанный, он уводил ее со столбовой дороги повествования в дремучие дебри, из которых она уже не могла выбраться без посторонней помощи. Тогда она просила Нину:

— Детка, ты еще держишь нить? Если да, выдерни меня обратно!

Они сидели, и тетка рассказывала ей про дочку своего сослуживца, которая поразила ее воображение самоотверженной любовью к отцу.

— Ни за что не хочет выходить замуж, — говорила тетка. — Хотя — давно пора... Нет и нет! Говорит, что не может с ним расстаться, представляешь?

— Это твой сослуживец так говорит? — Спросила Нина.

— Ну да, а кто же еще? А вот Валечка считает — просто никто не берет...

— Какая Валечка?

— Наша секретарша. Черт ее знает... — Тетка сняла очки и начала полировать стекла передником. — Вообще-то, похоже на правду: я ее видела. Такая... мужиковатая барышня.

Потом она перешла на самого сослуживца, потом — на его покойную жену, и наконец на Нину.

— У тебя новая прическа — на прямой пробор, — сообщила она.

— А я все жду, когда ты заметишь, — Нина встала коленями на гобеленовое сиденье и стала рассматривать свои волнистые волосы в овальном, тоже старинном зеркале, висящем над диваном. — Ну и как тебе? — Поинтересовалась она.

— Чистый сеттер, — сказала тетка, и в этом месте раздался телефонный звонок. Опережая Нину, любопытная тетка засемила в коридор.

— Ниночка, тебя! — Крикнула она оттуда, и, прикрыв трубку маленькой детской ладошкой, добавила шепотом. — Какие-то инфра-звуки...

На улице была мешанина из подтаявшего снега, грязи и сыпавшихся с низкого неба холодных мокрых хлопьев. Кирилл маячил на противоположной стороне улицы. Он был без шапки, и на его коротко стриженных темных волосах эффектной проседью лежал снег.

— Поехали к тебе, — попросил он. — Хочу в тепло.

Уже дома, достав из кармана пальто бутылку водки и поставив ее на стол, сообщил:

— Дело в том, что в настоящий момент я переживаю семейную драму. — И поинтересовался: — Заметно?

Он, как и Марк, был женат второй раз; о его жене Нина знала только, что она экзотически красива и что ее сдержанность граничит порой с полной невозмутимостью — такой ее видел Марк.

— Надо сказать, семейные драмы в моей жизни — величина постоянная... как посещение унитаза, — сказал Кирилл.

Он пил и с каждой рюмкой мрачнел. Даже пьянели они с братом по-разному: Марк становился улыбчивым и раскованным, Кирилл угрюмо замыкался в себе. Неожиданно он достал из-за пазухи рукопись и предложил:

— Хочешь — почитаю? — Но, не дожидаясь ее ответа, сунул назад во внутренний карман куртки и поднял на нее свои тяжелые глаза. — Как ты посмотришь, если я перевезу к тебе свои пожитки?

— Какие пожитки? — Опешила Нина.

— Вообще, пожитки... пишущую машинку, — пояснил Кирилл.

Тут Нина поняла, что течение занесло ее далеко, и пора грести к берегу... Облегчая ее решение, на следующий день позвонил Марк и сообщил, что через неделю будет дома.

— Жди гостей, — услышала она, и по взбрыкнувшему сердцу догадалась, что вдали показался желанный берег.

Остальное было просто. Она только сказала Кириллу:

— Звонил Марк. Через неделю ...

— Знаю, — перебил он.

— Он так рад, — поделилась Нина.

— А ты? — Спросил Кирилл.

— Тоже рада, — честно призналась она.

— Я рад, что ты рада, что он рад, — подытожил Кирилл, и, не простившись, повесил трубку.

С Марком пошло по-старому: он появлялся и исчезал — для того, чтобы появиться снова; причем паузы были абсолютно непредсказуемы. Прозрение наступило теплым светлым вечером в начале лета, когда он повез ее в компанию куда-то на Гражданку. «Компания» оказалась очень тесной: в крошечной прихожей их встретила приземистая брюнетка неопределенного возраста и с нескрываемым удивлением уставилась на Нину. В комнате, заставленной разномастной мебелью, за накрытым столом сидела крашенная блондинка. Больше никого не было. Марк познакомил их, и все уселись за стол... Это в первый раз он пил при ней так откровенно, не делая никаких скидок на ее присутствие. Через час он вообще забыл о ней, и, поняв это, брюнетка придвинулась ближе, вынула сигарету у него изо рта, глубоко затянулась и пустила дым через нос; другой рукой она взяла его рюмку и стала из нее пить. Он только моргал, а его прозрачные глаза стали совсем женскими. Последнее, что Нина видела — он встал из-за стола и внезапно, как подкошенный, рухнул на пол: лежал и улыбался, и даже негромко подпевал в такт музыке... Брюнетка с рюмкой в руке взгромоздилась своими крепкими короткими ногами с икрами спортсменки на его спину, села и поднесла рюмку к его губам. Нина сидела за столом и смотрела на них. Потом она заметила, что рядом стоит блондинка и что-то говорит ей — она не понимала, что. Тогда блондинка взяла ее за руку и потянула из-за стола. В прихожей, закрывая за Ниной дверь, она с неожиданным сочувствием посоветовала:

— Придешь домой — посмотри на себя в зеркало: молоденькая, хорошенькая! И тебе это надо? Говна-пирога...

Ее мучило, что она оставила его там, беспомощно лежащим, оседланным коротконогой спортсменкой, и

она сама не знала — ждет его звонка или боится его... Он позвонил через несколько месяцев, в канун Нового Года.

— Хочешь сделать мне новогодний подарок? — Спросил он. — Приезжай на станцию метро «Нарвские ворота», через два часа.

И Нина поехала. На ней была новая дубленка-миди, под дубленкой — короткая замшевая юбка и тонкий облегающий свитер. Марк ждал на улице, перед входом в метро, по своей привычке прячась за чьи-то спины. Он был в старом демисезонном пальто. Нина с чувством неуместности своей вызываяще роскошной замши спустилась по ступенькам и пошла ему навстречу. Подойдя вплотную, она увидела его лицо — отечное, с какими-то красными пятнами на правой щеке и подбородке... И опять была тесная прихожая, и маленькая комната, и в ней — неопрятно накрытый стол. Только открывшая им женщина была неопределенной масти, так как преобладала седина. За столом сидел плешивый человек и спал, положив голову на руки. Нина промучилась в этой комнате бесконечный час, пока Марк понял, что она мучается. Тогда он поднялся из-за стола и проводил ее до метро.

— Знаешь, на кого ты сейчас похожа? — Спросил он ее на прощанье. — Помнишь «Серенаду солнечной долины»? На Соню Хани... — Взял в ладони ее лицо, поглядел, потом опустил руки и пошел, а она стояла и смотрела ему вслед: он шел очень прямо и не размахивал руками при ходьбе.

До нее доходили слухи, в основном через Вику: Марк уехал в Сибирь на съемки очередного фильма; там, находясь за рулем в нетрезвом виде, сбил человека, снова попал в тюрьму, отсидел год, вышел и продолжал работать на киностудии, правда уже ассистентом режиссера. Еще через полгода его снова утвердили вторым режиссером, назначили на картину — и снова пьяный дебош: драка с каким-то переводчиком из Госкомитета... Про Кирилла Вика ничего не знала, поэтому для Нины было шоком, когда она встретила его на Невском

в переходе метро в какой-то черной хламиде до пят и в кипе на отросших неожиданно кудрявых волосах. Он очень пополнил и выглядел огромным. С разбегу, как бы споткнувшись об нее, он остановился и стал, как вкопанный.

— Какой ты... декоративный, — сказала Нина и сразу пожалела, что сказала.

— Обыкновенный еврей, — попробовал отшутиться он. — Толстый и красивый парниша. — Помолчал и добавил. — Больше толстый...

Кирилл «отъезжал», и этот маскарад был прологом его отъезда. Когда они простились, Нина шла по Невскому и думала, что просто не может представить себе Марка в этом маскарадном костюме.

Популярность Кирилла, буквально затопившая Россию, вызвала у Нины прежде всего чувство недоумения: как это раньше, тогда, она не удосужилась прочесть хотя бы один из его рассказов. Как все, она следила за ним из-за океана, как все, слушала его голос сквозь треск эфира... И как все, услышала его в последний раз, когда Кирилла уже не было: стояла у приемника и, закрыв глаза, чтобы лучше запомнить, прощалась с ним; и давно умершая тетка, прикрыв трубку ладошкой, звала ее из коридора коммуналки на Васильевском Острове: «Ниночка, это тебя... какие-то инфра-звуки»...

А потом была телепередача — Марк вспоминал о своем знаменитом брате. Камера показывала старые фотографии Марка: в профиль, с опущенными длинными ресницами, анфас — с прозрачно светлыми под темными прямыми бровями, женственно-красивыми глазами. И еще одну — обнаженный до пояса, в боксерских перчатках, в классической боевой стойке... Словно отвечая на немой вопрос зрителей, потрясенных неправдоподобным контрастом между этими фотографиями и оригиналом, оператор тут же дал крупным планом плакат, висевший на стене и написанный детским корявым почерком — «Папа, не пей!» А Марк продолжал говорить — очень тихо и словно через силу: вспоминал малоинтересные подробности и вдруг надолго замол-

кал, тогда ведущий задавал ему наводящие вопросы. Только один раз он оживился: усмехнулся, моргнул несколько раз подряд, как всегда делал в минуты волнения и, бесстрашно глядя в объектив и показывая публике уродливую маску, надетую на его античное лицо, рассказал, как давным-давно, невинным летним утром, Кирилл, эпатируя население, на спор вошел в автобус и проехал две остановки в плавках и махровом полотенце, накинутом на плечи... Рассказал, встал и, повернувшись спиной к камере, отошел к окну. И со спины стал похож на себя. Нина смотрела на экран и знала абсолютно точно, что он видит там, за окном.



Инна КАБЫШ

КОЛЯСКА

*когда вы сядете в неё то просто как бы...
нянька вас в люльке качала».*
Гоголь «Коляска»

*«Планета есть колыбель разума.
Но нельзя вечно жить в колыбели».*
Циолковский

— Мама раззява! — кричала девочка,
когда мать не успевала отбить воланчик, —
Папа раззява! —
когда по воланчику не попадал отец.
И воланчик описывал дугу
на берегу,
у барака, где они жили всё то время,
пока отец со своими эеками строил станцию
и ругался, что они не просыхают,
потому что, когда шёл дождь, с потолка текло,
а зимой было так холодно, что девочку засовывали в
одну штанину

меховых штанов отца
и мать кричала,
что этой каторге не видно конца
и плакала
что ребенок растёт,
а штанов больше нет, —
думала девочка.
И отец молча собирался
на свою станцию,
потому что видел Гагарина,
когда был делегатом XIV съезда ВЛКСМ,
и мечтал не о новых штанах,
а о том,
чтобы сделать лучше эту голубую планету.
Но появившийся из-за угла диспетчер со станции закри-
чал:
— Авария!..
И отец побежал.
А мать с девочкой быстро пошли в дом.
А воланчик остался на земле...

И когда поздно вечером отец вернулся
и сказал,
что это электрик Бобчин устроил взрыв,
потому что нажрался как свинья,
но, к счастью, жертв нет
и нужно срочно восстанавливать главный отсек,
на который ушёл год жизни,
и строить дальше, —
мать заявила,
что на этот раз
без нас с дочерью,
потому что сегодня твой Бобчин взорвал станцию,
а завтра взорвёт посёлок,
а я не декабристка,
чтобы бросить ребёнка
и целовать кандалы мужа...

И отец,
любивший Некрасова,
возразил, почему же «бросить»...
Но мать перебила»
что оставаться здесь
значило бы бросить ребёнка на произвол судьбы
и она с дочерью завтра же уезжает к бабушке...
И тут ввалилась соседка
и заголосила,
что у меня сегодня украли коляску,
которую вы мне дали в прошлом году,
ребёнка бросили на земле, ироды,
а коляску увели...
И отец выругался и закурил прямо в доме,
а мать сказала:
— Главное, что ребёнок цел, —
и, закрыв за соседкой дверь,
бросила отцу,
что у этих каторжников нет ничего святого,
наверняка уже пропили эту несчастную коляску...
И девочка разрыдалась,
потому что мечтала возить в ней своих детей,
и вдруг закричала:
— Где же я буду возить своих детей,
если они взорвут посёлок?
И отец бросил окурочек на пол
и, рванув дверь, вышел.

На небе стояла полная луна.

Когда под утро отец вошёл в дом,
девочка ещё спала,
а мать укладывала вещи в чемодан
и, подняв на мужа глаза,
спросила:
— Ты и теперь считаешь, что нам не нужно уезжать?
И отец странно спокойным голосом ответил:
— Нужно не уезжать,
а улетать, —

и, поставив на стол найденный на берегу воланчик
как ракету,
добавил, —
На другую планету...
Потому что тот, кто выбрасывает на землю ребёнка,
рано или поздно взорвёт эту Землю...
— И на чём? — усмехнулась мать.
Отец прошёлся по комнате:
— Тут рядом есть заброшенный пионерлагерь
«Заветы Циолковского»,
весь травой зарос, суцкая зона...
Там перед главным корпусом стоит ракета.
Совсем целая, я посмотрел.
Если в неё встроить двигатель...

У соседки пропел петух.

— А как же твоя мечта? —
помолчав, спросила мать,
потому что улететь —
значило бросить отцову станцию
вместе с этой голубой планетой.
— Плох тот главный инженер,
который не мечтает стать главным конструктором, —
сказал отец и подошёл к окну.
Было уже совсем светло.
— А бабушку с собой можно взять? —
тихо спросила мать.
Отец закурил и выпустил дым в открытую форточку:
— Если взять бабушку,
она захочет взять дедушку,
который возьмёт внука,
за которым увяжется какая-нибудь сука,
которая прихватит любимую кошку,
которая не пожелает расстаться со своей мышкой, —
потому что все мы — звенья одной цепи...
Отец стряхнул пепел.
— Но ракета, в которой будут ВСЕ,
просто вытянет Землю с орбиты, как репку

и полетит вместе с ней в никуда...
 Он докурил:
 — Преодолеть земное притяжение —
 значит оборвать эту цепь,
 найдя какое-нибудь бракованное звено,
 прореху на человечестве... —
 и, мельком глянув на спящую дочь,
 добавил:
 — Ной потому и спасся,
 что взял с собой только своих...
 — Бабушка тоже своя, —
 возразила мать, —
 я не смогу выбросить её из ракеты...
 — И не нужно, —
 сказал отец, —
 я уже выбросил Бобчина со станции...
 И он взял со стола сигареты и ушёл.
 А мать осталась сидеть над раскрытым чемоданом и
 вздрогнула,
 когда в дверь постучали
 и на пороге появился небритый человек с мутными
 глазами:
 — Бобчин я, электрик со станции...
 Мать молчала.
 бобчин потоптался на пороге:
 — Может, попросите мужа взять меня обратно...
 И тут девочка,
 которая не спала с самого прихода отца,
 закричала,
 что Бобчина не возьмут,
 потому что он бракованное звено на человечестве,
 а они с папой и мамой скоро улетят на другую планету...
 И мать вспыхнула и прикрикнула на девочку,
 что вечно ты лезешь во взрослые разговоры,
 а Бобчину бросила,
 что пить надо меньше
 и ему самое место на лесоповале,
 потому что он совсем потерял человеческий облик
 и чем болтать глупости,

лучше пойдешь умойся, —
 сердито добавила она,
 обращаясь к дочери,
 но та обиделась,
 что ничего не глупости
 и папа уже нашёл ракету,
 только она пока на цепи из бабушки и всех-всех-всех
 и нужно эту цепь оборвать...
 — Да замолчишь ты наконец!.. —
 топнула ногой мать,
 а Бобчин подмигнул девочке
 и, не говоря ни слова,
 скрылся за дверью.

Но когда мать с девочкой сидели за завтраком,
 а отец — за кульманом
 и на краю электроплитки бухал кофейник с давно гото-
 вым кофе,
 потому что мать любила горячий,
 а отец хотел закончить чертёж,
 Бобчин опять появился на пороге:
 — Большому кораблю большое плаванье, —
 сказал он, разглядывая висящие чертежи.
 Отец нахмурился:
 — Я же русским языком сказал: не возьму...
 — Да он не займёт много места! —
 заступилась девочка,
 а Бобчин сказал отцу,
 что у него рацпредложение,
 и они вышли на крыльцо.
 И Бобчин стал канючить,
 что нехорошо получается, гражданин начальник,
 выбросили со станции,
 чтоб самому начать новую жизнь,
 хотя у вас и в старой всё было по-людски,
 а я подохну здесь как собака
 и никто не узнает, где могилка моя...
 — Старая песня, — перебил отец, —
 В чём состоит твоё рацпредложение?

— А в том, — сказал Бобчин, меняя тон, — что я согласен быть «бракованным звеном», потому что как электрик прекрасно понимаю; что, выбрасывая одно это звено, Вы избавляетесь от всей остальной цепи, которой прикованы к Земле, как каторжник к чугунному ядру, и за это... —

Бобчин откашлялся, — предлагаю присвоить планете, на которой вы обоснуетесь, моё имя: написать в самом её центре большими буквами: «Пётр Иванович Бобчин», — потому что раз уж я здесь был ничем, требую, чтобы там я стал всем, — и протянул отцу свою фотографию.

— А это-то зачем? — усмехнулся отец.

— Поместить над буквами. В увеличенном виде, разумеется... И отец закурил и, не спеша выпустив струйку дыма, серьёзно сказал:

— Ничего не выйдет.

— Это почему же? — насторожился Бобчин.

— Мордой ты, брат, не вышел, — ответил отец и, бросив сигарету на землю, пошёл в дом...

А девочка попросилась гулять и мать, укладывая посуду в коробку, сказала, что хорошо, только недолго, а отец с головой ушел в коробку скоростей, так что было почти совсем темно, когда прибежал начальник охраны и сообщил, что сбежал Бобчин, и мать зажгла свет, а отец, оглядевшись по сторонам, побледнел и крикнул:

— Где ребёнок?..

И мать охнула и зажала рот рукой. А отец выскочил из дома и побежал по тропинке вдоль реки... А навстречу ему уже шёл сосед с большим свёртком в руках, а следом за ним соседка с козой, кричавшая, что это же просто счастье, что эта стерва потерялась, а то бы она так и осталась под тем кустом, и что мало им, иродам, блядей, им подавай детей, можно сказать, из коляски, чтоб потом ещё пропить эту коляску...

И отец взял у соседа девочку, завернутую в шинель, которую тот носил зимой и летом, и, тяжело ступая, пошёл к дому, а соседка кричала вслед, что ребёнок не залетит, а до свадьбы зарастёт...

И отец с матерью хотели засунуть девочку в меховую штанину, как делали зимой, потому что у неё зуб на зуб не попадал, но девочка отпихивала её руками и ногами и кричала, что она слишком большая, а я маленькая...

И мать разрыдалась, а отец схватил топор и она закричала, что тебя посадят и слава Богу, что не убил...

А отец отрубил, что Бог тут ни при чём, а не убил — так потому, чтоб если уж не имя, так семя полетело,

Куда летишь, летишь куда ты,
моя душа?

* * *

И, видя будущего знаки
сквозь подступившие века,
спеша, рисую на бумаге
несущиеся облака,

за ними — струи ветровые
и, еле видные в ночи,
как бы зажженные впервые,
две негасимые свечи.

* * *

На развалинах Храма цветут голубые цветы,
словно краска с небес пролилась на зеленые листья,
но, как прежде, сквозь пальцы струится песчаная пыль.

Здесь когда-то молились отцы многодетных семей,
и сухие глаза их светились надеждой и верой,
потому их молитвы дошли и до нас — сквозь века.

На развалинах Храма, где трижды сгорала трава,
а земля превращалась в песок, уносимый ветрами,
мы сегодня с тобою, и тени за нами — во тьме.

Нам их не разглядеть: между нами в потоке времен
звон железных щитов и монгольские конские гривы,
и мечи крестоносцев, и турка кривой ятаган.

Боже, разве так можно — все разом на срезе земном:
три эпохи, три жизни, три на десять судеб бескрайних —
с кровью, криком младенца и вечным проклятьем конца?

Где же ты — справедливый,
ты — любящий, знающий — все,
понимающий — всех, без разбора,
спасавший — без выгод?
Где твоя над несчастной землей вознесенная длань?

Или сроки прошли, и мы — ныне — превысили счет:
все, все выбрали те, в середине, в начале столетья,
так что нынешним — нам — не осталось уже ничего?

На развалинах Храма...

Фотографии

Фотографии — граффити в небе, осколки признаний
и просьб —
отраженье того, что уже никогда не случится,
что однажды исполнилось, было, удачно сошлось,
а теперь вот во тьме поднебесной мы видим
знакомые лица.

Ветер их не сотрет, не развеет, как прах, имена,
и останутся с нами не тени, а наши родные,
будто это пространство — еще одна наша страна,
и нам жить в той стране, может, кое-кому не впервые.

Их не смоят дожди — если только не хлынет потоп.
И Хермон не растает во тьме, в облаках —
так что словно и не был.

И лишь капли на фото не высохнут, видимо, чтоб
еще долго глядели мы в это бездонное небо...

* * *

Это может случиться —
проснусь я счастливый и гордый:
нет уже ни тревог, ни долгов —

в предрассветной прозрачной тиши.
И начнет рыжий пес в ноги тыкаться теплою мордой.
И на пленке восхода проявятся вдруг камыши.

Это может случиться — взамен апельсиновой рощи
я увижу подлесок и запах почую грибной.
Нет на свете, наверно, ничего ни грустнее,
ни проще —
в своем прошлом проснуться,
как будто вернувшись домой.

Но лесок подмосковный опять превратится в виденье,
схлынет, словно погаснет, белоствольно-березовый
свет.
Снова в Ришоне я — и фонтана рассветное пенье,
будто музыка неба, звучащая тысячи лет...

Книга судьбы

Я всю жизнь из их котла кашу ел.
Я всю жизнь из их ковша воду пил.
Но во все глаза сквозь века глядел.
И бежал от них из последних сил.

Это ветер сшиб все замки с границ.
И не дождь стучит по земле, а град.
Там моя судьба — между тех страниц,
где найдешь ответ только наугад*.
Если б я умел верить, как хасид,
мне бы Ребе дал свой святой совет.
Но листай — не листай, а она молчит,
словно страшно — да,
невозможно — нет.

* Имеется в виду «Игрот кодеш» — книга писем Любавичского Ребе, открыв которую наугад верующий найдет ответ на свой вопрос.

Желтая звезда

1.

Опрокинуты камни могил —
намалеваны желтые звезды.
Этот город о нас позабыл —
не напомним ему: слишком поздно.

Но, хоть там нас практически нет:
не видны горбоносые лица, —
вновь кровавый предутренний свет,
шесть концов огибая, струится.

2.

Я забуду, уйду, убегу,
улечу через море, уеду...
Не оставлю следов на снегу,
чтоб меня не искали по следу.

Не оставлю следов на волне,
я растаю в тумане белесом,
чтоб забыли они обо мне —
за горою, за морем, за плесом,

чтоб отныне вовеки веков
там — в огне,
в душегубке,
на плахе —
не бывать мне, потомку жидов
с желтой меткой на черной рубахе.

Часы

Неподвижны стрелки.
Молча
на стене висят часы,
освещаемые ночью
светом лунной полосы.

Мне они напоминают
из картона циферблат:
я малыш.
еще не знаю,
как мгновения летят.

То быстрее кручу, то тише,
то вперед, а то назад
стрелки узкие, не слыша,
как мои года летят.

Мне так весело:
играю —
и улыбка в пол-лица,
словно жизнь моя — без края,
словно время — без конца.

* * *

Красная высохшая земля.
Выше — кирпичная рыжая кладка.
И ничего изменить нельзя —
жизнь уходит вся, без остатка.

Выше рыжей стены — кусты,
зелени яркой переплетенье.
Если очень захочешь ты,
можно услышать птичье пенье.

Выше — разбросаны тут и там,
над этой зеленью красные пятна.
Все — как у Блока: конец мечтам,
никто уже не придет обратно.

Выше красных цветов — небеса,
пространство пустое синего цвета
Смотри, если веришь, Ему в глаза —
а выше уже ничего и нету...

Вот и вечер уже...
Снова розовый купол заката
укрывает наш мир, избавляя его от забот.
Красный плавится диск.
И все люди уходят куда-то.
Разве нас не касается этот всемирный исход?

Трудно в небо взглядеться — сплошное слепящее чудо.
Все, что с нами случится, различить мы сумеем едва ль.
Только ночью услышим как будто сигналы оттуда...
Что-то нам напророчит ночной ясновидец — февраль?

Что нас в будущем ждет, я даже гадать не рискую.
Пусть судьба разбирает небесные знаки сама.
А мы изо дня в день свою жизнь проживаем вслепую
и надеемся лишь, что не очень ошиблась она...



Елена ПЕЧЕРСКАЯ

ОСТОВ МОСКОВСКОЙ ДУШИ

* * *

Щелкнув кризисом,
словно курком или плетью,
со скандалом и свистом
уходит столетье.
А ведь, в люльке времен
убаюкано нежно,
начиналось оно, как всегда, безмятежно.
Этот век, поначалу
укутанный в кокон,
первый проблеск его —
как еще недалек он!
В кузнецовском фарфоре,
в филипповской булке —
он как будто покоится
в темной шкатулке,
весь окутан
пергаментом и бергамотом...

ОСТОВ МОСКОВСКОЙ ДУШИ

133

Стать беспамятным,
стать, наконец, идиотом —
только б вытеснить
песни опального скальда,
клубы жирного дыма
из труб Бухенвальда...
Это тени бывшего
в молчанье безликом
на прощанье прорвались к нам
сдавленным криком.
Шум эпохи
и времени гул глуховатый,
словно уши потомков
заложены ватой.

* * *

Жизнь в России — не сказка, а триллер,
и привычно, на каждом шагу
прочь уходит загадочный киллер,
бросив жертву на жестком снегу.

Водку пьет или едет в трамвае
и шагает по мерзлой траве...
Нет, не в Чили и не в Парагвае —
полагаю, что ближе: в Москве.

Прост, доступен, отнюдь не в металле...
Снова мир для кого-то погас.
Мы ведь сами его воспитали,
Киллер — с нами, всегда среди нас!

Песня

Метро. Туннель.
Подземный переход.
Толпа идет,
небрежно ступая...
И странно слышать:

женщина поет.
И больно видеть;
женщина слепая.
В жестяной банке —
несколько монет...
Пуст кошелек
или душа скупая?
И мнится:
в этом пенье
смысла нет.
Зачем стоит здесь
женщина слепая?

Метро. Туннель.
Подземный переход.
А человек войдет —
и снова выйдет...
Зачем она настойчиво поет
о той черемухе,
которую не видит?

Зачем, невольно душу бередя,
поет о струях летнего дождя?
Мелодия звенит,
не отступая...
Зачем, рукою по стене ведя,
она стоит здесь,
женщина слепая?

Но голос раздвигает низкий свод.
Пусть за углом кайфуют и балдеют,
она поет —
и музыка плывет.
Она поет —
и тьма вокруг редееет.

Капитальный ремонт

Этот кафельный пол,
этот вафельный дом,

чья-то жизнь наизнанку,
а может, вверх дном,
словно спицами вверх перевернутый зонт...
Капитальный ремонт,
капитальный ремонт.

И чужой, но щемяще родной неуют,
по которому длинные тени снуют,
неизвестный, но ясный насквозь человек,
что на чахлом бульваре жует чебурек.

И чужие узлы, и чужие углы
выплывают из этой чужой полумглы,
словно кто-то по нотам тебя разыграл...
Капитальный ремонт,
незнакомый квартал.

Не считай виражи,
не считай этажи.
Обнажается остов московской души.
Сколько битых горшков,
сколько драных ковров...
Это эхо далеких московских дворов.

* * *

Выползает из мрака
в цветении майских садов
этот город-клоака
с обилием грязных следов,
этот город-психушка,
несущий тотальную чушь,
этот город-ловушка
для детски доверчивых душ.
Город тайных притонов,
таксистов, цыганок, кидал,
город волчьих законов,
похожий на Курский вокзал,
город взорванных храмов
и судебных, сгоревших дотла,
город финок и шрамов,

Голос

Ненасытная жажда
навеки бездомной души:
потопи, заглуши
и залей, чтоб не чувствовать боли,
чтоб качаться в седле
по зеленым холмам анаши,
погрузиться на самое дно
под волной алкоголя.

Этот дым, этот чад
отравили сознание твое.
Даже если у Бога
пока ты получишь отсрочку,
слишком сильно стремление
немедленно встать под ружье
при железном желанье
разрушить свою оболочку.

Что останется здесь?
Только копоть, и сумрак, и тлен...
Жернова, жернова...
Все, что было, в муку размолось
На ступенях стоишь —
и не в силах подняться с колен,
если б только не голос...
Откуда пришел этот голос?

Голос, внятно звучащий
в твоей непуτεύой судьбе,
где в кровавых полях
расцветают опийные маки.
Он был предан тобою,
но искренне предан тебе,
поднимающий ввысь,
выводящий на свет

из клоаки.



Владимир ШЛЯПЕНТОХ

ВЫДЕРЖИТ ЛИ РОССИЯ ЭКЗАМЕН, УГОТОВАННЫЙ 2000-М ГОДОМ!

Новое демократическое общество при переходе власти от одного лидера к другому оказывается всякий раз перед лицом серьезного экзамена. Некоторые посткоммунистические режимы выдерживают подобное испытание, а некоторые — нет. В Казахстане, например, президентские выборы, прошедшие в январе 1999 года, по своей процедуре, мало чем отличались от выборов советских лет. Нурсултан Назарбаев («отец народа») легко устранил наиболее серьезного соперника на своем пути. И установив неограниченный контроль над средствами массовой информации, заполучил 82 процента голосов.

Теперь подобный же исторический экзамен «навис» над Россией. Напряженность и уныние отличает политический климат и настроение народа, идущего навстречу парламентским выборам в декабре 1999 года и особен-

но это касается выборов Президента в июне 2000 года.

Под прикрытием затянувшейся болезни Ельцина процедура перехода власти к его преемнику полна неопределенностей. Премьер-министр Евгений Примаков недавно выступил инициатором «предвыборного соглашения» между исполнительной и законодательной властью в надежде на стабилизацию шаткой политической и экономической ситуации перед испытанием 2000 года.

Другим сигналом приближающейся бури является глубокая озабоченность российских политиков неопределенностью выборного законодательства. «Августовский обвал» еще более углубил царящий в обществе пессимизм. По данным Всероссийского Центра общественного мнения, 37 процентов населения оценивает 1997 год, как «очень трудный», в 1998 году эта цифра возросла до 83 процентов. Объективные данные упадка российской экономики показывают, что создавшееся положение вызвано не мрачными выступлениями печати, а является реальной характеристикой каждодневной жизни. Жители России единодушны в своих выводах о том, что без помощи Запада социально незащищенные группы населения в ряде регионов окажутся перед лицом голода. В провинциях продуктовая проблема приобретает все более чрезвычайный характер, циркулируют слухи о том, что весной, за несколько месяцев до нового урожая, ожидается нехватка хлеба и картошки. Гуманитарная помощь Запада становится единственной надеждой для растущего числа россиян, и если еще сохраняются в народе робкие надежды на будущее, то их источник — это надежды на изменения в Кремле. Большинство жителей страны (не менее, чем две трети) ждут прихода нового лидера, готового осуществить радикальные перемены в политике приватизации и отправить за решетку сотни коррумпированных чиновников (в особенности из окружения Ельцина) и бизнесменов.

При этом люди надеются на приход такого хозяина Кремля, который перенесет центр своего внимания на жизнь миллионов людей, живущих в нищете.

Между тем, в российской экономике не видно никаких

признаков выхода из кризиса, коммунистическая и националистическая оппозиция рассматривает выборы как благоприятную возможность для захвата власти в стране. Не остается сомнений, что оппозиция готова силой осуществить коренные изменения в российской жизни.

На пресс-конференции в феврале 1999 года Геннадий Зюганов говорил о переменах, которые он намеревается провести, после того, как сосредоточит власть в своих руках. Зюганов открыто угрожал своим врагам, в особенности, журналистам, будущими репрессиями, «если они не сподобятся вовремя добраться до аэропорта Шереметьево».

Государственная дума продолжает свои нападки на Ельцина, несмотря на его согласие ввести коммунистов в состав правительства. Продолжающийся процесс импичмента президента не может не вызывать озабоченности и у самого президента и среди его советников. В то время как оппозиция наступает, Кремль не собирается сдаваться. Не имея на то никаких законных оснований, первый заместитель главы президентской администрации Сысуев клянется использовать силы своего аппарата, чтобы противостоять оппозиции на будущих выборах.

Претенденты на президентский пост и возможные опасности

Ясно, что российская элита может потерять больше всех в результате драматических перемен в руководстве страны. Личность нового лидера определит, кто победит и кто проиграет с приходом нового режима. Главные претенденты на пост президента — Евгений Примаков, Геннадий Зюганов, Юрий Лужков и Александр Лебедь. Осуществив свои первые антикоррупционные акции, Примаков послал многозначительный message правящей элите — что может произойти, если он сосредоточит в своих руках всю полноту власти в России.

В связи с этим, среди прочих событий, нельзя не упомянуть об аресте бывшего министра юстиции Валентина Ковалева. Силами безопасности совершены налеты на несколько фирм Бориса Березовского. Возбуждено уголовное дело против Абея Аганбегяна, «неприкасаемого» академика, получившего в последнее время известность своими махинациями вокруг приватизации Академии управления народным хозяйством. Угрозы Примакова в адрес элиты прозвучали еще сильнее, когда в феврале 1999 он заявил на правительственном заседании, что 90 тысяч уголовников будут амнистированы и освобожденные камеры предполагается использовать для осужденных за экономические преступления.

Другой важный фактор, который отравляет политический и экономический климат в стране, — это все более растущая и опасная волна нацизма. Антисемитские надписи и лозунги становятся привычными в вагонах метрополитена и других общественных местах по всей стране.

В конце 1998 года антисемитские заявления донесли из зала Госдумы, авторами которых был Альберт Макашов и Виктор Илюхин, которые допустили грубые антисемитские выпады, фактически поддержанные левым большинством парламента. К этому нужно добавить усиление ксенофобии, достигшей нового взлета в ряде статей, опубликованных в имеющей большой тираж коммунистической газете «Советская Россия». Раньше подобные экстремистские статьи могли появляться лишь в широко известной своей одиозной националистической позицией газете «Завтра».

Партия Баркашова «Русское Национальное Единство» с нацистской идеологией имеет в стране много региональных отделений и большое число сочувствующих в армии, в органах безопасности, подразделениях милиции, судах и прокуратурах. Растущую озабоченность вызывает популярность этой партии у молодежи, которую привлекают коллективные начала в ее деятельности, нацистская униформа, военная дисциплина, организованные спортивные лиги.

31 января 1999 года 200 молодчиков Баркашова, размахивая нацистскими знаками и лозунгами, промаршировали по северному району Москвы. Милиция не только разрешила процессию, но один из ее высоких чинов публично извинился перед марширующими, когда несколько его подчиненных попытались проверить у демонстрантов документы. Но что вызывает наибольшую озабоченность — это то, что по данным опроса, проведенного в декабре 1998 года Всероссийским Центром по изучению общественного мнения, 43 процента россиян поддерживают лозунг «Россия для русских», а опрос, сделанный в феврале 1999 года Фондом Общественного мнения, показал, что 25 процентов населения прямо или косвенно симпатизирует русскому нацизму.

Выборы 96-го года и эрозия демократии

На фоне ухудшающегося экономического положения страны, неутрачивающая борьба между Кремлем и парламентом, политическая неопределенность вокруг фигуры будущего главы государства, оживление экстремистских групп и ксенофобии — все это убедительные свидетельства того, что общество отстает от соблюдения некогда провозглашенных им демократических норм. Главный редактор «Независимой газеты» политический журналист Виталий Третьяков недавно заметил, что «демократические институты в России начали дегенерировать прежде, чем достигли зрелости».

Власть предрасполагает в Москве и в провинции скорее имитируют демократию, нежели реально внедряют ее в жизнь. Имитация демократии достигла своего «расцвета» в советские времена. Члены советской номенклатуры были воистину виртуозами по этой части. Вспомним, как они проводили «свободные выборы» с одним-единственным кандидатом в бюллетене. В то же время сейчас многие политики отвергают даже мимикрию демократии, утверждая, что некоторые демократические институты просто-напросто не работают в России.

Среди прочего объявляется ошибочным институт выборов губернаторов и раздаются призывы вернуться к старым порядкам, когда губернаторы назначались Центром. Находятся немало людей, которые утверждают, что Россия не создана для демократии, поэтому она остается экономически слабой и контролируется коррумпированными бюрократами.

Многие озабочены другим обстоятельством, считая, что при всем уважении к оперяющейся российской демократии, она открывает перспективу для коммунистического или националистического переворота, одинаково возможного как при честных, так и мошеннических выборах.

Первое и самое драматическое свидетельство эрозии российской демократии принес октябрь 1993 года, когда Ельцин решился на расстрел парламента, пытаясь ценой кровопролития разрешить конфликт с политическими противниками. И продолжал, в сущности, ту же линию, пытаясь закрепить свою «победу» путем проведения в декабре 1996 года всенародного референдума новой конституции.

Для признания референдума действительным требовалось участие как минимум 50 процентов избирателей. Как подозревали ряд наблюдателей, число участников голосования Кремлем было завышено. Сделано это было для того, чтобы подтвердить конституционность полученных результатов. При этом Кремлем было грубо нарушен закон, когда он отказался обнародовать региональные данные о количестве людей, участвующих в референдуме.

Следует заметить, что весной 1996 года Кремль был сильно напуган тем, что разочарованное население изберет президентом коммунистического лидера Зюганова. Этот страх разделяли многие либеральные политики, интеллектуалы, крупные бизнесмены. Приблизженные к президенту лица (такие как тогдашний начальник его охраны и ближайшее доверенное лицо Александр Коржаков и Премьер Виктор Черномырдин) настаивали на отмене выборов под любым предлогом. Тринадцать

российских олигархов, включая Бориса Березовского, Владимира Гусинского и Михаила Ходорковского, опубликовали открытое письмо Ельцину и Зюганову, содержащее слабо завуалированную рекомендацию отменить президентские выборы ради сохранения гражданского мира в стране.

Важное и тогда еще малоизвестное событие просочилось в печать в марте 1996 года, когда специальные милицейские подразделения ОМОНа захватили Государственную думу на два дня уикэнда. Оценивая трагические события парламентского переворота 1993 года, Ельцин несомненно хотел подавить новый переворот еще перед тем, как он произойдет. Ельцинский захват здания Думы дает ясное представление о том, как он был близок к идее разгона парламента и отмены выборов. В конце концов группа президентских советников, возглавляемых Анатолием Чубайсом, смогла убедить Ельцина в том, что он одержит на выборах победу.

Предвыборные манипуляции

Еще более, чем отменой выборов, аппарат Ельцина занимался всяческими манипуляциями, допуская вопиющие нарушения демократических законов и процедур. Люди Чубайса собрали фантастическую сумму, оцениваемую в миллиард долларов, на проведение предвыборной кампании. Сравнивая эту цифру с предусмотренными законом расходами Клинтона в сумме 113 миллионов долларов, и 2,9 миллионами, официально истраченными Ельциным на выборы 1996 года, становится очевидным, какие грубые нарушения были допущены во время выборной кампании. Ельцин установил фактически неограниченный и монопольный контроль над телевидением. Куда дальше идти, если Кремль решил тайно поддержать кандидатуру Александра Лебеда лишь для того, чтобы оттянуть голоса у Зюганова. Только с помощью генерала Лебеда президент оказался в состоянии набрать необходимое количество голосов во втором туре.

Ельцинское окружение предприняло и другой незаконный маневр, чтобы гарантировать победу. При том, что Зюганов после первого тура нагонял Ельцина с очень небольшим отставанием в 3 процента голосов, Кремль дал прямое указание местным лидерам гарантировать Президенту необходимое количество голосов. И вот как результат на местах стали наблюдаться довольно большие странности при голосовании. Например, оба кандидата, которые попали во второй тур, набрали больше голосов, чем они получили в первом туре. Как это часто случается в ходе выборов, два ведущих кандидата получают дополнительные голоса в результате того, что часть кандидатов отпадает. Зюганов, однако, получил во втором туре меньшее количество голосов прежде всего потому, что руководители ряда регионов (среди которых были Татарстан, Башкирия и Дагестан) оказали прямое давление на весь ход выборов... Как заметила несколькими годами позже московская журналистка Юлия Калинина, «руководители регионов правильно поняли свою задачу и делали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать Ельцину победу».

Решимость Ельцина манипулировать местными руководителями накладывает сильный отпечаток на современную политическую сцену. Идя навстречу выборам 2000 года, российские политики держат в памяти опыт выборов 1996 года, который один из московских политических аналитиков выразил такими словами: «без поддержки местных баронов победа президента на выборах просто невозможна».

Мимикрия и марионетки на местах

Начиная с 1996 года, подобными эксцессами, связанными с выборной процедурой, повсеместно отмечен российский политический ландшафт. В декабре 1997 года ход и аранжировка выборов в Московскую думу стали практически повторением мелодии президентских выборов 1996 года. Контроль мэра Лужкова над

действиями городских чиновников, его монополия на средства массовой информации и гигантские финансовые ресурсы predeterminedли результаты голосования, Лужков создал местный парламент, почти полностью состоящий из депутатов-марионеток.

Президентские выборы в Башкирии в 1998 году прошли вообще в квази-советском стиле. Миртаз Рахимов, занимающий пост президента республики, не нашел ничего лучшего, чем мобилизовать местную милицию, чтобы она отговаривала население от поддержки его противников. Люди президента изводили его соперников и всех, кто его поддерживал, а в ряде случаев устраивали даже физические расправы с журналистами оппозиционных газет и радиостанций.

Выборные кампании в ряде других районов России проходили в такой же обстановке. Руководители Орловского региона, Кабардино-Балкарии и Мордовии, копируя советский стиль, широко отпраздновали свою «блистательную победу» на выборах, где им удалось завоевать 90 процентов голосов.

В городах Нижнем Новгороде и Ленинск-Кузнецке результаты выборов мэров были аннулированы указанием, поступившим из Москвы. Как выяснилось, одержавшие победу кандидаты имели уголовное прошлое — не меньше, не больше! Но что интересно, избиратели были обеспокоены этим прошлым еще меньше, чем беспардонным вмешательством Кремля в процесс выборов.

В январе 1999 года выборы в местную думу Владивостока были также объявлены недействительными. Губернатор Приморского края Евгений Наздратенко аннулировал их результаты после того, как его искусный соперник Виктор Черепков, (бывший мэр Владивостока) привел к победе свой предвыборный блок.

Выборы в Думу Санкт-Петербурга (который принято считать городом высоких демократических традиций) в 1999 году сопровождалась коррупцией кандидатов, боровшихся с соперниками с применением самых грязных приемов. На выборах покупались голоса (абсолютно

нехитрое дело в стране с миллионами безработных и голодных людей), запутывались избиратели путем дублирования кандидатур в выборных бюллетенях (метод, помогающий разделять голоса противников), устраивались грубые провокации (кандидат специально нанимал кого-то на работу, чтобы тот, используя все возможные способы, навел страх на его противника). Или, например, использование в борьбе с противником различных и ничем не подтвержденных инсинуаций (например, обвинения в сотрудничестве оппонента с иностранными разведками).

Мэр Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, следуя сомнительной тактике Лужкова во время выборов в Московскую думу в 1997 году, приводил в действие все политические и финансовые возможности городских властей для устранения со своего пути оппозиционных кандидатов. В выборной кампании участвовали криминальные организации, оказывая помощь тем кандидатам, которые в обмен обещали предоставление уголовникам различных выгод. Несмотря на все эти кричащие нарушения закона, ни Центральная избирательная комиссия, ни местные суды не применяли никаких мер к лицам, ответственным за выборы и устроившим настоящую уголовную вакханалию во второй российской столице.

Официальное признание постыдных выборов в Казахстане с присутствием Примакова на инаугурации Назарбаева еще раз продемонстрировало безразличие российских лидеров к нарушениям демократии. Как подчеркивала московская «Новая газета», только люди с очень циничной совестью могут воспринимать переизбрание Назарбаева как демократическое.

300 политических партий: *Bella omnium contra omnes*

Общий политический климат в России в двух словах может быть охарактеризован латинской поговоркой — «*Bella omnium contra omnes*» - «война всех против всех». Народ рассматривает политический режим как

некое замешанное кем и чем попало рагу, состоящее из недобросовестных лиц, борющихся между собой за деньги и власть.

63 процента россиян характеризуют политический истеблишмент России — как коррумпированный и преступный (советских политиков подобным образом характеризуют лишь 13 процентов населения).

При этом президент Ельцин своими действиями лишь укрепляет сложившееся в обществе мнение о режиме. Не об этом ли говорит его вероломство по отношению к ближайшим сподвижникам и его готовность предать любого, кто не способен принести ему немедленную пользу в условиях опасного политического климата. Всеобщая подозрительность и сложная политическая атмосфера являются объяснением тому, почему политики не в состоянии выступить единым альянсом. Существующая в России политическая чересполосица, всеобщее недоверие среди политиков и их полная неспособность создать в стране нормальную обстановку предопределяют нестабильность будущих выборов 1999-2000 года.

Сейчас в России насчитывается 300 политических партий и организаций, но нет ни одной, которая имела бы поддержку более 15 процентов голосующего населения. И нет ни одного кандидата в президенты, который пользовался бы поддержкой более, чем 20 процентов избирателей. Опрос, проведенный Фондом Общественного мнения, открывает перед нами следующую картину популярности главных политических партий: Коммунистическая партия — 22 процента, Лужковское «Отечество» — 15 процентов, «Яблоко» Явлинского — 15 процентов. Остальные партии делят между собой очень немного голосов, включая партию Гайдара, которую поддерживает лишь один процент населения и новую либеральную партию, известную под названием «Правое дело», которая также поддерживается одним процентом населения. Так что при существующей политической раскладке нет партии (включая коммунистов), имеющей шанс завоевать большинство на парламентских выборах.

В то же время опрос, проведенный в январе 1999 года Фондом Общественного мнения, установил, что имеющих наибольшую популярность кандидатов в президенты, например, премьер-министра Евгения Примакова поддерживает только 16 процентов населения, Зюганов занял при опросе второе место (с 15-процентным рейтингом), сторонники мэра Лужкова насчитывают 13 процентов, все прочие потенциальные кандидаты имеют значительно более низкий рейтинг.

Деньги решают все

Ведущие политические актеры, независимо от сцен, на подмостках которых они выступают (коммунисты, либералы, националисты), по сути дела не испытывают никакого уважения и симпатии к населению, которое они призывают отдать за них голоса на выборах.

Будучи не в состоянии завоевать симпатии тех, кого принято называть «vox populi», многие политики с отвращением отворачиваются от избирателей, утверждая, что простой русский человек просто не понимает своих собственных интересов, что он по своей натуре трус, мерзавец, который не сделает шага вперед, чтобы уничтожить врага. Большинство политических деятелей исполнены веры, что большие деньги есть единственное средство для достижения успеха на выборах.

Цинизм средств массовой информации — главный фактор, дискредитирующий выборы в глазах общества. Согласно опросу Фонда Общественного мнения, проведенному в январе 1999 года, им верят меньше одной трети россиян. Никто в стране не оспаривает того факта, что средствами массовой информации полностью, притом бессовестно манипулируют владельцы корпораций, подмявших под себя российские масс-медиа. Финансовые тузы решают, кого следует поддержать, а кого уничтожить в политике и экономике. Они также определяют, как и каким образом должны подаваться населению текущие события.

Недавняя публикация записанной на пленку беседы

ведущего телеобозревателя ОРТ Сергея Доренко с Борисом Березовским раскрывает перед нами, какой жесткий контроль установили финансовые олигархи над передачами новостей. Березовский, владелец крупнейшей телекорпорации, в которой служит Доренко, буквально диктовал текст программы новостей, которая должна была пойти в эфир на следующий день.

Сценарии и прогнозы

Начиная от рядовых граждан и кончая многоопытными политическими экспертами, россияне не верят в то, что в России возможны честные выборы. Бывший губернатор и зам. премьера Борис Немцов, который хорошо разбирается в политической технологии и в Москве и в провинции, предсказывает, что президентские выборы неизбежно будут бесчестными.

Представить, что может произойти перед, в течение и после выборов столь же трудно, сколь и рискованно. Конечно, некоторые факторы будут иметь прямое влияние на выборы, включая такие, например: ход экономического развития, терпимость общества перед лицом переживаемых им трудностей, здоровье Ельцина, политическая деятельность и здоровье семидесятилетнего Примакова, взаимоотношения Ельцина с Примаковым и другими ведущими политиками, позиция и деятельность Государственной Думы с ее левым большинством, накал борьбы между различными кандидатами за президентский пост, деятельность местных руководителей и ведущих олигархов, позиция масс в отношении политиков и их готовность защищать демократию.

При существующем политическом климате шансы на плавный переход власти и честные выборы в 1999-2000 году выглядят более, чем слабыми. В то же время мирные и безболезненные выборы как один из возможных сценариев развития российской демократии также не могут быть исключены. Хотя более вероятный ход событий будет связан с разного рода неприятностями, напоминающими 1996 год. Впрочем, может случиться и

так, что население после многих колебаний все-таки примет кандидата, набравшего большинство голосов, и страна двинется вперед, избежав больших катаклизмов и волнений.

Другой сценарий предполагает отсрочку президентских и парламентских выборов на неопределенное время. Возможность подобного развития событий рассматривалась еще бывшим президентом Михаилом Горбачевым. И такой сценарий мог бы иметь место, если бы Ельцин еще оставался у власти весной 2000 года. Новый экономический кризис и волнения среди населения могли бы предоставить ему дополнительные возможности отменить выборы. То есть он мог бы прийти к выводу, что самый лучший выход для него и его семьи — это конституционный переворот и введение в стране чрезвычайного положения. Как заметил один московский журналист, главная озабоченность Ельцина — это его собственная физическая и политическая безопасность, а вовсе не политические и экономические проблемы страны.

Среди возможных кандидатов, включая Евгения Примакова, нет таких, которые были бы дружественно настроены к Ельцину и его семье. Вследствие его исключительно низкого престижа среди населения (менее 3 процентов населения доверяли Ельцину в феврале 1999 года) президент ни для кого не представляет ценности на предстоящих выборах. Как заметил известный социолог Юрий Левада, «благословение Ельцина может сыграть для любого кандидата лишь роковую роль». Между тем, в период передачи власти Ельцин и его семья могут оказаться перед лицом уголовных обвинений — некой платы за их противозаконную деятельность. Так уже бывало в истории. Совсем не случайно, что именно оппозиционные средства массовой информации предоставили материалы для обвинения в коррупции бывших южно-корейских президентов Чун-Ду Хвана и Роу Тае-Ву в 1996 году.

Если бы Николай Бордюжа, честлюбивый генерал и бывший сотрудник КГБ, остался главой администрации

Ельцина, он мог бы без особого труда спровоцировать необходимость чрезвычайного положения и отмену выборов. Подобная же ситуация может быть спровоцирована любым генералом (возможно генералом Лебедем), который способен укрепить в смутные времена позицию Кремля. Введя временное, военное положение генерал мог бы стать регентом страны. Обращаясь к истории Римской и Византийской империй, мы видим, что каждый, кто был близок к главе государства в период перехода власти, становился серьезным претендентом на императорский трон.

Если Примаков будет изгнан Ельциным, отмена выборов выглядит более вероятной. Парламент будет энергично протестовать, Ельцин ответит на это полным разгоном Думы, в результате начнутся беспорядки, которые таким образом помогут президенту пойти на отмену выборов. Следует, однако, отметить, что если даже Ельцин не сможет закончить свой президентский срок (из-за плохого здоровья или новой экономической катастрофы), любой преуспевающий лидер может решиться на тот же шаг, ссылаясь на опасность неопределенности, которая может возникнуть в результате свободных выборов.

Специальный сценарий предполагает возможность изменения порядка выборов. Идея новой процедуры выборов какое-то время уже носится над Россией — и в этом еще один признак постепенного отхода страны от демократической модели.

Михаил Прусак, известный либеральный политик и губернатор Новгорода, открыто заявил, что «массы не способны осуществлять контроль за действиями властей». Он утверждал, что необходимо отказаться от идеи общенациональных выборов и что ответственность за выборы официальных лиц должна быть возложена исключительно на людей бизнеса. Интересно то, что Зюганов, ярый противник партии Прусака, согласен с ним в том, что общенациональные выборы должны быть заменены альтернативным процессом отбора кандидатов. Зюганов, однако, считает, что этот про-

цесс должен осуществляться политическим органом. Таким как Федеральное собрание или конституционная ассамблея.

В условиях очень широкого спектра политических интересов каждый проигравший кандидат может организовать поддержку нескольких групп избирателей. При этом группы поддержки проигравших сторон могут моментально провозгласить, что при проведении выборов было допущено жульничество, возбуждая массовые политические беспорядки и ведя к дальнейшему расслоению избирателей. Основываясь на этом, один из ведущих московских журналистов, Леонид Крутаков считает, что наиболее критические ситуации будут возникать не перед голосованием, а после оглашения результатов выборов, которые окажутся в центре внимания общества.

В случае нечестных выборов либо полного аннулирования их результатов страна будет постепенно сползать к бурному, турбулентному политическому климату, который при определенных обстоятельствах, по крайней мере внешне, может выглядеть достаточно спокойным.

Однако, если заглянуть дальше, то в этих условиях наступивший хаос может обернуться анархией в провинции и установлением ксенофобской военной диктатуры, которую возможно примет население, истосковавшееся по порядку.

Влияние Запада

Сегодня широко дебатруется способность Запада влиять на политические и экономические процессы в России. Мнения варьируются от идеи, что Запад есть главный двигатель либерального капитализма и демократии в России, до уверенности, что Западные правительства не имеют никакого влияния на страну, потому прежде всего, что население испытывает глубокое разочарование в либеральных реформах, которые оно связывает с влиянием Запада. И все это, естественно, подогревает антизападные настроения.

Принять любую из крайних оценок было бы ошибочным.

На самом деле экономическое и моральное влияние Запада продолжает играть заметную роль в развитии посткоммунистической России. В то же время западные правительства оказывают «асимметричное» воздействие на разные стороны жизни нарождающегося либерального общества.

Демократические страны и международные экономические институты постоянно вмешиваются в дела российской экономики, давая советы по самым разным вопросам, включая структуру российского бюджета. Однако западные политики пребывают в молчании, когда дело касается множества нарушений демократии. Они также безразличны к диктаторским приемам властителей в национальных республиках, где честные выборы остаются лишь в мечтах населения.

Запад имеет достаточно оснований проявлять обеспокоенность провалом российской экономики, не меньше его должно волновать и банкротство российской демократии. В прошлом свободный мир воздерживался от критики российской политики, чтобы не подрывать авторитета Ельцина в его борьбе против коммунизма. Между тем, такая сдержанная политика принесла очень мало пользы самому Ельцину, зато началось молчаливое отступление от демократических принципов. В предстоящие годы страна окажется перед лицом испытания устойчивости ее демократии. И Запад обязан сделать все, что в его силах, чтобы гарантировать свободные и честные выборы. В то же время западные правительства, поддерживая российскую демократию, должны быть готовы к любому развитию событий, связанных с предстоящим экзаменом в двухтысячном году.



Вадим ЦЫМБУРСКИЙ

ПЯТАЯ СКРЕПА РОССИИ

или российская геоэкономика в новом столетии

Два расклада мощи

Трудно сомневаться в том, что жестокое ослабление России в течение «реформаторских» лет, так или иначе скажется на всемирной политике первых десятилетий нового века. В наши дни разоренные российские территории выглядят распяленными между крупнейшими средоточиями как военной, так и производственной мощи. В военном аспекте такими средоточиями выступают — на западе союз НАТО, произвольно и неустанно расширяющий свою «зону ответственности», а на востоке — массив Китая. На порядок проигрывая Китаю в мобилизационном потенциале, Россия, запутавшаяся в своих реформах, все явственнее уступает силам НАТО в усвоении технологий современной войны. В плане же хозяйственном она оказывается огромной зоной минималистского «выживания» между объединенной Европой и кольцом экономик Азиатско-Тихоо-

кеанского региона, рискуя надолго подвергнуться экономическому разделу между этими товарными и финансовыми метрополиями.

Живи мы в мире, описанном моделями классической геополитики, положение нашей страны надо было бы считать едва ли не безнадежным. Как известно, одной из главных категорий этой старой геополитики была идея так называемого Большого Пространства (или гроссраума). Под этим выражением понималась утверждаемая в имперской, федеративной или союзно-договорной форме военно-силовая и экономическая консолидация некоего физико-географического или цивилизационного ареала, делающая из него суверенный субъект политической игры с остальным миром.

Русским конца XX века сильно повезло, что сегодня мир существенно отличается от мира геополитической классики. В частности, он характеризуется тем, что в нем сосуществуют два различных расклада мощи, из которых ни один не конвертируется в другой и не подчиняет его себе. Это — военно-стратегический и геоэкономический расклады. Они воплощаются на одной и той же карте Северного полушария и взаимно перекрываются, то частично нейтрализуясь, то находя друг в друге определенную поддержку. В целом же Большие Пространства, формирующиеся нынче в экономическом или военном измерениях, оказываются в той или иной сфере политически раздроблены. Во многом благодаря такому положению дел геоэкономика за последнее десятилетие смогла выделиться из геополитики в особую «дочернюю» дисциплину с собственными задачами и приемами их решения.

Например, сейчас Северная Атлантика со Средиземноморьем — это в военном отношении единое оборонное пространство, контролируемое союзом НАТО. Но геоэкономически оно разделено «барьерами», ограждающими разные зоны и мешающими сложиться, по определению Збигнева Бжезинского, «трансатлантической Европе». С другой же стороны, Азиатско-Тихоокеанское хозяйственное кольцо помимо того, что его сегментиру-

ют таможенные препоны, еще и раскалывается тихоокеанским силовым балансом, противопоставляющим Китай американско-японскому военному союзу.

На одном океане милитаристский гроссраум членит геоэкономика с ее европейским и американским «табачком врозь», а на другом океане оборонные рубежи проходят посреди становящегося экономического сообщества. Поэтому ни на востоке, ни на западе надломившаяся Россия не испытывает сокрушительно-го нажима, который бы неизбежно имел место, если бы с ней соприкасались две целостные империи или конфедерации.

Стратегические алгоритмы

Главный вопрос для России сейчас в том, какие шансы перед ней открывает и какой политики требует каждый из этих двух раскладов, по-разному организующих наше полушарие.

В предлагаемых заметках я пока что оставляю военные вопросы в стороне и, признавая самостоятельную роль геоэкономики, попытаюсь наметить те стратегические алгоритмы, которые может предоставить российским политикам данная разновидность политического проектирования. Это вовсе не значит, что я хоть в какой-то мере примыкаю к тем рьяным либералам, на взгляд которых военный фактор должен ступенькаться перед экономическим. Сколько раз за «перестроечные» и «реформенные» годы нам приходилось внимать трескотне о том, что «истинная сила — не в ракетах, а в экономике», отождествляемой с наполнением потребительского рынка. Как будто богатство и замечательный жизненный уровень Кувейта спасли его в 1990-м от захвата и разграбления иракцами, а в 1991-м — от разрушения евроатлантическим воинством и тактического перехода под американско-британскую опеку! Если когда-нибудь Россия окажется перед лицом «мирового цивилизованного» диктата в положении современной Югославии, нас не защитит повышенная чис-

ленность «видиков» на душу населения — в таких обстоятельствах будет гораздо надежнее имидж «Верхней Вольты с ракетами». Но нельзя не видеть и того, что никакое количество боеголовок само по себе не поможет направить через наши земли те мировые ресурсные потоки, которые пока что обходят нас стороной.

И однако же при относительной самостоятельности геоэкономики и военно-силовой геополитики, акции, планируемые в рамках одного из этих раскладов, часто могут существенно воздействовать на динамику другого расклада. Да, следование западноевропейских союзников в американском фарватере во время Балканской войны 1999 года не помешало им вести в те же месяцы против США «продовольственную» торговую войну. Но гораздо более впечатляет то, как балканская война при попустительстве самих западноевропейцев сокрушила великолепный стартовый курок евродоллара и, ликвидировав перевес европейской валюты, на какое-то время скрепила целостность североатлантического военного гроссраума.

Я убежден: подобные намеренные рикошеты в другое стратегическое измерение должны быть органической составляющей также и серьезного геоэкономического планирования. Оно обязано не только стремиться к выигрышам страны на игровом поле мирового хозяйства. У него есть и другая миссия — прочерчивать своими методами и средствами путь к результатам, которые помогали бы стране отвечать не только на экономические вызовы, но работать также на обеспечение ей безопасности и неприкосновенности ее основных интересов в сферах за гранью экономики.

Поэтому я не могу согласиться с теми авторами, которые ограничивают наши геоэкономические цели формированием российского внутреннего рынка, пусть даже и с прихватом некоторых регионов близкого зарубежья. Постановку такой цели — думаю, вполне разрешимой до постарения сегодняшних 40-летних, — можно и нужно приветствовать, но следует осознавать и ее ограниченность.

Выбор здесь невелик, очагов хозяйственного могущества в нашем соседстве всего два (Северная Атлантика русских не касается). А значит, российским лидерам и экспертам следует детальнее обозначить наши возможности в отношении уже названных выше геоэкономических Больших Пространств — объединенной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Удел неоколониальных задворок

В России конца 1990-х, по крайней мере, до последней Балканской войны достаточно громко звучали голоса сторонников ориентации на страны европейского сообщества, пытавшихся противопоставить европейский курс «проамериканской» политике первого ельцинского президентства. Война, показавшая реальное положение западноевропейцев в современном мире, похоже, заставила эти голоса приутихнуть. Но многое ли она изменила по существу? Никто ведь и не думал всерьез о вхождении «кризисной» России в Пан-Европу наших дней. Имелось в виду другое: а именно, что предоставляя европейцам привилегии в некоторых областях российских внешнеэкономических связей и даже в отдельных звеньях нашего хозяйства, развивая при их помощи нашу инфраструктуру, служа для европейского содружества прочным топливно-сырьевым «задним двором» и рынком сбыта (так сказать, дополнительным обеспечением общеевропейской валюты) — Россия сможет подстраховаться против чрезмерной зависимости от американцев и завязанных на них международных институтов вроде МВФ.

Тактически такой подход остается и сейчас оправданным, но только тактически. Ибо если придать ему ранг нашей геоэкономической стратегии на 10 лет и более, то он застолбит за нами удел европейских неоколониальных задворок. Не говорю уже о том, что на этом пути нам, в общем, нечего будет противопоставить тенденции к экономическому разделу России.

А что же в Азии!

С Европой все ясно, а как обстоят наши тихоокеанские дела? Может показаться, что здесь успехи налицо: Россия принята в АПЭК, структуру гораздо более открытую по сравнению с объединенной Европой. Но здесь то и возникают трудности, связанные с неопределенностью роли нашей страны в азиатско-тихоокеанском регионе. Россия в нем — государство окраинное. Она выходит на Тихий океан своими наименее развитыми, слабо населенными землями — гораздо севернее той полосы восточно-азиатского приморья, где в последней трети XX века состоялось «экономическое чудо». А хозяйственно развитые российские территории обретаются вне основной зоны азиатско-тихоокеанского региона, намного западнее ее и континентальнее. Этими обстоятельствами определяется обособленность, если не сказать — изолированность России в АТР, ее отчужденность от воспроизводственных ритмов тихоокеанских экономик. Однако, сколь ни парадоксально, эти же факторы на нашем веку могли бы помочь русским обрести важную и оригинальную роль в жизни этого Большого Пространства. Но сперва — несколько слов о том, для чего это было бы нужно самим русским.

Задумаемся, — что представляет собой сжавшаяся, постсоветская Россия с точки зрения ее коммуникационной структуры? Поскольку огромные площади Сибири обжиты крайне скудно, наши основные коммуникации имеют вид прямоугольной рамки, окаймляющей страну.

На ее европейском и дальневосточном флангах они развертываются, главным образом, меридионально, с севера на юг или с юга на север. Так текут реки Европейской России, в том числе Волга и Дон, так проходят внутри нее важнейшие авиа- и железнодорожные линии. На Дальнем Востоке с юга на север течет Лена и пролегают дороги, соединяющие Якутию с Южной Сибирью, меридионально совершается и навигация вдоль нашего тихоокеанского побережья.

Напротив, для Сибири, срединного российского пространства, наиболее важны коммуникации, вытянувшиеся широтно — Транссиб, Северный морской путь, авиалинии с запада на восток. Из-за подобной коммуникационной структуры России в ее внутренней геополитике первостепенную роль обретают те регионы, где взаимоналагаются меридиональное и широтное развертывание стран. В ряде работ я трактую такие регионы как «скрепы России».

На первый взгляд, таких скреп — четыре. Это наш Северо-Запад, глядящий на Северную Европу, на Белое и Балтийское моря; это и Юго-Запад — прикаспийское Нижнее Поволжье и Северный Кавказ с Черноморским побережьем; также и Южное Приморье с Забайкальем; наконец, такой же «скрепой» служит и едва ли не самый обездоленный угол России — выходящий к Берингову проливу, с Чукоткой, Камчаткой, Магаданщиной, северо-востоком Якутии.

Надо всегда помнить, что из-за рамочного характера российской коммуникационной схемы роль этих «скреп» на деле оказывается двойкой: занимая ключевые позиции во внутреннем строении России, в основном обеспечивая ее геополитическую целостность, они вместе с тем образуют ее крупнейшие выходы и «окна» во внешний мир, в том числе и на моря-океаны. Поэтому они легко выступают потенциальными, а то и реальными участками приложения разных проектов, нацеленных на «обкусывание» России с краев и вклинивание внешнего мира в ее трещины — идет ли речь о восстановлении Дальневосточной Республики, о возможности политического «обвала» на Северном Кавказе, о «североевропейской инициативе» с интегральным охватом ею заодно Кенигсберга, Санкт-Петербурга и Мурманска или о замысле железной дороги Якутск-Аляска.

Отсюда проистекает исключительная важность того фактора, что в геополитической композиции России четверем приморским «регионам-скрепам» структурно противостоит еще один регион, являющийся по своей функции своего рода «пятой скрепой» государства, но

при этом располагающийся в континентальной глубине и практически не поддающийся «обкусыванию». Это — Юго-Западная Сибирь с меридионально врезающимися в ее равнину склонами Южного и Среднего Урала, земли от Оренбурга и Екатеринбурга до Кемерово. Эти пространства предстают перед географом и геополитиком истинной держащей сердцевиной государства, его коммуникационным средоточием.

Так вот, в последние годы XX века перед Россией обозначились три «проклятые» геополитические проблемы, которые прямо затрагивают ее будущее. Вдруг стало видно, что если «обкусать» здесь нашу страну немислимо, зато тут как нигде больше она может быть разломлена.

Три «проклятых» проблемы

Первая из этих трех проблем связана с планами так называемого Евразийского транспортного коридора, предназначенного протянуться через «малые империи» Закавказья — Грузию и Азербайджан, чтобы в обход России Центральная Азия соединилась с Турцией и с Восточной Европой, то есть с политико-экономическим гроссраумом европейского содружества и с оборонным пространством НАТО. Общая стратегическая идея евроазиатского транспортного коридора обрела у нас на глазах множество частных преломлений. Среди них — и замыслы доставки бакинской нефти в Европу через Турцию/и/или Грузию; и очертания контрроссийской политической и геоэкономической оси ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова) с вероятностью присоединения к ней Астаны, Ташкента и Ашхабада; и заявления тбилисского и бакинского режимов о сделанной ими ставке на сближение с НАТО, слышавшиеся в дни Балканской войны 1999-го; и много чего еще, включая торжественные приемы чеченских вожakov в тех же Баку и Тбилиси. Во всяком случае очевидно, что если подобная ось прочно проляжет через Кавказ, она неизбежно протянется и за Каспий. И тогда, помимо проче-

го, на нее нанижуются и области Северного Казахстана, представляющие, по существу, национальный фронтьер России.

Вторая проблема касается будущего новой Центральной Азии* в случае очень правдоподобной победы афганских талибов и складывания некоего подобия Пакистано-пуштунской «империи». В качестве следующего ее шага многими аналитиками прогнозируется рывок к Каспию, сперва осуществляемый геоэкономическими приемами проведения трубопроводов из Туркменистана к Индийскому океану. С точки зрения мирового хозяйства — данная «империя» решала бы намечаемую Бжезинским задачу «распечатки» центрально-азиатских ресурсов, обеспечения выхода к ним со стороны океана. Но ценой такого решения, скорее всего, должна была бы стать ликвидация остатков таджикской государственности и большая дестабилизация тюркских республик до российского Приуралья.

Наконец, третья проблема — китайская. Неверно думать, что для русских она состоит только в давлении этой державы на наши Приморье с Забайкальем. Нет, ее неотъемлемой частью выступают и отношения Китая с почти безоружным Казахстаном, чьи земли, по крайней мере частично, принадлежали к владениям циньских императоров.

Китайско-казахстанская граница еще не до конца размечена, но уже полностью демилитаризована по соглашению этих государств от 1996 года.

Тревога отдельных официальных лиц Казахстана по поводу наблюдаемого переселения китайцев в степную республику не помешала соглашению о строительстве трубопровода в Китай из Актюбинска, то есть почти что от Урала. Я могу лишь присоединиться к мнению тех политологов, которые полагают, что исключительно опасным для России развитием событий в случае срыва планов евроазиатского транспортного коридора могло бы стать складывание чего-то вроде оси Пекин-Астана. Ибо такая ось одновременно нависала бы и над

* Новой, поскольку так она стала называться с 1991 года.

Приморьем и над Юго-Западной Сибирью, над восточным флангом России и над ее ядром, причем на западе она бы могла осуществлять давление сразу и на Транссиб, и на Оренбургский коридор.

Каждая из этих проблем способна поставить под угрозу не только целостность России, но и вообще ее выживание в контурах, близких к современным. А между тем их невозможно не только решать, но даже и осмыслить, в их отношениях и связях, если отталкиваться от проевропейской геоэкономической ориентации России, от ее роли рынка европейских товаров и поставщика энергоносителей для европейского сотрудничества. Такая ориентация, будучи принимаема за должную и единственно возможную, полностью отрывает нашу геоэкономическую от вопросов территориальной безопасности той страны, которую мы пока еще не потеряли.

Со времени правления Горбачева из различных почтенных источников не прекращают раздаваться декларации: в том смысле, что китайская проблема может быть разрешена лишь созданием благоприятной для нас среды на Тихом океане через полноценное включение русских в экономическую жизнь этого региона. Но, спрашивается, как же такого включения добиваться? В качестве ответа предлагают разные способы интеграции в тихоокеанский мир для русского Дальнего Востока: совместные проекты, свободные экономические зоны и т.д. Многие из этих рецептов сами по себе привлекательны. Но в целом такой взгляд, сводящий тихоокеанские задачи федерации только к задачам дальневосточным, способен обернуться очень прискорбными просчетами. Ибо стратегия для Дальнего Востока, отрывающая его от прочих российских земель, легко — и законно — может предстать в глазах его элит соблазном отдельного от России «тихоокеанского плавания» и тем самым лишь увеличить нашу уязвимость. Тогда судьба Приморья оказалась бы сходной с участью Русской Америки в XIX веке, которая, не имея органической связи с массивом Империи и контактируя с нею, глав-

ным образом, через Петербург, не смогла выдержать напора соседей.

Нельзя ли подойти к теме «России в АТР» по-другому — попробовать вписаться в геоэкономику этого пространства не одной лишь нашей ломкой приморской каймой, но самой урало-сибирской сердцевиной, «пятой скрепой» России — той, что лежит среди континента, без прямого соприкосновения с морями-океанами?

«Пятая скрепа»

Хозяйственный кризис, наблюдаемый на Тихом океане уже третий год, во многом был подготовлен изначальной экспортной нацеленностью восточно-азиатских приморских экономик, их привязкой к американскому рынку, который по многим причинам перестает их стимулировать в необходимых размерах. Некоторые американцы-эксперты предлагают странам этого региона, претерпевающим тяжелые времена, поискать выхода в развитии внутренних рынков. Но такой поворот требовал бы совокупности экономических и социальных мероприятий, подстегивающих внутренний спрос и изменяющих структуру занятости, — а подобные программы едва ли осуществимы в обстановке кризиса. Для экспортно нацеленных экономик более естественно искать спасения в демпинговом наращивании вывоза и заодно в попытках отыскания новых внешних рынков, которые могли бы подстраховать на будущее от «обвалов» вроде нынешнего. В таком контексте как раз в состоянии обрести свою первичную «тихоокеанскую» функцию Россия, располагающая многообразными подступами к западным областям евроазиатского материка.

Вместо болтовни о «России на мосту между Европой и Азией» надо по достоинству оценить асимметрию отношений ее к европейскому содружеству и к кольцу тихоокеанских экономик. Для Западной Европы Россия не является непосредственной периферией. Такую периферию с точки зрения западноевропейцев скорее

представляют бывшие восточноевропейские соцстраны, балтийско-черноморский запад ликвидированного СССР, Ближний Восток с Магрибом. Через эту ближнюю периферию Пан-Европы товары данной конфедерации могут легко поступать в Азию (также и в Азию постсоветскую) помимо России, а осуществление идеи ЕТК еще расширило бы эти возможности. С откатом в евроазиатскую глубь наша страна оказывается с точки зрения европейской геоэкономики территорией транспериферийной, наподобие Африки к югу от Сахары. Между тем относительно азиатско-тихоокеанского пространства Россия — непосредственная периферия в собственном смысле. На сей день оптимальные континентальные пути для экспорта из этого региона на евроазиатский запад — в Восточную и Юго-Восточную, отчасти и в Северную Европу, на Балканы, в Закавказье — могли бы протягиваться через русские земли. Даже Китай, имеющий частичный доступ только в новую Центральную Азию, не может с нами в этом плане конкурировать. Российская Федерация призвана поставить свои географические возможности, свою инфраструктурную и тарифную политику на службу совместному процветанию народов этого сообщества — и геоэкономически утвердиться в роли далеко выдвинутого на запад фронтёра азиатско-тихоокеанского региона.

Избрав для себя такую стратегическую цель, Россия должна была бы вступить в борьбу за то, чтобы на ее земле встретились три линии товаропотоков со стороны Великого Океана.

Комбинация товаропотоков

1. Линия первая — очищенный от железнодорожной преступности и модернизируемый Транссиб.

2. Линия вторая — северный вариант нового Шелкового пути, связующего Китай с западной Евразией — через станцию Дружба на китайско-казахстанской границе, далее через казахские степи и Приуралье. В 1990-х идеологами «транспортных коридоров» разрабатыва-

лось несколько южных версий Шелкового пути: например, прямо через Средний Восток и Турцию или через новую Центральную Азию с последующим выходом на Иранское нагорье и в Анатолию, а оттуда в Европу. Но существует масса моментов, которыми все эти южные версии могут быть обесценены, а в случае чего — и аннулированы. В том числе афганское побоище, и напряжение на границах Ирана с Афганистаном и Турцией, и яростные сполохи курдского сопротивления, и даже сомнительное будущее «малых империй» Закавказья после ухода Шеварднадзе и Алиева — лидеров на восьмом десятке. Напротив, от России и ее взаимопонимания с Казахстаном, который в этом деле, очевидно, пошел бы ей навстречу, всецело зависело бы придать Северному Шелковому пути привлекательность и безопасность.

3. И наконец, третьей линией должна стать линия индоокеанская, берущая начало в иранских портах и идущая в Восточную и Северную Европу сперва по новой Центральной Азии восточнее Каспия, затем через Россию. Значительная часть этого пути уже обустроена интеграцией иранской и туркменской железных дорог. Чтобы завершить его и ввести в действие, недостает лишь звена, которое бы соединило железные дороги Казахстана и Туркмении вблизи залива Кара-Богаз-Гол.

Сближаясь в Юго-Западной Сибири и Южном Приуралье, эти линии превращали бы «пятую скрепу» России, ее коммуникационное ядро в плацдарм экспансии тихоокеанских экономик на рынки евроазиатского запада. Важно не забывать: чтобы такой проект был действен и по-настоящему выигрышен для русских, они ни в коем случае не должны делать ставку на некий единственный «Российский транспортный коридор». Такой «коридор» однозначно отождествлялся бы с Транссибом. Однако любой исключительный путь уязвим, движение по нему может быть остановлено чьим-либо агрессивным умыслом или нагромождением случайностей. Мы помним, как в 1998 году Транссиб был

перекрыт шахтерским протестом. Разве что-то в таком роде не может повториться? Шелковый путь, как в северном, так и в южном варианте могут парализовать волнения тюрок Синьцзяна. США в состоянии по каким-либо своим соображениям решиться на блокаду иранских портов. Каждая из трех линий, о которых я говорю, уязвима по отдельности. Но комбинация этих линий — желательно, объединенных общей информационной системой, учитывающей обстановку вдоль всех трех, — гарантировала бы устойчивость и бесперебойность функционирования тихоокеанского транзитного «плацдарма» в глубине материка. «Плацдарма» с тремя входами — восточным, юго-восточным и южным — и многочисленными железно- и автодорожными выходами на запад.

Российских политиков и общественность не должна смущать якобы отводимая нашей стране в этом проекте роль простого транзитного интервала. На практике транзитные пространства» как правило, бывают политически пассивны, представляя в идеале этакое решето, пропускающее сквозь себя товарные потоки на рынки. Задача же России состоит в том, чтобы целенаправленной политикой содействовать возникновению небывалой раньше геоэкономической ситуации в масштабах континента — ситуации такого столкновения Больших Пространств, которое не раскалывало бы российскую платформу, но присоединило бы ее в целом к одному из этих ареалов в качестве его переднего выступа. Такая политика, закрепив за русскими положение ответственных агентов в создании дохода экономик азиатско-тихоокеанского региона, заложила бы основу для более широкого подсоединения наших технологических центров и производств к разделению труда в этом пространстве. Речь идет о том, чтобы попробовать геоэкономическими методами изменить мировой порядок в направлении, благоприятном для повышения статуса России.

Уже первые стадии осуществления проекта потребуют от российской политики серьезного взаимопонима-

ния с Китаем, Японией, странами АСЕАН и Ираном, а также заключения специальных соглашений с Казахстаном и Туркменией. Впрочем, отдельные звенья программы, относящиеся к формированию каждой из трех линий системы «тихоокеанского плацдарма», могли бы осуществляться как бы даже и порознь в порядке совместных инициатив, при обязательном участии России во всех этих инициативах.

Нетрудно показать, что подобная стратегическая программа должна была бы охватить сквозной системной связью все три геополитические проблемы России, касающиеся судеб ее урало-сибирского коммуникационного средоточия.

Траектория поворота

Складывание линий-товаропотоков со стороны Великого Океана на запад, поддерживаемых и гарантируемых Россией, работало бы на создание для нее позитивной международной среды в азиатско-тихоокеанском регионе. Положение ее как держательницы и смотрительницы геозкономического «тихоокеанского плацдарма» среди Евразии, в безопасности которого было бы заинтересовано все сообщество азиатско-тихоокеанского «кольца», помогало бы ограничивать китайский нажим на «Великую Северную пустошь» и соседние центрально-азиатские области. Сотрудничество на Северном Шелковом пути содействовало бы установлению подлинного взаимного доверия между двумя державами, без которого немислимо реальное стратегическое партнерство. В то же время вовлечение Казахстана в проект на правах одного из основных его участников обеспечило бы неуязвимость российской державы с юга, то есть на том единственном направлении, с которого ей что-либо могло угрожать.

В рамках данного проекта дела Афганистана и юга постсоветской Центральной Азии должны были бы соотноситься по преимуществу с перспективами реа-

лизации индоокеанского пути. Коль скоро Россия и Иран сумели бы кооперироваться в деле достройки этой магистрали, в лице этих государств (с одной стороны, талибов и Пакистана — с другой) столкнулись бы два конкурирующих варианта связывания Центральной Азии с Великим Океаном. Российской дипломатии пришлось поработать над нашими отношениями с Узбекистаном — крупнейшей центрально-азиатской республикой, жизненно заинтересованной в пресечении пакистано-пуштунской экспансии на север, однако имеющей серьезные трения и с Ираном. И, конечно, очень многое будет зависеть от позиции властей Туркмении, так как на земле этой республики два сценария для Центральной Азии были бы обречены «схлестнуться» впрямую.

Иными словами, наша протихоокеанская геозкономическая стратегия должна получить прочное обеспечение в нашей центральноазиатской политике.

И, наконец, сегодняшняя чуть ли не рефлекторная враждебность многих российских политиков и экспертов к идее Евразийского транспортного коридора, говорящей русским, «извини-подвинься», должна быть рационализирована в смысле борьбы за иное русло и иное направление трансконтинентального ресурсного потока. Суть этой борьбы может быть выражена лозунгом «Урал — да, Кавказ — нет!», предполагающим поиск для России на Кавказе и на Ближнем Востоке таких союзников или, лучше сказать, попутчиков, чтобы их разнородные субъективные устремления могли сложиться в комбинацию, замораживающую и парализующую планы ЕТК. Нейтрализация Кавказа, побудила бы центральноазиатских лидеров повернуться «лицом к северу», оценив те выгоды, которые им могло бы принести содействие в строительстве «тихоокеанского геозкономического плацдарма». Что же касается Кавказа, то с русской точки зрения его значимость на геозкономическом атласе материка определяется его положением между Россией и Ближне-Средним Востоком, а не между Центральной Азией и Восточной Европой или Турцией.

Задача в том, чтобы претворить это видение в реальность ближайших лет.

Так соединяются в одну цепь все проблемы, императивы и шансы нашей геополитики и геоэкономики на востоке и на юге. Первая цель России в мировой геоэкономической игре нового века должна заключаться в стыковке географических потенциалов нашего урало-сибирского стержня, коммуникационного средоточия — с потребностями экономик АТР в новых рынках.

Геоэкономическое самоопределение нашей Федерации на границе веков состоит в том, довольствоваться ли ей состоянием «транспериферийного» европейского тылового запасника или постараться добиться для себя нового качества тихоокеанского — фронтьера на западе Евразии. Повторю то, о чем написал вначале: в перспективе краткосрочной — до 3-5 лет — первое амплуа, по-видимому, неизбежно и даже спасительно. При разумном правительстве оно поможет стране отдышаться, отстроиться и окрепнуть после «реформаторского» безумия предыдущих годов. Но сколько-нибудь серьезные достижения в 10—15-летнем интервале для русских должны быть связаны со вторым путем. В новом веке где-то к середине первого десятилетия должна совершиться перестановка приоритетов. Но траектории такого поворота надлежало бы обозначиться в сознании российских политиков уже сегодня.

ПОЛЕМИКА



Два мнения о югославском конфликте

Дмитрий БЫКОВ

ЗДРАВСТВУЙ, ОРУЖИЕ

Войны мы хотим, но в бой не готовы

Этот материал — результат беспристрастного самонаблюдения, он не предназначался для немедленной публикации. Поскольку эмоциональность и легкоеверие меня часто подводили, некоторые тексты на особо значимые темы я полагаю полезным выдержать в столе, чтобы не наломать дров сгоряча и продемонстрировать написанное уже в качестве безопасного документа эпохи. В конце концов, честный анализ собственных перефразов говорит о ситуации много больше, чем самая взвешенная оценка специалистов.

С тех пор, как все это было написано, война успела стать почти рутинной и еще более отвратительной с обеих сторон. Чувство душевного подъема, как и было предсказано, несколько поутихло. Но в одном я по-прежнему убежден: в европейское развитие и в нашу

частную жизнь ворвалась высшая логика. В масштабах войны все становится больше, крупнее; любое значимое событие — часто против нашей воли — укрупняет самую частную жизнь, придавая ей исторический масштаб. Сегодня третья мировая война фактически идет, хоть и рассыпавшись на десятки локальных конфликтов; у всех этих конфликтов одна схема — противостояние личности и толпы, свободы и несвободы. Парадокс в том, что война компрометирует обе цивилизации («основанную на силе и основанную на слабости», как писал Леонид Леонов в своем последнем романе).

Одновременно со мной свои первые впечатления о происходящем записал мой любимый поэт из поколения постарше — пятидесятилетний Виктор Коркия, человек, чьему участию и вниманию вся моя генерация обязана и своим формированием, и своевременным выходом к читателю.

Думаю, сравнение этих текстов тоже кое-что добавит к пониманию происходящего. Если, конечно, спустя некоторое время будет кому понимать.

Я никого ни к чему не призываю и ничего не приветствую. Я пытаюсь разобраться в причинах постыдного душевного подъема, который война в Югославии вызвала у большинства граждан бывшего СССР и в том числе у меня, — невзирая на все отвращение к Милошевичу и отличное понимание его психологии, несмотря даже на то, что приемы коммуниста, оседлавшего национальную идею, нам слишком хорошо известны. При этом особой радости от того, что его бомбят, как раз нет, потому что бомбят не его. Не считать же телом тирана весь его народ. А все равно подъем. Он, возможно, иссякнет по мере затягивания войны, перехода ее в наземный конфликт. Но пока очевидно одно: если чеченская война вызвала у большинства россиян чувство безвыходной скуки и привычного омерзения, то происходящее в Сербии поначалу очень многим (и мне, увy) на какой-то момент показалось не то чтобы очистительной грозой, но прорывом флегмоны.

В России давно ничего не происходит, — потому что

происходящее в ней не тянет на роль события. Даже суперновость, повторись она десять раз, становится бытом, порождает не волну, а опостылевшую мертвую зыбь. Болезнь президента, его выздоровление, неполучение кредитов и обещание их, потасовки в Думе, сексуальные похождения высших чиновников, призванных следить за моралью, и восторженная поддержка, оказанная этим чиновникам в верхней палате номер шесть, — все это давно не события, как нельзя назвать поступательным движением прыжки на месте. В последние восемь лет у России, строго говоря, нет истории. «Две шага налево, две шага направо». Война — явление совершенно другой природы, и не зря Блок в одной из поздних автобиографий писал о «высшей логике войны»; высшей — ибо принципиально другой. Во-первых, это происходит не с нами (у нас все тут же окисляется пошлостью). Во-вторых, это действительно самое масштабное событие в европейской истории после 1945 года.

Параллелей с 1914 годом вообще множество, это уж общее место. Тогда, если помните, только Леонид Андреев не разделял всеобщего восторга, да и то потом оскоромился несколькими ура-статьями. Блок испытывал подъем не вполне патриотического свойства, но приветствовал войну именно как разрешение невыносимой ситуации, вскрытие нарыва, очищение воздуха. Брюсов и Сологуб писали стихи, которые по своей лексике и интонации мало чем отличаются от более поздних сочинений Демьяна Бедного. Главное же — всякая война происходит только потому, что ситуация становится критической, важнейшие духовные и общественные конфликты никак не разрешаются, и тогда повод становится неважен. Поводы избыточно предоставляются Балканами, поскольку именно там Восток и Запад, ислам и христианство сходятся вплотную, лицом к лицу. А Гаврило Принцип стреляет или сербы с албанцами ссорятся — какая разница? Первая мировая война главного мирового противоречия не сняла и кончилась, по сути, ничем. Вторая от этого противоречия отвлекала: фашизм не олицетворял собою ни христианского, ни

мусульманского, ни атеистического сознания, шла борьба с темным языческим культом, и против этого животного начала восток и Запад на семь лет объединились.

Десять лет российского реформаторства доказали, что страна, не сделавшая окончательного выбора между ценностями частного человека и ценностями толпы, не способна решить свои проблемы — вне зависимости от того, кто и сколько ее подкармливает. И когда Зюганов говорит, что конфликт на Балканах спровоцирован российской ситуацией, — он лукавит только отчасти, а на деле-то прав, только не той правотой, которую сам предполагает. Балканский конфликт — очередная попытка выяснить, чьи ценности ценнее; либеральные или стадные. Мы можем сколько угодно повторять, что такие вопросы не решаются военной силой: мне, напротив, кажется, что они не решаются ничем иным. Конфликт троянцев и ахейцев тоже был, по сути, идейным.

Бывает ли победа в Троянской войне? На этот вопрос каждый отвечает в меру разума и темперамента. Кому-то кажется, что кульминация войны и высшая ее точка — совместное оплакивание всех жертв вождями двух враждебных племен. Другой скажет, — и с этим я соглашусь уже охотнее, — что ахейцы выжгли Трою и перехитрили противника. Третий — и это еще точнее — заметит, что Ахилл ненадолго пережил Гектора и что возвращение победителей с троянского берега было отнюдь не триумфальным, а Одиссея и вовсе замотало по волнам до такой степени, что в его устах очень легко представить мрачный монолог работы Бродского: «Мой Телемах, троянская война окончена. Кто победил — не помню». Победители вырвали победу такой ценой, что она необратимо изменила что-то в них самих; иными словами, победить-то можно, но вопрос снять нельзя. Одержавший победу ахеец автоматически становится троянцем, победивший демократ обречен стать диктатором, — а значит, никакой Армагеддон не решит главной проблемы человечества раз и навсегда. А решит ее только полное самоистребление, поскольку нет человека — нет проблемы.

Борьба толпы и одиночки, духа и плоти, частной жизни и общего блага не кончится никогда и периодически, увы, будет обретать черты мировой войны. Всякий раз после нее человечество будет в очередной раз договариваться о контроле над вооружениями, а по сути — контроле над собой; поклянется создать всемирную Лигу Объединенных Наций, прокричит в едином порыве, что мир есть высшее благо и что создать приятней одного, чем истребить десяток. Но хватит этого максимум на полвека.

От этой истины можно прятаться. Но если даже человек моей пухлой комплекции и моих хилых спортивных данных понимает, что от войны никуда не деться и никакое ядерное оружие от нее, увы, не спасет, — что спрашивать с тех, у кого давно руки чешутся хоть что-нибудь сделать? Россия за последние годы сделала все, чтобы ее гражданам очень хотелось повоевать. Потому что хорошо воюет тот, кому жизнь не дорога. А русская жизнь стала такой мерзостью, что ее ужасно хочется швырнуть кому-нибудь в лицо. Причем отдать ее лучше бы не за Родину, которая и так у нас все уже отобрала, а за идею. За славянское единство, например. Вот ведь интересно: чеченская война не вызвала ни малейшего наплыва добровольцев. Все отлично понимали: происходит, почти по классическому определению, продолжение коммерческого беспредела другими средствами. А в Косове совсем другое. В Косове идея.

И потому не следовало бы Зюганову умиляться патриотическим подъемом, который якобы наблюдается. Он — не патриотический. Думе грешно к нему примазываться. Ей бы понять, что добровольцы, желающие ехать в Косово, хотят уехать прежде всего от этой Думы. От той страны, в которую мы превратились. От монотонного разнообразия вкусовых оттенков дерьма. Не братьев-славян едут они защищать, как и в 1991 году защищали не демократию. Они едут хоть какое-то время красиво пожить, а потом красиво умереть, — даром что добровольцам в Косове только умирать и остается.

Ясно же, что пока идут бомбежки — от добровольцев толку мало, потому что столько же зенитчиков в их составе просто нет, а больше никто сейчас не нужен. Но они едут, потому что для них война больше похожа на жизнь, чем наше здешнее существование. Для добровольца война — своего рода эмиграция, вдвойне почетная; и молодежь четырнадцатого года, стильная и модная по меркам серебряного века, бежала на войну именно по этим соображениям. Воевать хотят, когда жить надоело. На войне можно забыть о сотнях унижений, которым житель современной России подвергается на каждом шагу.

Есть и еще один немаловажный оттенок. Томас Манн — которого отчего-то так тянет перечитывать именно сегодня — в «Романе одного романа» назвал годы гитлеровского правления... благотворными в нравственном отношении. Потому что Сталин, допустим, и Черчилль могут быть неправы ОБА. А Гитлер был беспримесным, чистым образцом зла — и одним этим структурировал общество, являя своего рода эталон от противоположного. Добро и зло временно существовали в редком, поляризованном виде — как редкое в природе химически чистое железо. Сегодня — жаль, Манн этого не видит, — все зашло еще дальше. Сегодня все конфликтующие стороны, какой конфликт ни возьми, равно отвратительны. Правых нет в принципе: ни косовские албанцы, ни сербы во главе с Милошевичем, ни НАТО не вызывают симпатий у сколько-нибудь приличного человека. «Прохоров Сазон воробьев кормил, бросил им батон — восемь штук убил». Бомбардировками американцы довели сербов до того, что те уже по-настоящему громят албанцев в Косове, и албанцы вместо благодарности испытывают к НАТО соответствующие чувства. Так что война приобретает наконец не грубо-политический, а, как это ни ужасно, эстетический смысл. Смерть на этой войне, строго говоря, не ложится ни на чей алтарь. В ней есть черты эстетического манифеста, протеста против всего миропорядка, каков он есть. Патриотизм — это скучно и низменно. В новой балканской войне на пер-

вом плане не политические соображения, а подсознательное стремление к бурной, полной, насыщенной жизни и красивой смерти. У нас вообще в последнее время эстетизируют смерть, как это и бывает во времена любого декаданса. Стоит вспомнить безобразную, с явным эротическим подтекстом вакханалию вокруг самоубийства трех девочек в Балашихе. Смерть как единственная альтернатива ТАКОЙ жизни — вот знак эпохи: все другие альтернативы исчерпаны, все политики скомпрометированы, коммунизм и капитализм одинаково мерзки. Болтаться в проруби надоело. Хочется структурированной жизни: чтобы понятно было, откуда исходит опасность, где друг, где враг. Поскольку понятия друга и врага для большинства россиян сегодня условны, им, по существу, безразлично, где и за кого воевать. Важно вновь поставить себя в условия, когда хоть что-нибудь понятно. И толпа у американского посольства хочет не холодной войны, а интересного времяпрепровождения. Хочет, чтобы у драмы появился сюжет.

Я был в этой толпе. Лозунги попадают прелестные — например, «Убить рядового Райана!». Или: «Лучше бы Моника сосала «томагавк», а в Югославию послали х... Клинтона». Присоединяюсь. Яйца продаются по тридцатнику десяток. И пиво рядом шло по двенадцать рублей вместо десяти. В первый день яйца подвозили, говорят, активисты КПРФ, а во второй — уже частники. Нет, кое-чему люди все-таки выучились, хоть и кидают яйца в своих же учителей. Одно обидно: отдельные американцы в программе «Взгляд» называют это движение протеста — с фанатами и престарелыми маргиналами, со скинхедами и каникулярными школьниками — проявлением свободы. Вот до чего доводит людей последовательный демократизм! Им никак не понять, американцам-то, что никакой свободой там не пахло, а пахло нормальным попустительством новому террору, которого у нас тоже хотят, чтобы он наконец структурировал жизнь!

Так что у посольства неинтересно, но энергетика чувствуется. И когда приехал тот самый, с гранатоме-

том, которого никто толком не видел, но говорят теперь, что видели все, — это был, конечно, шок, но в каком-то смысле ожидаемый. Что-то подобное должно было совершиться. Символично, что туда пошли фанаты. Это публика, которой вообще неважно, за что фанатеть. Попросите среднего спартаковского фаната перечислить состав его любимой команды, — почти наверняка собьется. Фанаты появились в конце семидесятых и возродились сейчас от страшной пустоты жизни. И те, кто продолжает стоять напротив посольства, не против американцев протестуют. Они про этих американцев, как и про режим Милошевича, ничего толком не знают. В толпе, кстати, нет-нет и вспыхивают споры: одни обвиняют ВСЕХ американцев, другие — Клинтона, третьи — вообще испанца Солану... Люди хотят великого противостояния как такового. Созидать им нечего, им хочется противостоять. Точно такой же посыл привел столько публики под Белый дом в 1991 году. И люди стоят все те же, и лица те же — только знакомых в этой толпе у меня меньше. Не потому, что пришли туда люди другого круга, — а потому, что половина моих друзей разъехалась, а у другой половины нет времени куда-то ходить; да и друзей у меня стало меньше — я теперь не люблю компаний.

И точно так же каждую ночь все ждут разгона. Тогда все кричали, что сейчас танки пойдут, потом — что газы пойдут... Теперь тоже передают слухи: «Сейчас разгонят», «Ночью разгонят»... Что-то надо делать с районом метро «Баррикадная». Вечно там происходят такие вещи. Или название станции виновато, или в прошлом тут совершилось крупное злодеяние, которое до сих пор вопиет.

Сегодняшняя ситуация зеркально отражает прежнюю: войны мы хотим, но в бой не готовы. Все отлично понимают, что Россия сегодня не выиграет ни одной войны — по крайней мере, силой оружия. Но она может победить тем, что принято называть нравственной силой (хотя у меня есть некоторые сомнения на этот счет). Сегодня ни один народ до такой степени не готов

умереть, как наш. Он уже семьдесят лет вымирает постепенно, а тут есть шанс отрубить хвост в один удар. И это-то, очень лимоновское по своей природе, стремление швырнуть свою жизнь в лицо неважно кому — внешнему, внутреннему, трансцендентному врагу — и есть залог некоторого духовного возрождения, которому мы все свидетели. Американцу есть за что умирать, но есть и за что бояться. А нам не за что. У нас уже целые семьи групповые самоубийства совершают, детей не щадя. Джонстаун на полтора миллиона. Если у человека нет ничего дороже жизни — его жизнь не стоит ничего. Страна об этом вспомнила и резко одухотворилась. Поэтому нынешний духовный подъем не имеет никакого отношения к патриотизму. И у нас есть шанс получить несколько первоклассных произведений искусства, вдохновленных не примитивным, животным национализмом, а сознанием величия переживаемого момента. «Впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта».

Странно писать все это, имея на одном колене младшего сына, а на другом старшую дочь. Дочь ждет, когда я освобожу компьютер для ее игры (кстати, в войнушку), а сыну доставляет удовольствие сам процесс возникновения буковок на экране — он еще маленький. Но кто-нибудь должен признаваться в очевидных вещах и называть их своими именами. Пацифизм не хилает. И мне некуда скрыться от того факта, что начало югославских бомбежек впервые за долгое время заставило меня писать по стихотворению в день — на военные или на мирные темы, но с почти забытой юношеской интенсивностью. И почти все ровесники сошлись во мнении, что никогда их так не тянуло заняться любовью, как в последнее время.

Или весна?

Или такая роскошная, ранняя и солнечная весна не зря совпала со всем этим ужасом, словно напоминая, что все лучшее в мире держится на великих контрапунктах?



Виктор КОРКИЯ

МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ

Молчание, как известно, — знак согласия. А тогда — позвольте нескромный вопрос: почему вы молчите?

Помню Лию Ахеджакову в роковую октябрьскую ночь 1993 года. Помню, как кричала она в эфир: «Что вы спите?» И помчались на улицы, и Смоктуновский — царство ему небесное! — устало и печально стоял на Тверской и говорил, если не изменяет память, о том, как он надеется, что все образумятся и все образуется, и даст Бог, кончится все-таки добром. Эх, Гамлет, Гамлет! Быть или не быть, говоришь? Представляю, что должна была испытывать эта великая душа, когда уже через несколько часов от его имени танки расстреливали Белый дом. Мучительно думаю, что, может быть, память об этой ночи ускорила его кончину.

И вот — уже какой день! Какой день бессмысленного, бездарного, дикого кошмара, оргии натовской шпаны, откровенно упивающейся убийством практически без-

защитных людей! Седьмой день телемарафонов, в котором то сексуальный маньяк с оральным уклоном (по совместительству президент США), то иные фаллические символы Российской государственной телерадиокомпания буквально лезут из кожи вон, чтобы нам, отмороженным, дать поняты это не война, а гуманитарная акция, не убийства, а гуманитарная помощь, не надругательство над нашими братьями, а борьба за права человека. Но мы еще не забыли анекдот брежневской поры: «Будет ли мировая война? — Мировой войны не будет. Но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется».

Промолчим — действительно не останется. Ибо — «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя». Это сказано в иное время и по другому поводу, но, как сказал Достоевский, время — это отношение бытия к небытию. И повод всегда один — жизнь и смерть.

Я не знаю, нужны ли на Балканах наши добровольцы. Это решение не политическое, а нравственное. Доброволец — тот, кто идет по доброй воле, и ничей указ ему не указ, кроме собственной совести. «Отмщенье, государь, отмщенье, паду к ногам твоим. Будь справедлив и накажи убийцу...» Вся русская литература кричит об этом. Вся русская литература КРИЧИТ.

Тем страшней, опасней, безнравственней нынешнее молчание. Речь не о ягнятах. Молчат те, чье молчание есть исторический факт.

Александр Исаевич! Вы готовы назвать ЭТО гуманитарной акцией? Или Вам Швыдкой и иже с ними не дают эфира? Почему Вы молчите? (Солженицын осудил «агрессию НАТО» только две недели спустя после ее начала. — Ред.)

Юрий Петрович! Вам не кажется, что День святого Никогда уже наступил?

Мстислав Леопольдович! Вы были в Белом доме в августе 91-го. Неужели Вам нечего сказать в марте 99-го?

Не молчите! Молчание — знак согласия, а согласие с ЭТИМ — предательство культуры. Если вы этого не знаете — знайте. А если знаете — почему я должен

взывать к вам из своего небытия, а не вы, с высот мировой известности, возвысить свой голос, слышный и в Нью-Йорке, и в Париже, и на Земле, и на небе? Зачем вы меня так унижаете? Вы, которых, не зная лично, я носил в сердце своем. Вы не испугались КГБ — неужели вам кажется, что эти убийцы из другого теста? Да, они кричат о защите прав человека. А о чем им еще кричать, чередуя семьяизвержение и бомбометание? О защите прав на оральный секс? О правах на убийство с санкции авторов общественного мнения? О правах на то, что если нельзя, но очень хочется, то можно? Неужели я как в воду глядел пятнадцать лет назад — «За мировое господство над жизнью моей всех перебьют от тайги до британских морей?!»

Каждый несет в себе свою смерть.

Если, культура молча проглотит март 99-го, как октябрь 93-го, — грош ей цена. Если она слепа и нема, если глуха к тому, что творится на Балканах, если для нее преступление — не преступление и кровь — не кровь, то и культура — не культура, и кому она после этого нужна?

Если наводить этнический порядок на Балканах с помощью бомб и крылатых ракет гуманно, тогда почему наводить конституционный порядок в Чечне теми же средствами преступно? Цель оправдывает, культура молчит, жизнь коротка, искусство вечно, Россия велика, дорога далека, и нечего п...ть. Трахнуть процентщицу топором по башке — и дело с концом. И Муму утопить, чтобы, сука, не выла с отчаянья.

Я и есть эта Муму, что воет от бессилия боли, из бездн унижения.

Молчи, Полиграф, сердце твое собачье. Тебя человеком сделали, а ты не даешь Аидой наслаждаться. Жилплощадь требуешь, пес. Собаке — собачья смерть. На операционный стол — и р-раз по Приштине с хирургической точностью!

Волосы лезут у меня из ушей. Сатана лобзает меня своим лобзиком. Разруха у меня в душе, господа. Дикая. У-у-у!

И вдруг два видения появляются в ящике. Девушка в белом и плейбой — весь голубой. И девушка в белом гладит меня по головке, нежно дует мне в ухо и шепчет: «Скулишь, падло? А сорок три процента культурных людей, между прочим, за! И только 41 процент — против!»

А плейбой, весь голубой, в другое ухо: «Рейтинг, сука, на два процента возрос, а ты воешь! Воешь, хотя на 80 процентов состоишь из воды!»

Сколько в человеке процентов совести? Сколько — подлости? ума? глупости? страха? боли? Сколько, Господи?

Не дает ответа. И вместо видений — прокладки с крылышками. Рейтингу не рейтинг, все равно получишь...

Тьма египетская, тоска русская, время средневропейское. До юбилея Пушкина — 85 дней. До третьего тысячелетия — столько-то.

Сын Человеческий! Убей меня! Убей, но выслушай!

Истинно говорю: завтра этнические чистки начнутся от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей — и не только в России.

Истинно говорю: радуевы и асахары, паханы и авторитеты, полевые командиры и предводители тоталитарных сект — те, кто станет, если не стал, главными фигурами нового миропорядка. Когда Слово молчит — Бога нет, и все дозволено.

Тогда прав был фюрер: совесть — химера. Тогда создатель Ватикана и создатель ГУЛАГа равны: и то, и другое — творение. Тогда гений и есть злодейство, изобретатель газовой камеры достоин Нобелевской премии и нет авторитетов, кроме преступных. Либо красота спасет мир, либо это — не красота. А если не красота, если подделка, — пусть гибнет под вопли торжествующей попсы, продажной журналюги и прочей околосветской тусовки! И черт с ней, и со всеми нами, ее жрецами и прихлебателями, которые, потеряв стыд, кланчат подачки и премии у цивилизованных убийц, величая их спонсорами.

Нет таких прав человека, которые стоят того, чтобы за них проливали невинную кровь. Да падет эта кровь на тех, кто ее проливает. И на тех, кто ставит свои права выше ее. И на тех, кто молчит.

И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю. Девушка пела в церковном хоре. Несказанное, синее, нежное. В белом венчике из роз. Мисюсь, где ты? Призрак гуманизма бродит по Европе.

P.S. Дорогой друг Владимир Друк! (В. Друк — известный поэт-концептуалист, друг В. Коркия, давно проживающий в США. — Ред.). Ты между нами жил, сам поэт и поймешь меня правильно. Знаешь, чего я боюсь? Озвереем. Можем озвереть. Прилетят два-три наших орла в Штаты, познакомятся с милой дурашкой из колледжа, пригласят на уик-энд в лесок, раздвинут ей ноги и с хирургической точностью всунут гранату с надписью «Христос воскрес». Дай Бог, чтобы я ошибся. Но в таких вещах мы, поэты, редко ошибаемся. Объясни своим соотечественникам, что отныне и очень надолго мы — враги. Кто бы что бы ни болтал. Я не фанат, ты знаешь. Но это — на подсознательном уровне.

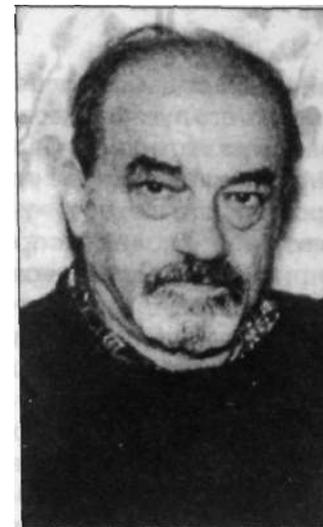
Не-на-ви-жу.

И кроме этого письма — чтобы никаких моих публикаций! До лучших времен. Пока не кончится этот кошмар и моя ненависть не перейдет в тихое вежливое презрение. О'кей?

Апрель 1999 год

Следуя нашим правилам, редакция осуществила незначительную правку статьи В. Коркия, не затрагивая ее существа и остроты поставленных вопросов.

СПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА —————



Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

ЧИСЛО БЕЗДНЫ

Говорят, человечество за время своего существования провело тридцать тысяч войн. Сколько же погибло людей в этих войнах? Статистика молчит. Сами историки называют лишь имена царей и полководцев, реже — фигур второго плана, но тьма войска, в каждом ряду которого стоял тот, кто родился, дышал, что-то думал, во что-то верил, безмолвно ушла во тьму: не только имен, но и числа убиенных мы не знаем.

Даже благородный Карамзин в своей «Истории Государства Российского» пишет по преимуществу о государях, воеводах, но не в состоянии сосчитать тех, кто лег в землю без покаяния, без причащения, потому что жизнь тысяч и тысяч прерывалась насильственно, и свидетеля, летописца при этом не было, а в случае казней и подавно — мучили и убивали тайно, а если и явно, то в тишине безмолвствования.

«Народ безмолвствует» — эта ремарка из драмы Пушкина «Борис Годунов», как известно, взята у Карам-

зина. Народ безмолвствует и в его «Истории», хотя автор негодует и ужасается жестокости палачей от лица массы, в которой он, впрочем, не может различить лиц. «Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в Истории», — пишет Карамзин. История, по его мнению, «не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные».

Историк честен: он говорит «иногда». Мы же знаем, что число злодейств растет, а изощренный ум человеческий вооружает их все более страшными орудиями уничтожения.

Изощрилась и техника подсчета жертв: компьютер, кроме того что наводит ракеты на цель, работает и как гробовщик: бесстрастно выстраивая колонки цифр, он выбрасывает их на экран как очередную «информацию». Информация эта недолго держится в памяти и, мелькнув мгновение, смывается другой, стирающей показания бухгалтерии смерти.

Мы сделались нечувствительны к вестям подобного рода. Вчера нам говорили, что на последней войне погибло 20 миллионов, сегодня говорят 27. И если завтра эта цифра увеличится еще на миллион или больше, мы не содрогнемся.

И все же книга, которую я только что прочитал, потрясла меня. Она издана в конце 1998 года в Москве и называется «Число бездны». Ее собрал и издал редактор и основатель армяно-еврейского журнала «Ной» Вардан Варжапетян. «Ной» давно уже не выходит (задушило безденежье), но память о нем жива: в нем два народа, потерпевшие от геноцида, сошлись под одной крышей. И сейчас марка издательства «Ной» (магендовид, где на месте верхнего острия «звезды Давида» изображен двуострый профиль Арарата) стоит на титульном листе книги.

Я сказал, что я ее «прочитал». Но это неточно. Прочитать эту книгу нельзя. В ней нет ни одной буквы, а есть только цифры. Весь текст — это поток цифр, за каждой из которых стоит душа погибшего, изъятая из общего числа жертв Холокоста.

Цифры следуют одна за другой и не имеют порядка. Они так плотно слеплены, что на расстоянии сливаются в сплошное темное пятно. И лишь вблизи различаешь, что это обыкновенные двойки, семерки, пятерки, нули. На страницах нет нумерации, нет разделяющих строк глав. Нет отточий, многоточий, каких-либо графических пауз: строй цифр следует к финалу, и ход их без предупреждения обрывается на цифре 4, обозначающей последнего в списке.

«Я очень много думал над этой книгой, — поясняет в предисловии Варжапетян, — которая восстала бы против слов «шесть миллионов» — слов, которые уже никого не ужасают, не сводят с ума, не разрывают сердца болью». Он предпочитает точное число замученных — 5 миллионов 820 тысяч 960 человек. И именно это число в виде равного ему количества знаков воспроизведено в книге.

Подозреваю, что и здесь есть округление: «число бездны» венчается нулем, этим мастером ставить точку и «закрывать тему». Отступая от стереотипа «шесть миллионов», автор книги не только оставляет зловещий счет открытым, но и дает понять, что когда речь идет о преступлениях зла, подсчет должен вестись с точностью до одной жизни.

«Да, люди не цифры, — продолжает автор. — Но лучшего символа я не нашел, придавая числам, как некогда Пифагор, моральное значение; цифры одновременно имеют смысл и каждая сама по себе, и как часть великого множества чисел».

Пусть гадают богословы, что означает число 666, принадлежащее антихристу. Но это его единственное имя, и имя это состоит из цифр. Зло расчетливо и чрезвычайно почитает статистику. В начале каждого деяния зла скрыт умысел (план, учет выгоды, положительные барыши), в истоке деяний добра — толчок сердца. Добро нечаянно и неожиданно откликается на зов о защите и рассеивает и тратит себя, не задумываясь о том, во что ему это обойдется.

Метить человека номером (как бы стирающим его

лицо и имя) — это нововведение тоже принадлежит злу. Цифры на полосатых куртках в лагере — его следы. Бесчисленные папки в архивах учреждений смерти со штампом «Хранить вечно» (после смерти Сталина замененным на штамп «Хранить постоянно») — тоже его работа.

Варжапетян разворачивает это зеркало зла в сторону самого зла. Он неумолимо ставит его и перед нами и, может быть» перед лицом высшего суда, который когда-нибудь соберется на небесах.

Говорю о небесах, потому что в земной суд не верю. Судить по праву уже не будут на земле. В опущенные зелено-желтым цветом майские дни ракеты НАТО сносят не только нефтяные хранилища и телевизионные вышки, мосты и югославские центры ПВО, но и отправляют на тот свет невинных — виновных лишь в том, что они оказались вблизи точечного удара. Точечный удар — это нечто новое в системе истребления, это война со всеми аксессуарами благородства, интеллигентской вежливости. Обреченных предупреждают, что будут бомбить там-то и там-то и в такой-то час. Их почти умоляюще просят покинуть места поражения. Но ракеты косят и косят кого попало. В их электронные схемы не заложен механизм страдания. Им все равно, куда лететь и где падать.

Получается чуть ли ни война по взаимному соглашению, война в белых воротничках и белых манжетах. Запад, омывши руки от крови и не запачкав костюма, вновь приступает к кровопусканию.

Похоже, что на его складах накопилось столько оружия, что он должен хоть где-нибудь его да испытать, а, если речь идет о бомбах, — сбросить. Сбросить, как лишний груз, как то, что уже перезрело и может быть свалено в какую-нибудь яму.

До сих пор, когда речь заходила о тоталитарных режимах, вспоминали сначала Россию, потом Китай, потом Ирак, Ливию и т.д. И при этом клали руку на книгу закона, лордом-хранителем которой был Запад и только Запад.

Эта последняя иллюзия двадцатого века — иллюзия, что где-то свято хранится и право и закон — в 1999 году рухнула. На троне правопорядка вновь воцарилась сила. Но сказано в русской пословице: «Сила — уму могила».

На лицах интеллигентов из НАТО вспыхивает обида, когда их спрашивают о потерях. Война без потерь не обходится, говорят они, виноват «мясник» Милошевич.

Милошевич, предположим, мясник, но вы-то кто? Отглаженные костюмы и цивилизованные улыбки не наведут глянца на факт: и «джентльмены» так же кровожадны, как и марксистские мясники.

Стерлась грань между коммунизмом и его антиподом, между бесправием и «правом». В какую цивилизацию верить и кому доверять?

Полтора столетия назад Гоголь предвидел этот исход. В письме Белинскому — в ответ на гимны последнего европейской цивилизации — он писал: «Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это беспредельное и безграничное слово. Хотя бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которые бессмысленно повторяют все. Тут и фаланстерьен, и красный, и всякий, и все готовы друг друга съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже давно трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? И стала европейская цивилизация призрак, который точно никто покуда не видел, и ежели пытались хватать ее руками, она рассыпается. И прогресс, он тоже был, пока о нем не думали, когда же стали ловить его, и он рассыпался».

Пророческие слова. И пророческое видение цивилизации, где Христос отдельно (в церквах и монастырях), а цивилизация отдельно. Где Бог — десерт к обеду, а сам обед ломится от жирного и мясного.

Кровожадность большевистской — и фашистской — цивилизации выстраивалась на чувстве мести, реванша, имущественного неравенства. Цивилизация, «защищающая» сегодня Югославию, произросла из сытости, из изобилия (от парфюмерии до оружия), из абсо-

лютизации «прав человека». Но результат один — абсолютизация ускорения истории. А, стало быть, и насилия как инструмента ускорения.

Большевики влекли нас силою к царству божию на земле, их оппоненты — до сих пор и державшиеся за счет критики большевизма — делают то же самое.

Я не сомневаюсь, что когда-нибудь будет составлен полный реестр преступлений зла. Пора и добру завести особую папку на зло. Может быть, это сделает тот же компьютер, ибо человек не в силах, не повредив сердца, выстроить небоскребы цифр, которые в полном смысле слова станут скрести небо.

Про число 666, между прочим, говорится, что это «число человеческое». Некоторые считают, что это богатство, к которому стремится зло. Но можно прочесть его и как таинственный счет долгов человека перед Богом. Как страшную плату за обман, за отпадение от Бога.

В феврале Россия отмечала десятилетие окончания афганской войны. Выступая перед залом Кремлевского Дворца съездов, премьер-министр Примаков, сорвав аплодисменты, сказал, что политики в той войне «оказались не на высоте». Это все равно, что сказать про тигра, что он оказался не на высоте, задрвав беспомощную кошулю. Вы видели глаза кошули? Нежность и ласка в этих черных глазах. И вы видели глаза тигра? Их пустые жерла смотрят на вас как на мясо.

В первые дни после ухода из Афганистана, те самые дяди, что оказались не на высоте, утверждали, что там погибло десять тысяч солдат. Потом эта цифра слегка подросла: 11 тысяч. А сегодня оказывается, их уже 14 тысяч.

Зло считает, но зло и прячет. Ничего оно так не страшится, как обнародования цифр. Оно темнит, оно «химичит», оно подтирает» подскабливает, подмарывает. Кто ведает, сколько унесено жизнью только за одно время «перестройки»? И позже? Сколько стоит России Чечня? И сколько еще будет стоять?

Каждый четвертый муж бьет у нас жену. Каждая тре-

тья жена из этого числа убивает своего мужа. А сколько душ ушло на тот свет из-за отравленной водки (не говорю уж о водке чистой)? Церковь торгует беспощинно водкой и табаком, а мы празднуем день рождения патриарха, как день рождения Спасителя.

Спасть — это не значит спасти себя, это значит спасти другого. И, прежде всего, младенца или старика.

Наши старики погибают бессрочно. Их уже не держат в больнице больше трех недель, они не в состоянии заплатить ни за лечение, ни за лекарства. Деньги есть — лежи в палате сколько хочешь, нет — выписывайся сразу на тот свет.

Даже тем, кому по инвалидности, по мучениям, перенесенным в лагерях, или по пребыванию в окопах войны полагается льготный рецепт, рассчитывать на бесплатные лекарства нечего.

У окошечек, где их выдают, очереди стариков. Они роняют рецепты, поднимая с пола, суют их дрожащей рукой в окошко. «Нет» — отвечают им. Или спрашивают: «Вам за деньги или по льготному?» «А что, за деньги есть?». Безмолвный ответ глаз уже уставшего от объяснений аптекаря красноречивее, чем прямое «нет».

Идет тотальное истребление старшего поколения. Идет отстрел нашего прошлого, нашей памяти, того человеческого слоя, который связывает нас с историей и потому мог бы стать спасительным в оздоровлении общества. На чем вырастает мораль? На уважении к старшим, на почитании дедов и прадедов, отцов и матерей. И — на милосердии по отношению к ним. Сваливая их досрочно в яму, мы сваливаем туда традицию, долг, способность к состраданию и все, к чему, как нам кажется, мы еще вернемся после того, как зашибем большие «бабки».

Нет, не вернемся.



Вл. НОВИКОВ

МУТАНТ

*Литературный пейзаж после нашествия
Пелевина*

Девяностые годы в российской словесности прошли в целом бесшумно. Живые классики тихо проехали этот период в карете прошлого: иные свой престиж слегка подрастеряли, иные смогли его законсервировать, не прибавил же к своей былой славе решительно никто. Что же касается дебютантов этого десятилетия, то им можно только посочувствовать: глухая пора им досталась и с двухтысячного года придется штурмовать Парнас заново.

Прогреть среди новых прозаиков удалось ровно одному человеку. В 1993 году малая Букеровская премия была присуждена сборнику фантастических рассказов 31-летнего Виктора Пелевина «Синий фонарь», и тогда же, помнится, известный критик возгласил о приходе писателя, «смогущего» открыть новые пути в рус-

ской литературе, расширить ее возможности. Формулы в целом были достаточно расхожие, твердо запомнилось лишь неправильное слово «смогущего», неожиданное в речи очень грамотного коллеги. В русском языке есть причастия совершенного вида, обозначающие действие предшествующее («смогшего») и причастия несовершенного вида, со значением настоящего времени («могущего»). Причастия со значением будущего времени в русском языке не существует. Конечно, редактор должен был переправить неудачно-ненормативную форму на оборот «который сможет», но интересно само появление словечка-мутанта, навязывающего литературе строго определенное будущее.

Пелевин пришел из научной фантастики (НФ), такого же прикладного вида литературы, как криминально-детективная проза, эстрадно-юмористическая «ржачка», слезливый дамский роман или эротика-порнуха. Каждый из этих «низких», утилитарных жанров под пером отдельных мастеров иногда оказывался «возвышен» до уровня подлинной словесности, но всякий раз это происходило при наличии двух условий: свежего, сильного и индивидуального языка — раз, и оригинального авторского внутреннего мира — два.

Пелевину, похоже, удалось забежать в храм литературы без этих, казалось бы, абсолютно необходимых документов и даже на некоторое время там задержаться. Некоторые критики (например, А. Немзер и А. Архангельский), надев красные повязки, настойчиво подталкивают преуспевающего писателя к выходу, считая, что место ему — за церковной оградой, рядом с Марининой и Тополем. Другие, наоборот, готовы поставить его поближе к алтарю, не скупясь, как А. Генис, на выражения типа «яркие художественные эффекты», или занимаясь откровенной «раскруткой», как В. Курицын и Д. Быков, сами не лишённые литературных амбиций, но однако же воспевающие Пелевина в иллюстрированных изданиях как самые простые журналисты.

Что же касается прихожан нашего храма, читателей то есть, то многие из них ведут себя, как анекдотический

Брежнев в Третьяковской галерее. «Это, Леонид Ильич, Ге. — А мне так нравится!» Случай с Пелевиным основательно колеблет аргументы типа «Читатель всегда прав» — не будем забывать, что образ «самой читающей страны» восходит к незабвенному Петрушке, аргументы же типа «интересно - неинтересно» сегодня абсолютно перестали работать. Это раньше когда-то все сходились на том, что Сартаков неинтересен, Симонов малоинтересен, Трифонов и Искандер интересны всегда и всем. Сейчас у каждого свое читательское меню и своя диета. Лично я читаю Пелевина исключительно «по мандату долга», долга профессионального критика, но мне хочется понять и своих студентов, абсолютно добровольно и убежденно пишущих о нем курсовые и дипломные работы, понять случайно встречаемых людей, знающих в новейшей отечественной литературе ровно одно имя. «Generation П» - назван только вышедший роман Пелевина, как бы о поколении, выбравшем «Пепси». Но в названии, конечно, зашифрована и первая литера авторской фамилии. Что же за общественный слой такой — «генерация Пелевина», чем он им так мил? Есть у них что-то новое и живое за душой — или же, как говорит категоричный Ю. Кувалдин, к названию романа надлежит добавить приставку «де-»?

2.

Одна студентка факультета журналистики МГУ, где я преподаю, заявила, что для адекватного восприятия произведений Пелевина необходим опыт припадания к трем основным источникам его творчества: а) компьютеру; б) дзен-буддизму; в) наркотикам. «Прикол» эффектный, но не более того. Компьютер в литературном деле вообще до сих пор остается усовершенствованной формой гусиного пера, и у Пелевина в частности никаких особенных визуальных средств или интерактивных приемов не обнаруживается; он пишет обыкновенные книги, предназначенные для нормального прочтения — страница за страницей. Пресловутый «дзен» — чистойшей воды розыгрыш, сюжеты Пелевина раскручиваются

экстенсивно, суетно и болтливо, нисколько не располагая читателя к сосредоточенной и самоуглубленной медитации. При этом они достаточно умозрительны и безумной иррациональности не обнаруживают: сомневаюсь, что они созданы в психоделическом экстазе. Впрочем, о роли наркотиков категорически судить не берусь: если надо выбирать между наркоманией и непониманием Пелевина, я предпочту второе; ни один писатель не стоит того, чтобы ради контакта с ним жертвовать здоровьем.

Если же всерьез, то для читательского взаимодействия с пелевинскими текстами надо принять две предпосылки:

1. Слово есть ничто, оно не имеет никакого значения. Любой язык — русский, английский, язык Достоевского или Блока, язык информационных систем или простой мат есть мусор — и ничего более.

2. В литературном тексте нет и не может быть единства авторской личности. Романы Пелевина как бы ничьи: недаром вокруг авторства «Чапаева и Пустоты» в предисловии накручивается замысловатая мистификация, а предисловие к «Generation П» завершается фразой: «Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения» — и в этой шутке есть только доля шутки.

Для многих такая система заведомо неприемлема, ведь для нас вначале было Слово и до конца (нашего, во всяком случае) оно пребудет главным в литературе. Мы привыкли в каждой фразе видеть молекулу целого произведения, обладающую всеми его свойствами, а заодно и зеркальце, в котором сразу мелькает неповторимый лик автора. Одним словом, «в белом плаще с кровавым подбоем...»

А у Пелевина — абсолютное отсутствие индивидуальной интонации. Голая информационность, нулевой синтаксис:

«Мы с Анной сели за соседний столик, и я заказал шампанского.

- Вы хотели попить кофе, — сказала Анна.
- Верно, — оказал я. — Обычно я никогда не пью днем.
- Так в чем же дело?
- Исключительно в вас.
- Анна хмыкнула». («Чапаев и Пустота».)

Автор не мешает игрушечным персонажам, не высывается, даже служебную функцию свою выполняет бессловесно: «сказала», «сказал».

На протяжении последующего диалога еще семь раз встретится сочетание «сказала Анна», и лишь на восьмой раз будет; «сказала Анна с улыбкой». Так вообще-то настоящие прозаики давно не пишут, это технический уровень соцреализма. Когда же Пелевин отступает от протокольной манеры и пускается в изобразительность, язык его неминуемо буксует: «Город Алтай-Виднянск состоял главным образом из небольших деревянных домов в один и два этажа, отстоявших довольно далеко друг от друга». «Состоял» и «отстоявших» в одном предложении — ошибка негрубая, но дело даже не в этой тавтологии, а в том, как неуютно стоят здесь слова, как рассыпается пелевинская, фраза, когда она хотя бы чуть-чуть развернута.

«И ты с беспечального детства ищи сочетания слов» — учил молодых писателей Валерий Брюсов (кстати, в первой главе «Чапаева и Пустоты» он изображен весьма карикатурно, хотя и не очень смешно). Пелевин же как будто сознательно поставил перед собой задачу писать так, чтобы стоящие рядом слова ни в коем случае не вступали в новые, оригинальные сочетания. Когда Слава Сергеев попытался слепить пародию на «Чапаева и Пустоту» в «Новом литературном обозрении» (1997, №28) — из этой затеи ничего не вышло: невозможно подделаться под слог, которого нет.

Тут наш брат логоцентрик скажет: да не стану я тогда читать этого Пелевина — и будет по-своему прав. Кончилось время обязательного чтения, тоталитарного почитания всеми одних и тех же имен. Пелевин — это своего рода клуб: одни брезгливо проходят мимо него,

зато другие именно здесь находят «своих» по духу. Это не столько чтение с увлечением, сколько способ общения. «Пелевин» — пароль для тех, кто устал от всего, в том числе и от культуры, кто хочет просто посидеть в пустоте. Никакой не буддийской, а самой элементарной. «Дух пустоты» — так неодобрительно называл эту стихию Блок, уловив ее присутствие в перенапряженной атмосфере начала века. В конце века эта стихия находит новые проявления, и к ним приходится присматриваться. И тут не ограничиться отмашкой по принципу: «это не литература». Ибо не только о литературе речь, а может быть даже и не о ней вовсе.

3.

В России сейчас две литературы, и обе страшно далеки от жизни. Первая — это академическая проза и поэзия толстых журналов. Здесь у каждого автора имеются и язык, и стиль, и богатый внутренний мир, только вот почему-то нет читателей. Дело даже не в тиражах, поддерживаемых пока Джорджем Соросом. Дело в том, что по самой коммуникативной фактуре своей эта литература доступна только журнальным редакторам да десятку-другому критиков. Когда разговариваешь с нормальными людьми (в том числе и гуманитариями и даже с филологами), то уже невероятной сенсацией оказывается каждый единичный факт прочтения ими того или иного толстожурнального шедевра. Боюсь, что реальное число читателей у иных авторов, пользующихся любовью и благосклонностью А. Немзера и А. Архангельского, не достигает и одной сотни душ. Это при том, что речь не о каких-то авангардных заумниках, а о добросовестных традиционалистах.

Вторая литература — это детективно-амурный маскульт, книги в гляцевых переплетах, которые читают для того, чтобы забыться, то есть в процессе чтений забыть свою жизнь, а потом — забыть прочитанное. Очевидно, потребность в такой эластичной, успокаивающей нервы жвачке будет существовать всегда, но духовную пищу эта жвачка заменить не в состоянии.

«Маринина с интеллигентным лицом» — иллюзорная утопия, научиться у Марининой высоколобая проза не может ровным счетом ничему. В свою очередь ждать от «масскульта» перерождения в высокое качество тоже не приходится — в данный момент, во всяком случае, к этому ни малейших предпосылок не имеется: житейской подлинности и колоритности в нем слишком мало (гораздо меньше, чем в газетной уголовной хронике), фабулы механичны и высосаны из пальца.

Вот такой разрыв. Как сказано у Окуджавы: «Нужно что-то среднее, да где же его взять?» Как не получилось у нас «среднего класса» в социальной структуре, так и в литературной системе его фатально не хватает. А без этого средостения, без нормальной беллетристики вся эстетическая экология нарушена: нет почвы у высокой словесности, не с чем взаимодействовать, обмениваться темами, сюжетами, приемами.

То, что приключилось в девяностые годы, нельзя назвать иначе, как мутацией. А мутации — это, согласно словарному определению, «возникающие естественно или вызываемые искусственно изменения наследственных свойств организма в результате *перестроек* (курсив мой — В.Н.) и нарушений в генетическом материале организма». Изменений с литературой произошло множество — и естественных (устарели прежние формы), и искусственных (крушение социального писательского статуса). После такой перестройки-перетряски неизбежно появление мутантов.

Это слово первой применила к нашему персонажу французская исследовательница Элен Мэла, вовсе не вкладывая в него бранного смысла: «Пелевин — писатель-мутант», — сказала она 6 июня 1998 года на конференции в городе Экс-ан-Прованс. После такой научной констатации как-то отпадают многие нормативные претензии. И к словесному хаосу, и к нудноватым повторам похожих сцен и диалогов, и к историко-мифологическим винегретам, где Сиддхартха Гаутама перемешан с Че Геварой, и к нарочитым каламбурам вроде «Лабсанг Сучонг из монастыря Пу Эр» (подразумевается «лап-

санг сушонг» — это такой сорт чая, со специфическим запахом, напоминающим лыжную мазь). У мутантов и две головы может быть, и шесть ног, и что угодно вообще.

А усердный читатель такой литературы — не мутант ли он тоже? Раньше порядочный российский читатель смотрел на литературу, как на звездное небо над головой, видел в ней Эверест, на который предстоит карабкаться всю жизнь. Подходя к со вкусом собранному книжному шкафу, он гордился своим знакомством с одними сокровищами мировой литературы и просил прощения у других, еще не прочитанных. Да даже перед «Новым миром» и «Знаменем» готов он был извиняться за то, что лет десять уже заглянуть в них ему было недосуг. А теперь? Нет ничего, что было бы стыдно не знать и не читать. Щеголяя фамилией Кастанеды, позволительно слыхом не слыхать о Спинозе или Шеллинге. Вместо всеобъемлющего шкафа — небольшая полка, где несколько разношерстных книжек соседствуют с видеокассетами и компакт-дисками. Вместо систематически выстроенной культуры — джентльменский набор «культовых» писателей, куда все попадают случайно, дуриком — что Булгаков, что Лимонов, что Набоков, что Пелевин. Вы не для такого читателя пишете? А для какого» позвольте спросить?

4.

Примечательно, однако, что «культовый», «раскрученный» писатель Пелевин посвятил свое последнее произведение «Generation П» именно теме «раскрутки» и создания массово-тоталитарных культов. Говорю: «произведение», а не «роман», потому что сильно подозреваю, что романов как таковых Пелевин писать просто не умеет. Органичный для него жанр — парадоксальная новелла, где наслаиваются друг на друга разные миры и эпохи, идет игра на стыке контрастных реальностей. Одна из самых известных новелл Пелевина, где бывшие партработники поменяли пол и стали проститутками, называется «Миттельшпиль». В какой-то мере все, что

сочиняет Пелевин, — это такие миттельшпили, серединки, где не запоминаются ни начало, ни конец. Для романа, как жанра широкого, но достаточно определенного, это не годится. Старичок-роман нуждается в трехчленности — начале, конце и середине, — пусть не всегда они выражены фабульно, но как фазы самораскрытия авторской личности они перед читателем непременно проходят. Личность Пелевина в его творчестве никак не проявлена — дело хозяйское, может быть, это не входило в задачу. Но тогда и «Чапаев», и «Поколение» — не романы, а раздутые новеллы, жанровые мутации. Они похожи на помидоры величиной с арбуз, выросшие под солнцем Чернобыля.

Да, так о сюжете «Generation П». Выпускник Литинститута, никому не нужный поэт Вавилен Татарский волею случая вовлекается в рекламный бизнес, делается «криэйтором», то есть сочиняет и редактирует слоганы, клипы, пока не становится живым (и притом виртуальным) богом, мужем богини Иштар (также виртуальной) и властителем всемирного виртуального царства, где через посредство телевидения в массовое сознание внедряется не только реклама, но и нужные представления о Ельцине, Чубайсе, Явлинском, Березовском — всех этих лиц в природе просто не существует, они элементы виртуальной реальности, даже путч, описанный в главе «Критические дни», — также виртуальный, его задача — повысить распродаваемость «Тампакса». До книжного объема это удлинено за счет пародийного трактата «Идентификация как высшая стадия дуализма», где то в шутку, то всерьез излагается теория манипулирования массовым сознанием, да обилием пародий на рекламные тексты — вроде: «И Родина щедро Поила меня Березовым Спрайтом, Березовым Спрайтом!»

На последних страницах произведения возникает некоторое подобие финала: Татарский, заняв высшую позицию, принимает кое-какие меры по наведению в виртуальном царстве некоторого нравственного порядка (заменяет «Пепси» на «Кока-колу») и по предотвра-

щению конца света. Конец этот в соответствии с духом времени переименован в рифмующееся слово на букву «П» и сделан кличкой мифологического пса с пятью лапами. Герой берет этого зверя под личный контроль и тем самым оставляет за читателями некоторые надежды на будущее. Коллегам же писателям автор, похоже, рекомендует не презирать суетный мир рекламно-виртуальных мнимостей, а попытаться войти в него, понять его логику. Хотя... сюжет слишком прост и элементарен, слишком лишен перипетий, чтобы подвести к глубокому и твердому смысловому итогу. Автор ни на чем не настаивает. Он расплывается и ускользает, как и во всех своих остальных произведениях.

Безличность и безъязыкость «литературы П» — это реакция на эстетское высокомерие так называемой серьезной литературы. Современная «хорошая проза» превратила свой безупречный язык из средства общения в способ отдаления от собеседника, а личность автора здесь настолько эгоцентрична, что читателю к ней и не подступиться. Вот на какие мысли наводит сегодняшний успех той нехитрой игры, которую ведет Пелевин, поставивший себе на службу информационный хаос и весь набор суеверий постсоветской эпохи.

Высокой литературе брошен вызов, и уклониться от него не удастся.



Валентин ТРИФОНОВ

ВРЕМЯ И МЕСТО: КОНЕЦ ВЕКА В ЯМСКОМ ПОЛЕ

Я почти не помню отца. Из рассказов матери я узнал о том, что во время войны отец работал на заводе. Мне захотелось побывать на заводе. 20 апреля 1999 года, отсидев три пары лекций, я решил наконец-то съездить на завод. А учусь я на факультете журналистики МГУ, на третьем курсе, на газетном отделении. В неприятные моменты моей жизни, когда мать за что-нибудь на меня злилась, она часто приводила пример моего отца, когда он в моем возрасте не гулял и не пил пиво с друзьями, а 12 часов в сутки проводил на заводе.

Я родился в 1979 году, а отец умер в 1981 году, так что при всем моем желании вспомнить отца получаются лишь какие-то отрывистые кадры детства, логически не связанные, а может быть совершенно акварельно размытые.

В метро я доехал до «Белорусской», вышел на площадь Белорусского вокзала и свернул в тоннель под

автомобильным мостом. День был странный: жаркий и одновременно ветреный. Накануне я слышал, что в Питере пронесся ураган, валивший столбы и деревья. Несколько человек там погибло. Не отголосок ли это питерского урагана? Пройдя через тоннель, я поднялся на мост. На ту сторону, где сейчас открыли китайский ресторанчик, соседствующий со Вторым часовым заводом. Прежде чем свернуть на 1-ю улицу Ямского поля, я поднял взгляд на рекламный щит известного казино «GOLDEN PALACE». В прошлом году этот щит уже падал среди дня на проезжую часть. К счастью никого при этом не прибав. Глядя на щит, я думал о том, что этой дорогой ходил на работу мой отец. Интересно, что бы он сказал о казино «GOLDEN PALACE»?

По левую сторону тянутся корпуса часового завода: девятиэтажный корпус сменяется пятиэтажным и плавно перетекает в четырехэтажное здание. Все корпуса с непрерывными лентами окон в стиле Ле Корбюзье. Справа тянулся убогий, советский, бетонный забор, напоминая мне о том, что я попал в промзону. Впереди слева на углу 3-й улицы Ямского поля уже виднелся завод. Но мое внимание привлек двухэтажный желтый домик, в котором, по-видимому, и помещался тот детский сад, в который водили мою мать. Мать рассказала мне, что она увидела молодого человека в очках, который шел по этой улице мимо детского сада, держа под мышкой тубус. Много лет спустя, познакомившись с моим отцом, она рассказала ему об этом случае. Отец подтвердил, что это был он тем молодым человеком в очках и с тубусом под мышкой. Дальше в открытые ворота я увидел такое же желтое, как детский сад, здание, которое оказалось детской инфекционной больницей №12. Если встать к больнице спиной, то перед тобой начинается 3-я улица Ямского поля. Над улицей нависает черный аркообразный щит казино «GOLDEN PALACE». Буквы светятся оранжевым неоновым, пробивающим солнечные лучи. Справа — завод, слева — баня и банк «Нефтепродукт». Я встал в теничке у этого банка напротив завода. Передо мной высилось семиэтажное

здание из желтого кирпича, с такими же ленточными окнами в стиле Ле Корбюзье, как у часового завода. Типичное промышленное здание. На серой квадратной колонне висела такая же серая табличка, надпись на которой я без труда прочитал, стоя у банка: «ОАО научно-производственное объединение «Наука»». Здесь мой отец делал радиаторы для самолетов. Много лет назад. Во время войны. Конечно, тогда не было ни этого здания, ни этой таблички с названием, потому что такие заводы в то время назывались военными, или номерными. Я перешел на другую сторону улицы и открыл стеклянную дверь проходной завода. Внутри было прохладно и как-то металлически бездушно. Еще бы — тут в ряд, как турникеты в метро, стояли высотой в человеческий рост автоматические вахтеры, какие-то заброшенные, пыльные, со множеством не использовавшихся прорезей для пропусков, с рядом тусклых кнопок, видимо, служивших для кодирования идущих на смену рабочих. Я насчитал всего 24 таких вахтера, из которых действовало только 3-4 справа, где сидела за стеклом женщина в синем, как у уборщиц, халате. Над рядом автоматов электронные часы показывали зелеными цифрами 16.00. На той стороне за границей автоматов висело написанное на белом листе ватмана объявление: «Организации требуются рабочие следующих специальностей; токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, шлифовщик...» Возникало какое-то несоответствие: турникеты-автоматы не работали, а рабочие требовались.... Я подошел к женщине в халате за стеклом и спросил, можно ли пройти на территорию завода.

— А кто вы будете? — спросила она,

— Студент.

Она посмотрела на меня с таким удивлением, как будто никогда в жизни не видела студентов.

— А где отдел кадров? — спросил я.

— Следующая дверь направо.

Я вышел на улицу и пошел направо. Над «следующей» дверью была надпись: «Медсанчасть №56». Я почесал затылок прежде чем войти. На первом этаже в глаза

сразу бросилась табличка с надписью: «Детский оздоровительный лагерь имени Зои Космодемьянской». Не слабо, думаю. По всей видимости, в целях конспирации. Это же не какой-нибудь молочный завод, а авиационный. И во время войны мой отец тут делал радиаторы для самолетов, вставал а шесть и приходил домой в десять. Не было времени почитать книгу, в метро он спал. Хотя отец делал радиаторы, но на самом деле ни разу не видел готового радиатора. Сначала он тянул на волочительном стане трубы, потом в кузнечном цеху отжигал концы труб, потом точил матрицы, потом ремонтировал штампы для матриц, но для чего и зачем это нужно, не понимал совсем. Я потолкался в полутемном закутке первого этажа, увидел лестницу и пошел на второй этаж. Длинный коридор напоминал строительную площадку; почти в каждый дверной проем была вставлена или вставлялась металлическая дверь с золотыми замками и ручками, пол, заляпанный побелкой и цементом, поломанные стулья и кресла, на грязной стене нет ничего, кроме стенда с отвалившимися буквами: «Ветерань Вои ь». Я заглянул в одну из дверей. За столом в белой кофточке и в очках сидела пожилая женщина. Я спросил:

— А вы не скажете, давно ли существует ваш завод?

Женщина подняла очки на лоб, посмотрела на меня с любопытством.

— Очень давно. А что вас интересует?

— Дело в том, что тут во время войны работал мой отец, — сказал я. — И я хотел бы с кем-нибудь поговорить на эту тему... Ну, хотел бы вообще узнать об истории завода.

— Зайдите в профком, — сказала она.

В профкоме за столом заседаний две полные женщины пили чай с шоколадными конфетами.

— С кем бы поговорить об истории завода? — спросил я с порога.

Одна из пьющих посмотрела на меня с некоторым подозрением и спросила:

— А вы кто будете?

— Буду журналистом, а пока студент.

— Это вам нужно писать бумагу нашему руководству.

— Да нет, вы меня не поняли. Меня не интересуют ваша технология и ваши секреты.

Другая женщина, отхлебнув чаю, удивленно вскинула брови.

— А что же вас интересует?

— Дело в том, что во время войны мой отец работал у вас на заводе...

— А где ваш отец?

— Он умер в 1981 году.

— Кем он был? — спросила другая.

— Писателем, — ответил я.

— Это вам нужно идти к Данильченко.

— А где он сидит?

— В конце коридора.

Я покинул распивающих чай женщин.

В дальнем углу коридора, около деревянной, в некоторых местах разбухшей от сырости двери, висела табличка: «Директор по общим вопросам Данильченко Андрей Игоревич». По соседству — «Начальник отдела кадров Худобин Олег Васильевич». Я потоптался у этих дверей, понимая, что вряд ли кто здесь что-либо мне расскажет. Да и потом, я просто волновался — не привык ходить по начальственным кабинетам, а уж по заводским так подавно. Тем не менее я набрался смелости и толкнул дверь кабинета Данильченко, но попал к секретарше.

— Вы кто? Вам назначали? — спросила она.

— Нет, я по частному делу. Меня интересует история завода.

— Как вас представить?

— Я сын человека, который очень давно работал на этом заводе.

Она вошла в другую дверь и через минуту пригласила меня. Я вошел в довольно-таки тесный, казенно обставленный кабинет. За небольшим столом сидел широкоплечий человек — Андрей Игоревич. Он предложил мне стул и спросил:

— Чем могу быть полезен?

— Я сын писателя Юрия Валентиновича Трифонова Валентин. В романе «Время и место», в дневниках есть много мест, посвященных вашему заводу. Отец работал здесь во время войны. Может быть остался кто-нибудь из тех людей, которые могут помнить его.

Данильченко рассмеялся:

— Да вы что молодой человек! Кто ж тут может остаться. Время-то сколько прошло.

— Ну может кто-нибудь из пенсионеров, может у вас кто-нибудь культурой занимается? — спросил я.

Данильченко, с едва скрываемым раздражением, как мне показалось, сказал:

— Да какая культура! У меня из 12000 рабочих осталось 2000. Завод почти что остановился. Вы же видите, что делается вокруг. Секреты распроданы, деньги решают все. вспомните выборы.

Тут он задумался и, ничего не говоря, по телефону вызвал работницу отдела кадров. Вошла темноволосая женщина в очках, остановилась около стола, вопросительно глядя на начальника. Данильченко, кивая на меня, сказал:

— Вот сын писателя Трифонова, посмотрите осталась ли карточка в архиве или нет.

— Вряд ли... Но посмотрим.

Она вышла, а мне почему-то вспомнилась эта отцовская фраза из романа «Время и место»: «Мы делали радиаторы для самолетов». А наши самолеты тогда громили немцев, и наши войска дошли до Берлина. А теперь, когда завод дышит на ладан, американцы бомбят Белград.

Вошла работница отдела кадров. Я вздрогнул» когда увидел у нее в руках бумагу. Она передала ее начальнику. Тот пробежал глазами и передал мне. Эта была в пол-листа стандартного формата, толстая как из картона, коричневатого цвета личная карточка моего отца. Я прочитал: «Личная карточка. Фамилия — Трифонов Юрий Валентинович. Год и месяц рождения — 1925. Место рождения — г. М-ва. Образование — 10 кл. Националь-

ность — русск. Партийность — чл. ВЛКСМ. Время поступления на завод, в организацию — 30 /XI — 42 Домашний адрес Б. Калужск. ул. 21, к.58.»

Я перевернул карточку. На обороте значилось: «Назначения и перемещения:

Дата	— должность	
30/XI - 42	— протяж. цех 11.	3 разряд.
22/II - 43	— рабоч.	цех 15
6/IV - 43	— техник	ИНО
6/IV - 43	— слесарь	- II -
25/III - 44	-II-	15
5/VII - 44	-II-	ИНО
6/IV - 45	— к/мастер ОТК	оклад 800 р.

Отпуска

отп. колич. дней — 18, 22/8 - 11/ IX 45.

За какой период удовлетворен отпуском — XI-44 — XI-45

Дата и причина увольнения — ув. на учебу 14/XI-45».

Первое, что вырвалось у меня после знакомства с карточкой, было:

— Можно я перепишу?

Данильченко взял у меня карточку и, передавая ее женщине, сказал:

— Сделайте копию.

Через несколько минут я выходил с ксерокопией личной карточки моего отца.

Когда вышел из отдела кадров на улицу, у меня возникло ощущение, что попал в сауну. Стояла невыносимая духота, периодически налетал порыв ветра, в воздухе пахло табачным листом. Правильно, ведь напротив — пятиэтажное красного кирпича здание табачной фабрики «ЯВА». С трудом найдя тенек, а именно под единственным деревом напротив казино «GOLDEN PALACE», я принялся рассматривать личную карточку отца более внимательно. Я прочитал ее несколько раз, когда нашел некоторые вещи, показавшиеся мне инте-

ресными и не совсем понятными. Вот, например, на обратной стороне карточки там, где отмечался стаж и должность, я увидел, что 6 апреля 1943 года отец был назначен техником и слесарем одновременно. Странно и непонятно. Быть может ошиблись там на заводе, а может и вправду отец был назначен сразу на две должности в один день. Буквы ИНО я тоже не смог расшифровать. Я положил карточку во внутренний карман куртки, дабы не потерять ее, и решил пройти по всему периметру здания завода. По левую руку началось шикарное здание казино. Не менее шикарны были и машины, припаркованные к нему. Адрес сего заведения знают многие: и те кто играют, и те, кто не переключает телевизор на время рекламных роликов — 3-я улица Ямского поля 15. Напротив развлекательного комплекса все еще продолжается заводская территория. Вижу табличку на двери: «ОАО «Дукс»; ЗАО «Концерн Авиационное вооружение». Многие помнят велосипеды немецкой фирмы «Дукс». Вероятно и то, что первоначально эта территория принадлежала немцу Дуксу. Следующее здание шокирует обилием тонированных стекол, своей высотой и количеством охраны на улице. Здание без названия. На нем нет никаких совершенно табличек. Оно без имени. Думается, что в этом здании не занимаются чем-то нехорошим, так как главный вход в этот дом под номером 8 приходится на улицу Правды. Единственно, чем похожа эта махина со всеми наворотами на миниатюрное здание завода, это таким же ленточным типом окон. Если свернуть на 5-ю улицу Ямского поля, то, кажется, попадаешь в промзону. Эта улица находится у самого дальнего забора завода. Справа выезд с завода и железнодорожный путь с видимой невооруженным глазом ржавчиной. Скорее всего с территории завода давно уже не вывозили продукцию. Да кому она теперь нужна, да и делать ее осталось вместо 12000 человек всего 2000. На углу 5-й и 1-й улиц Ямского поля располагается заправочная станция, владельцы которой в полной уверенности, что напротив их «точки» не что иное как брошенное, но купленное двумя авто-

магазинами и одним автосервисом помещению. Именно 1-я улица Ямского поля в полной красе показала мне, кому было распродано помещение завода. На расстоянии где-то 200 метров друг от друга расположились два здоровенных автомагазина, еще через 50 метров автосервис, 30 шагов дальше — шиномонтаж, метров 250 — салон мебели «Линия счастья». Правда, если встать в середины улиц лицом к заводу напротив дома номер 17, можно увидеть табличку рядом с грязной стеклянной дверью: АООТ «Авиационная электротехника и коммуникационные системы». Левее дома 17 разместился Всероссийский научный исследовательский институт «Эталон». Я прошел эти четыре улицы в одиночестве; иногда курил купленный на оставшиеся от стипендии деньги «LM» и жалел о том, что не может быть лучше экскурсовода по этим местам того времени, каким был бы мой отец. Я еще раз перечитал личную карточку отца и решил проделать путь от завода до того места, где тогда жил отец. Путь мой лежал на Большую Калужскую улицу, нынешний Ленинский проспект. Я нырнул в метро на «Белорусской» кольцевой, пройдя вокзальную площадь мимо торговых жаренными в домашних условиях курами, раскалившейся на солнцепеке водки и сигарет. Ни для кого не новость, что Ленинский проспект начинается от метро «Октябрьская-кольцевая». Проехав три станции по кольцу, я вышел на Октябрьскую площадь. Вот остановка. Седьмой, тридцать третий, шестьдесят второй — все идут в нужную мне сторону. Вопрос — на какой садиться? Спрашивать не хотел. Захотел рискнуть, сыграть в своего рода «русскую рулетку». Подошел седьмой. Я встал около кабины водителя, чтобы вовремя выскочить на ближайшей остановке к дому номер 21. Я не считал остановок. Недалеко от площади Гагарина я вышел и увидел дом, видимо, довоенной постройки. Внизу располагается магазин «KETLER», магазин спортивных принадлежностей. Он стоит прямо напротив Нескучного сада. Я вошел во двор. Двор как двор: у подъездов много машин с дипломатическими номерами, на роликах катаются дети владельцев ма-

шин, так как, проезжая мимо своего автомобиля, какой-нибудь из ребят кричал остальным: «А вот наша стоит! Наша «Паджеро» лучше, чем твой «Ниссан». Женщины с колясками «шипели» на катающихся около них с криками детей. Видимо, беспокоились за сон своих подрастающих отпрысков.

Помню мама говорила, что тогда эта квартира, в которой жил отец, была коммунальной. Отец переехал в новый дом, в дом, в котором он никого не знал. Думаю, что в своем роде этот дом был для него «опрокинутым». Также из рассказа матери я вспомнил, что окна из двухкомнатной квартиры, где еще жили бабушка и сестра отца, выходили на южную сторону. К сожалению, по внешним признакам мне вычислить их с улицы не удалось. И вот я стою напротив дома, где часть своей молодости прожил мой отец. То же место. Другое время. Не хочется уходить. Ощущение, что отец здесь, сейчас, в этом доме, в этом времени и месте. Но проскакивает мысль, что его уже нет со мной восемнадцать лет. А как хочется. Хочется иметь, как большинству мальчишек и девчонок. Хочется пойти с ним на футбол, в тот же самый Нескучный сад или Парк Культуры, хочется быть просто счастливым и сделать счастливым, хоть чуть-чуть, человека, который стремился к счастью, который был счастлив так редко и который так умел им дорожить, — быть с отцом.



**ИЗ ПРОШЛОГО
И НАСТОЯЩЕГО**

Леонид ВЛАДИМИРОВ

ЖИЗНЬ НОМЕР ДВА

Леонид Владимиров — автор предлагаемой публикации — воистину человек из легенды. В тяжелые послевоенные времена он становится одним из самых первых и мужественных людей, которые рвут с советским режимом. Один из ведущих московских журналистов, проживший в Советском Союзе целую жизнь, он в 1966 году выезжает с делегацией в Лондон и, рискуя всем на свете, просит там политического убежища — «уходит» в свободный мир. Чего только власти не делали, чтобы вернуть его, угрожали, шантажировали, подсылали агентов и даже специально отправили в Англию тогдашнюю его жену, чтобы попыталась его уговорить — но все оказалось тщетным: «Свобода — как он сам писал позже — была Главной Целью моей жизни, от которой я не мог отступиться».

Свои воспоминания Леонид Владимиров озаглавил «Жизнь номер два». Он рассказывает о своей деятельности на радиостанции «Свобода», вначале в Лондоне, а затем и в Мюнхене, на посту Главного редактора, и снова в Лондоне — теперь уже на радиостанции Би-би-си... Его жизнь в Свободном Мире полна дерзаний, взлетов, сложных перипетий, — во всем и всегда он остается верным себе, своим высоким нравственным идеалам. В воспоминаниях этих он рассказывает о своих

ЖИЗНЬ НОМЕР ДВА

215

необыкновенных встречах с поистине необыкновенными людьми — со знаменитым Анатолием Максимовичем Гольдбергом, с 90-летним Керенским, о своей многолетней дружбе с Анатолием Кузнецовым, Виктором Франком, Максом Хэйуордом, Галичем, Аркадием Белинковым — несть числа событиям и людям, наполнявшим жизнь этого человека, имя которого — я не сомневаюсь в этом — войдет в летопись нашей общей борьбы за свободу — и кто знает, может быть, эти записки станут первыми страницами летописи.

Кинге роуд

Главная улица лондонского района Челси — Кингс роуд — берет начало от площади Слоун скуэр в центральной части города и идет далеко на запад, до пивной с выразительным названием «Край света». Описать, как выглядела эта улица в середине шестидесятых — немыслимо. Иной раз проезжаю теперь по Кингс роуд и думаю: а может быть, тридцать лет назад мне все это снилось? Но нет, сегодня полно и фотографий, и кинохроники тех времен, и ностальгических публикаций, подтверждающих, что круглосуточный всемирный карнавал на Кингс роуд был взаправду и длился несколько лет.

Когда в июне 1966 года я попросил политического убежища в Англии и в тот же день его получил (об этом мой рассказ в журнале «Нева» за октябрь 1996 года), британская контрразведка поселила меня в огромном здании «Челси клоysterс» — буквально «Кельи Челси», занимающем целый квартал недалеко от Кингс роуд. Прямоугольник здания обрамляют две улицы и два переулка. Внутри, на семи этажах, начиная со второго, двери квартир открываются в безоконные коридоры. Дневной свет брезжил только в одном месте — у лестницы с клеткой двух старых, очень просторных лифтов. Войдя в лифт, нужно было закрыть лязгающие шарнирные решетки шахты, а потом кабины. В первые дни я все боялся: как бы не оттяпать себе палец (лифты эти давно заменены современными).

Мой ангел-хранитель Чарльз уже на второй день сказал» что я могу ходить по городу куда хочу — лишь бы не заблудиться и на этот случай дал свой номер телефона. Он вручил мне бело-зеленую фунтовую банкноту «взаимы от королевы» и, помогая себе жестами, долго объяснял, чего мне можно делать и чего нельзя. Можно гулять и ездить в автобусах или метро. Нельзя заходить в рестораны — может не хватить денег, будет недоразумение. Можно посещать музеи, это бесплатно. Можно покупать продукты в супермаркетах, но нечего пока бродить по универсамам. Если что-либо нужно из вещей, сказать ему. В метро не стоять у края платформы, а ждать поезда у стенки и идти в вагон, только когда откроются двери (контрразведчики не совсем еще понимали, кто я такой: формальный допрос мне учинили только три недели спустя и им все мерещились агенты КГБ, сталкивающие меня под поезд). А пуще всего не обращаться к незнакомым людям и не отвечать на их обращения, даже по-английски, а уж по-русски-то и подавно. Спасаясь от любого преследователя, искать защиты у полицейского, которому сказать «ай эм биинг фоллоуд». Это указание меня развеселило, но на вопросительный взгляд Чарльза я только погасил усмешку: не объяснишь же ему без языка, что десять дней назад, на «инструктаже» в советском консульстве, мы все получили тот же совет: обращаться к полицейскому. «Полиция здесь, в общем, нейтральна, товарищи, и в случае чего, окажет помощь даже советскому гражданину».

Чарльз ушел до завтра, и я собрался гулять. В лифте — вот сюрприз! — стояла прелестная юная брюнетка, богато одетая и источавшая, как мне показалось, аромат дорогих духов. Должно быть, я так на нее уставился, что она слегка улыбнулась и сказала «добрый день». Я ответил тем же и хотел сказать что-нибудь еще, но вспомнил наказ Чарльза, да и лифт уже остановился на первом этаже. Рискуя защемить пальцы, я бросился открывать решетки. Брюнетка еще раз взглянула на меня с любопытством, поблагодарила за что-то и быс-

тро испарилась. Идти сразу за ней на улицу показалось мне неудобным, еще подумает, что преследую, и я стал осматриваться в вестибюле.

Дверь слева вела в узкий уютный бар, уставленный маленькими столиками, мягкими креслами с телевизором в дальнем углу. Справа, в конце короткого коридорчика, горела лиловым неоном надпись «Минотавр» и сквозь зеркальное дверное стекло виднелись раструбы крахмальных салфеток — ресторан. Туда-то мне определенно нельзя, но про бары, кажется, особых указаний не было. И я повернул налево.

Устойки не было никого, а за одним столиком сидела, вообразите, еще одна красotka — ну просто красotka, получше даже моей спутницы по лифту. К сожалению, она была не одна: рядом с ней устроился жуткий, толстый детина, сразу метнувший на меня неприятный взгляд. Я поспешно отвернулся к стойке и оказался лицом к лицу с пожилым барменом необыкновенно интеллигентной внешности. Он что-то спросил, я не понял, он склонил голову и мягко повторил вопрос, я опять не разобрал, но с третьего раза усвоил: это не просто бар, а клуб жильцов дома. Так вот, живу ли я здесь? Я вынул ключ с номером квартиры, бармен обрадовался и широким жестом показал на батарею перевернутых бутылок с дозаторами: чего желаете?

Честно говоря, я хотел на улицу, но теперь, потревожив такого приятного человека, уйти было невозможно. Заказал джина с тоником. Этой смесью угостил меня в Эдинбурге милейший Александр Крон, когда я еще путешествовал с группой. «Айс? Лемон?» — спросил бармен, показывая на вазочку с ломтиками лимона и ведро со льдом. Я небрежно ответил: «Йес, оф корс» и получил высокий стакан с крошечной порцией джина, льдом и лимоном и отдельно бутылочку с надписью «Швеппс индиан тоник». Вылил всю бутылочку в стакан и достал из кармана увесистую английскую «мелочь».

Бармен, одобрительно склонив голову, взял у меня с ладони флорин, монету в два шиллинга, и я отправился

к столику перед телевизором, подчеркнуто усевшись спиной к девице и ее приятелю.

Ничего, что я так подробно рассказываю о моей первой вылазке в Лондон? Понимаю, что сегодня ни джинном, ни тоником в России никого не удивишь. Но тогда все это казалось странным сном, и вот это мое ощущение я и пытаюсь передать.

... Телевизор показывал футбольный матч. Я, конечно, ни слова не разобрал в скороговорке комментатора, но игра была быстрой и интересной. Особенно выделялся нападающий одной команды и по виртуозному владению мячом он напоминал незабвенного Григория Федотова (настоящие российские болельщики помнят это имя). Когда он в очередной раз ринулся вперед и с ходу, не остановившись, пробил по воротам, комментатор вскричал: «Эусебио!». Тут я понял, что одна команда была португальской, и я вижу игру знаменитого форварда, имя которого, конечно, слышал и раньше. Стало ясно, что показывали матч на Кубок мира со стадиона «Уэмбли». Болельщиком — и очень ярым — я был только в детстве, но все же сколько-то времени еще любовался красивым футболом и встал. К удивлению моему, я был в баре один. Исчезли не только парочка, но и бармен, а бар с напитками был отрезан от мира изящной серебряистой решеткой.

Смешно, но я чего-то испугался и первым делом метнул взгляд на дверь: не заперли меня тут случайно? Нет, дверь была открыта, часы показывали три двадцать — день белый. Не знал я тогда, конечно, про британские «лицензионные часы», по которым все пивные закрываются с трех до шести, а по воскресеньям — даже с двух до семи вечера, с обязательным опусканием решеток вокруг бара. Так началась длинная вереница британских странностей и причуд, подстерегавших меня в первые недели, месяцы и, боюсь, даже годы жизни номер два.

Я вышел из здания и стал искать глазами табличку с названием улицы, чтобы хоть запомнить свой адрес. Не тут-то было. Ни на одном доме не было привычного

номерного фонарика, на пересечении с переулком было только название переулка. И то слава Богу! Записал для верности и двинулся дальше.

Вот так и стоял я в полной растерянности, недоумевая, что это вокруг — маскарад, цирковое шествие, сумасшедший дом? По тротуару шла непрерывная вереница молодых людей, одетых самым причудливым образом. Одни — в рваных джинсах, другие — в роскошных атласных одеяниях и даже, несмотря на лето, в овчинных тулупах. Некоторые прогуливались босиком, а девушки, почти все — в невероятно коротких юбчонках и цветных чулках. По мостовой, как ни в чем не бывало, двигались машины и автобусы. Торговали магазины. И надо всем этим как бы витала в воздухе некая мелодия, она неслась из дверей кафе, из ручных радиоприемников — отовсюду. Ритмичная, нежная музыка. Сам того сперва не заметив, я стал ее мурлыкать про себя. Эту песню группы «Кинкс» — «Санни афтернуун» («Солнечный день») я напеваю и сегодня под настроение. А тогда, конечно, понятия не имел, что именно в тот день она была выпущена в эфир и сразу перехватила первое место у знаменитых «Битлз» — пусть ненадолго, но перехватила, и это было чрезвычайное происшествие. Так что ее играли решительно везде.

Юноша с гирляндой цветов вокруг шеи как-то мельком и туманно мне улыбнулся. Стайка молодежи, посмотрев на меня (этакое чудище в костюме и галстук!), громко, но необидно рассмеялась. В витринах магазинов готового платья, где тоже была выставлена довольно сумасшедшая одежда, я все время видел фотографии одной и той же невероятно худой блондинки с большими глазами, в разнообразных нарядах. Почему именно ее фотографии? Все было до того чуждо, настолько дьявольски непонятно и не по-нашему, что в первый раз вдруг подумалось: что ж это я наделал, куда угодил! Разве я смогу прижиться в этом мире?

И так стало тревожно и неуютно, что повернул я и, осторожно обходя встречных дикарей, поплелся назад в «Челси клоистерс».

Первые допросы

Я прожил там с месяц, не переставая удивляться обилию красоток в здании. На улицах встречные женщины были самые обыкновенные, пожалуй, в среднем даже менее привлекательные» чем в России. А вот в «клойстерс» — одни королевы красоты. Причину этого приятного обстоятельства я выяснил очень нескоро, ибо не было у меня тогда никаких собеседников, некому было задать даже куда более важные вопросы.

Тем временем меня, наконец, формально допросили. Поскольку скрывать мне было абсолютно нечего, я, не задумываясь, выкладывал о себе всю правду. Само существо дела не представляло для меня особого интереса. А вот обстановка двухдневного допроса и люди, с которыми я соприкоснулся, оказались по-настоящему захватывающими. И я сидел, как в театре, словно со стороны наблюдая открывшуюся мне фантастическую британскую сцену.

Началось с того, что в одно утро Чарльз явился несколько более торжественный, чем обычно, и, открыв передо мной словарь, чтобы я отыскивал перевод каждого его слова, сообщил, что завтра нам нужно будет «кое-куда поехать». Я должен буду позавтракать и быть готовым к половине девятого. Потом он долго объяснял, повторяя фразы до полного понимания, что мне совершенно не следует волноваться: это будет необходимая формальность, беседа с его коллегами, которые интересуются таким редким гостем, как я, вот и все. После чего сделал паузу и вкрадчиво спросил: не виделся ли я с кем-нибудь в Лондоне в эти дни, быть может, забыв ему об этом рассказать? Например, с какими-нибудь журналистами. Я честно ответил, что нет, конечно, не виделся и ни с кем не говорил. Это не понравилось Чарльзу, он чуть нахмурился и попросил еще раз подумать. Я твердил: нет, нет! Тогда он с легким вздохом вынул бумажник и достал из него газетную вырезку. Там была моя фотография — с улыбкой во весь рот! — и небольшая заметка. После секундной оторопи я облег-

ченно вздохнул и принялся, на моем-то английском, излагать, откуда взялся снимок.

Когда мы, советская группа, летели из Эдинбурга в Лондон, мое место оказалось в шестиместном «купе» со столиком посредине. Напротив сидел симпатичный, веселый англичанин. Услышав вокруг себя русскую речь, он заинтересовался, кто мы такие. Сообща, помогая друг другу по-английски, мы кое-как ответили на его обычные вопросы: надолго ли приехали, где побывали, что понравилось, что разочаровало? Он, невзирая на наши протесты, заказал нам всем виски с содовой, потом достал фотокамеру со вспышкой и всех по очереди сфотографировал. Выложив все это, я спросил у Чарльза, почему же именно моя фотография оказалась в газете — кстати, в какой?

Еще раз вздохнув — на сей раз с некоторым облегчением, — Чарльз сообщил, что наш спутник оказался фотожурналистом. Когда в газетах появилось официальное сообщение, что мне предоставлено политическое убежище (я и не подозревал об этом сообщении), он отыскал мое фото, ибо, представьте, запомнил все пять трудных русских имен, и стал предлагать эту «сенсацию» в разные редакции. В конце концов снимок и его заметку обо мне с такой, например, важной информацией, что мне понравились сигареты «Синиор сервис», взяла газета «Дейли скетч» (ныне давно исчезнувшая). Затем он явился в министерство иностранных дел и стал просить, чтобы ему разрешили взять у меня интервью, поскольку он уже раньше со мной подружился. Там ему отказали и передали «материал» в контрразведку.

Эта история имела смешное продолжение, но о нем позже.

...Чарльз привез меня на такси к боковому входу в одно из большущих серых зданий на Уайтхолле (я уже знал, что у него есть прекрасный синий «Ровер», но он ездил на нем редко, а больше пользовался такси; тут же, к слову, скажу, что ни разу не видел, чтобы Чарльз сел в автобус или спустился в метро). Мы вошли в вестибюль, там уже был готов пропуск, и Чарльз проводил

меня до какой-то двери. Постучал, открыла старая дама, Чарльз как-то суетливо улыбнулся, сказал ей несколько слов и исчез, не попрощавшись. Дама ввела меня в малюсенькую приемную, жестом пригласила сесть, села сама и сказала на прекрасном, кристальном английском фразу, которую я понял и потому вынужден был страшно сосредоточиться, чтобы не разразиться хохотом. Дама произнесла:

— Отличная сегодня погода, не правда ли?

Господи, они здесь и впрямь сразу же заводят разговор о погоде! Прошло сколько-то времени, и я начал отвечать более или менее впопад, а потом поймал себя на том, что в приемной у адвоката сказал секретарше «ну и льет сегодня с утра», на что получил энергичное: «да, такая погода хороша разве что для уток». Стандартнейший ответ, который выдают тебе без малейшего смущения: все равно ведь это не разговор, а заход, принятый в здешнем обществе и именуемый «пустяшной беседой».

...Пока я складывал известные мне слова о погоде хоть в какую-то фразу для ответа, за моей спиной отворилась дверь, и другая дама, средних лет, сказала на чистом русском: «Здравствуйтесь, зайдите сюда, пожалуйста».

В просторной комнате, за высокой стальной конторкой, сидели спиной к окну два человека. Пол был устлан толстым ковром, но у подножия конторки, в проделанный в ковре люк, аккуратно входил кабельный пучок. «Здравствуйтесь, ваше имя?» — спросил старший по возрасту, а дама, севшая у правой стены, боком и к ним и ко мне, перевела. Я понял, что пошел формальный допрос и старательно отвечал. Вопросы по существу задавал главным образом более молодой (были они, конечно, в штатском). Выспрашивали мелкие подробности, хотя я чувствовал, что заранее они знали обо мне мало. Прошло два с лишним часа, я говорил, дама переводила, они усердно писали. И вдруг более молодой посмотрел на коллегу, тот кивнул, и переводчица сказала:

— Перерыв. Сейчас дадут завтрак.

Его тут же и вкатили в комнату на тележке. Пиво, лимонад, сэндвичи, нарезанные равнобедренными треугольниками, термос с чаем. Оба следователя вышли из-за конторки и принялись меня наперебой угощать, объясняя с помощью дамы, с чем у них сэндвичи. А я попытался выяснить, кто же такая наша переводчица — явно русская. Когда я обращался лично к ней, она быстро бормотала им перевод того, что я говорил, и отвечала с явной неохотой. «Зовите меня Августа Петровна» — было единственное, что я от нее узнал. Дальше — воистину чудо. Вот уже больше тридцати лет, как я, встречаясь с русскими и прибалтийскими эмигрантами в Англии, расспрашиваю про женщину таких-то лет, такой-то внешности, называющую себя Августой Петровной и безупречно владеющей английским. Никто не знает. Вот она, думаю, британская контрразведка, умеет прятать концы в воду...

Пока ели сэндвичи, младший по возрасту офицер заинтересовался моим парашютно-планерным прошлым. По вопросам я понял, что разговариваю с профессионалом, так и оказалось. Он был летчиком-истребителем в годы войны. Я люблю авиацию, мы стали перебирать типы самолетов, Августа Петровна едва успевала переводить. Вдруг он сказал: «Нет, вы все-таки неправы, истребитель «Рипаблик тандерболт» не закладывал вираж круче «Мессершмидта». Вы перепутали, «Рипаблик», я помню, он вышел в сорок четвертом, это тяжелая американская машина, четыре тонны весом. Не мог он входить в вираж круче «мессера»! — горячился мой собеседник, одновременно подливая пиво в мой стакан. Мне оставалось лишь пожать плечами и сказать:

— Так мне помнится. Проверьте, если сможете.

Допрос продолжался, словно дружеской беседы за пивом и не было. В пять часов вечера сказали: «Стоп». Тут же все встали, и появившаяся старая дама вывела меня в приемную, где уже ждал Чарльз.

На следующий день до перерыва все шло в том же

порядке. Выйдя из-за конторки и словно превратившись в другого человека, бывший летчик воскликнул:

— Представьте, вы оказались правы. «Тандерболт» немало обходил «Мессера» на вираже с набором высоты.

— Ну да, это «боевой разворот».

— Возможно, у вас он так называется. Вопрос перевода, но я отдаю вам должное.

А потом окончился день, а с ним и весь допрос, и оба контрразведчика вместе с Августой Петровной, если так ее действительно звали, навсегда исчезли из моей жизни. Я не знаю даже их имен: вопреки правилам британской вежливости, они мне не представились. Но мое двухдневное знакомство с ними имело и приятное продолжение: два дня спустя я получил официальное письмо. На бланке заместителя министра внутренних дел стояло: «Дорогой сэръ, министр уполномочил меня сообщить, что Вы не обязаны регистрироваться в полиции, как иностранец и имеете право поступать на работу на территории Соединенного Королевства либо открывать на указанной территории собственный бизнес». Собственный бизнес — это прекрасно! Все годы думаю — что бы такое открыть. Но пока вот не придумал...

Возвращаясь сейчас мыслью в то далекое прошлое, вижу, что ведь и еще были последствия моего допроса «летчиком» и его хмурым старшим коллегой. Только я одно с другим тогда не увязал.

Взять хоть моего фоторепортера. Чарльз сказал, что тот непременно хочет со мной увидаться и назначает мне свидание во вторник, в двенадцать дня в Американском баре «Савой». «Савой» — одна из лучших лондонских гостиниц, я уже любовался ее внушительным крытым въездом с улицы Стрэнд. Малый — как он мне и запомнился по встрече в самолете — оказался чрезвычайно симпатичным и сразу же повел себя так, словно я, согласившись на встречу, его облагодетельствовал. После прохладительных коктейлей мы перебрались в ресторан, и Дерек — так его звали — накормил меня превосходным обедом. Я благодарил и все пытался выяснить, чем я все это заслужил. К концу обеда с

бутылкой бургундского Дерек еще больше расчувствовался и объяснил, что за публикацию снимка получил от «Дэйли скетч» пятьсот фунтов, это самый высокий гонорар в его жизни, и он не такой, как эти здешние, южные жадюги, он северянин, который знает, как отблагодарить человека. Так я впервые услышал о «внутренней границе» в Англии — границе между Севером и Югом. Она очень хорошо ощутима, хотя совершенно неясно, где пролегает. В шутку принято говорить, что Север — это все то, что к северу от Уотфорда. Но Уотфорд совсем рядом с Лондоном, а житель, скажем, гораздо более далекого Кембриджа никогда не отнесет себя к северянам.

В чем же разница между областями по разные стороны невидимой границы? Не так-то просто это объяснить. Скажем, Юг считается богаче, буржуазнее Севера. Соответственно расчетливее, «жаднее». Север проще, душевнее, веселее. Северянин отзывается о чопорном Юге с пренебрежением. А южанин снисходительно объяснит, что на Севере когда-нибудь научатся говорить по-английски, но пока изъясняются на своих наречиях, непонятных посторонним. В общем, южанин чистоплюй, северянин — мурло. Правы — и неправы — и те и другие. Но обязан сказать, что иностранец, даже хорошо владеющий английским, мало что поймет на бирмингемской улице, а в Ньюкасле в таком же положении может оказаться и коренной англичанин с Юга страны. Жители Ньюкасла — они называют себя «джордиз» — говорят на таком диалекте, к которому нужно долго привыкать.

Дальше к северу идет настоящая, географическая граница с Шотландией. Но это уже не Англия, а что-то другое. В пивной шотландского города Инвернесса лишь слегка подвыпивший шотландец сорок пять минут держал меня за лацкан пиджака, чтобы я не ушел, не усвоив его доводов. А состояли они в том, что англичане и шотландцы — это не разные народы, не разные нации, это разные расы, понимаете, расы, живущие рядом, но ничего общего не имеющие!

Синагога «Челси», Главлит и «Санди таймс»

Я понемногу привыкал к неопишуемому гульбищу, происходившему на Кингс роуд, и ходил туда с любопытством, как в цирк или зоопарк. Никто ни разу ко мне не пристал и не обратился. Никакого интереса я для «них» не представлял: на этой улице всегда было много иностранных туристов, и некоторые «ряженные» даже брали с туристов деньги за право их фотографировать.

И вот, иду я как-то, озираясь, вдоль стеночки, и вдруг замечаю синюю металлическую стрелку, укрепленную на столбе и направленную куда-то вбок. А на стрелочке надпись: «Синагога Челси». Можете мне не верить, но вот какая первая мысль пришла в мою советскую голову: как это разрешают такие знаки вывешивать? Я представил мысленно эту стрелочку на улице Богдана Хмельницкого, бывшей Маросейке, в Москве, указывающую на улицу Архипова, бывший Спасоглинищевский переулок, с надписью «Московская хоральная синагога», от этого воспоминания стало даже весело. Как зачарованный, направился в сторону, указанную стрелкой, и скоро увидел небольшое и новое по виду синагогальное здание. Двери были закрыты, а вывеска извещала, что служба бывает по пятницам и субботам в такие-то часы и что раввина зовут Майкл Эскин.

Из жизни номер один

...Когда-то, очень-очень давно, может быть, еще до школы, мой пала, профессор математики в Питере, проживший в городе 46 лет и погибший от голода в дни блокады, повел меня в странное место. Там люди в белых накидках на плечах и в шапочках стояли с раскрытыми книгами, а впереди на возвышении два человека читали нараспев огромный свиток, развернутый перед ними на столе. Потом все долго пели, несколько раз садились, вставали опять.

Папа был в своей обычной шляпе, мне надел на голову тубетейку. Постояв немного у стены, мы вышли, и он сказал:

— Ну вот, сынок, это наша еврейская церковь, называется синагога. Ходить сюда теперь не принято, и ты, возможно, никогда больше этого не увидишь. Не говори никому, что мы

здесь были, может быть, скоро все церкви и синагоги закроют, но ты будешь помнить, что хоть раз побывал на молитве.

В школе я стал октябренок и вскоре нам всем, собрав по десять копеек, выдали удостоверение «СЮБВ» — Союза юных воинствующих безбожников. Было ясно, что рассказывать о посещении синагоги не следует, это была наша с палой тайна.

...В ближайшую пятницу я отправился туда опять. Двери были настежь, но я не знал, можно ли войти с непокрытой головой. Кто-то обратился ко мне по-английски, я сказал, что говорить не умею и показал на голову. Меня тут же пригласили внутрь, дали белую шапочку — кипу — и наплечное покрывало — талес. Из преддверия ввели в молитвенный зал, и детское воспоминание ожило перед глазами. Мне вручили две книги, открыли одну на нужной странице, и я, ничего не понимая, послушно вставал и садился вместе со всеми. Молодой раввин исполнял странные, незнакомые мелодии, у него был отличный, сильный тенор.

После окончания службы ко мне подошел респектабельного вида англичанин и стал спрашивать, кто я и откуда. Почему-то в этих стенах я не боялся отвечать: запреты Чарльза на это место как бы не распространялись. Англичанин спросил, буду ли я на молитве завтра утром и, получив утвердительный ответ, пригласил меня после службы к себе.

Сегодня, через тридцать с лишним лет, Майкл и Жаннет Коэн остаются моими близкими друзьями. Тогда, в первые месяцы нашего знакомства, мы все трое без конца хохотали, пытаюсь понять друг друга: это был очень забавный «разговор». Они учили меня английскому, а я, не оставаясь в долгу, называл им соответствующие русские слова, и когда они пытались их произнести, начинались долгие приступы смеха.

Чарльз тем временем все старался найти мне какую-нибудь работу — это, видимо, входило в его обязанности. Он знал, что я научно-популярный журналист, и это ставило его в тупик: что за журналист без языка? В конце концов он сделал по-видимому самый верный ход: повел меня к литературному агенту. Был приглашен

переводчик, и опытный мистер Гамильтон сразу задал естественный вопрос: не хочу ли я что-нибудь написать о России для газеты? Господи, конечно, хочу!

И вот, через несколько дней Чарльз, Гамильтон и я вышли из такси на Флит-стрит, оказавшись перед монументальным зданием газет «Дейли телеграф» и «Санди телеграф». Известный журналист этих газет Дэвид Флloyd, специалист-советолог, был в отпуске, и меня принял молодой румяный гигант по имени Дафф Харт-Дэвис — еще один мой хороший друг по сей день. А кроме него в комнату вошел рослый, улыбающийся человек, протянул руку и сказал по-русски:

— Вы, значит, Леонид. Слышал, читал про вас в газете, рад познакомиться.

Это был Борис Хаттон, в прошлом военный, бежавший сразу после войны из советской зоны Австрии. Вот с ним мы дружили до конца его дней, а сегодня продолжаем встречаться с его английской вдовой и сыном Филиппом.

Говорили мы с помощью Бориса, и Дафф заказал мне серию из трех статей в воскресную газету «Санди Телеграф».

Первую я написал о советской цензуре, благо шесть лет, работая зав. отделом в журнале «Знание — сила», ежемесячно имел дело с цензорами.

Из жизни номер один

Самыми неприятными для сотрудников журнала были «дни Главлита». Ответственный секретарь журнала Евгений Борисович Этингhoff отвозил в цензуру полный макет, с тщательно наклеенными иллюстрациями и подписями под ними. Начинилось мучительное ожидание. Потом звонок: у них есть вопросы по таким-то и таким статьям. И представитель, который готовил эти статьи, отправлялся на заклятие.

В первые годы моей работы наши цензоры сидели в издательстве «Наука», возле Курского вокзала. Вход туда был без пропусков, надо только было стучать в дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен». В комнате сидели двое мужчин и женщина по имени Идея Васильевна, посетитель всегда бывал только один. Нас «курировал» (словцо-то какое!) моло-

дой Игорь Батамиров, самый приятный из всех моих цензоров. Он, однако, был явно младшим по чину, и иной раз, когда я пытался спорить (а это случалось), кто-нибудь из двух других — мужчина либо Идея бесцеремонно пресекали мои попытки, ссылаясь на «Перечень». Эта книга — «Перечень сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати» — была у них «Книгой Бытия». Мне в нее заглядывать не разрешалось.

Тут следует заметить, что мне или другим заведующим отделами вообще не полагалось бывать в отделе Главлита. По правилам, туда мог ходить только главный редактор, а мы, тем более авторы журнала, не должны были даже знать, что на свете существует цензура. Но правило это соблюдать было практически невозможно, и его молчаливо игнорировали.

Мы с Батамировым занимались только одним: «снимали вопросы». Нужно было по каждому случаю называть открытую публикацию, откуда взяты те или иные сведения, либо принести с собой иностранные журналы, если информацию брали из них. Эта процедура иногда затягивалась на неделю и больше — а по графику прохождения журнала на Главлит отводилось три дня. Из Калининского полиграфкомбината в Твери к нам шли бесконечные телефонные звонки, всю редакцию трясло как в лихорадке, и когда «виновным» оказывался кто-то из зав. отделов, на такого было жалко смотреть. Я занимался техникой и промышленностью, так что нередко попадал в «единственные виновники». Ощущение было не из приятных.

Однажды в макете была обнаружена статья «Если марш не сыграют фантасты», автор которой, ссылаясь на строчки Маяковского «Все совдепы не сдвинут армий, если марш не сыграет горнист», рассуждал о том, что научная фантастика идет, так сказать, впереди науки: фантасты, мол, генерируют идеи, становящиеся потом темами научных разработок. Какой-то бдительный «страж секретов» в Главлите усмотрел в статье «крупную идеологическую ошибку», и журнал взял под контроль Центральный Главлит. Вот где мы хлебнули горя!

Помню, первый визит на Китайский проезд. На здании Министерства электростанций (?) посетителя встречала внушительная надпись золотом по красному: «Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати Комитета по печати при Совете министров СССР». Нужно было подняться на шестой этаж, где на выходе из лифта, перед закрытой дверью, было кратко написано: «Главлит СССР».

Слева имелось окно для сдачи материалов, задержанное занавеской, но мне нужно было попасть внутрь. Открыв дверь, я оказался лицом к лицу с милиционером. Мне был заранее заказан пропуск, и после тщательной проверки паспорта я отправился по тихим коридорам в указанную мне комнату.

Беда была не только в том, что здесь сильнее придирались и меньше понимали в науке и технике. Главное, что чиновники Главлита бывали недоступны по несколько дней. Получив вопросы и подготовив ссылки, мы звонили, чтобы заказать пропуск и слышали: «Ее нет, она на семинаре». Она — это наш цензор по фамилии Кирова. Вместо нее никто нас не принимал, и цензура затягивалась бесконечно. А журнал в то время печатался уже не в Твери, а в Каунасе, и одному из нас, дежурному по номеру, нужно было лететь туда с «разрешенным» макетом. Человек разрывался между поисками источников (иногда у Кировой появлялись «дополнительные вопросы», так сказать, по второму кругу) и кассами Аэрофлота, то добывая билеты, то сдавая их назад за невозможностью вылететь в срок.

Однажды мне там досталось пуще всех. В макет по моему отделу была включена статья о гиперзвуковых самолетах будущего. Статью одобрил заместитель министра авиапромышленности Белянкин, это сразу снимало ответственность с цензора, так что текст прошел без единого вопроса. Но к материалу мы решили сделать обложку, и художник Викторов нарисовал этакую пассажирскую ракету над Земным шаром, причем пунктиром показал ее трассу: старт где-то на Камчатке, а приземление в Америке.

Цензор проштамповал разрешение (штампы ставились на первой, на семнадцатой, на тридцать третьей странице и так далее — на каждом печатном листе из 16 страниц), и макет увезли в Каунас, а я по этому номеру не дежурил. Журнал пошел а печать, со дня на день ждали сигнального экземпляра, его надо было опять сдавать в цензуру, где хранилась копия макета, и цензор сличал сигнал с этой копией, чтобы мы, значит, после разрешения ничего, упаси Бог, не изменили. И вдруг звонит Кирова и говорит, чтобы я срочно явился в Главлит, потому что номер остановили.

— Кто же остановил — не вы?

— Приедете — узнаете. Пропуск заказан.

Выяснилось, что после цензора журнал в Главлите читала, как они говорили, «вторая рука», вышестоящий цензор, обычно уже никому невидимый и недоступный. И вот пред светлые очи этой «второй руки» (страшной жабообразной дамы) я и предстал. Она сказала, что обложка журнала представляет собой ни что иное, как политическую провокацию. На мое восклицание: «помилуйте, но ведь это пассажирский гиперзвуковой самолет, там окошки нарисованы!» дама ответила, что теперь-то она сама видит, насколько безответственно относятся в журнале к нашей политике мира, и посему не только приказывает остановить печать и сменить обложку, но также пишет докладную в Идеологический отдел ЦК партии.

Номер был уже сброшюрован. Менять обложку на каждом экземпляре было невозможно. В Каунас послали новую обложку, предварительно разрешенную Кировой, которой в свою очередь тоже влетело; отпечатанная часть тиража пошла под нож, и всю печать повторили. Идеологическая комиссия ЦК поставила «на вид» главному редактору журнала Владимиру Андреевичу Мезенцеву, который принял удар на себя, даже не упомянув моего имени. Он получил всего лишь «на вид» только потому, что был назначен редактором очень незадолго до этого скандала...

Статью о советской цензуре переводили на английский Борис Хаттон и его жена, англичанка Шейла. Мы сидели у них дома в Уимблдоне, Борис излагал по-английски фразу за фразой, а потом говорил жене;

— Теперь сделай хороший английский.

Время от времени Шейла восклицала: «Немыслимо, неужели это возможно в наш век?» Я молча кивал головой, и Борис предлагал очередную фразу с просьбой «сделать хороший английский». Мне не верилось, что таким образом удастся более или менее сносно перевести, но гораздо позже, уже прилично понимая английский, я перечитал текст и не увидел больших расхождений с оригиналом.

Статья появилась в воскресенье с моим портретом, что немало огорчило Чарльза. Он настоял на том, чтобы маленькое фото, которое хотели поставить в следующий воскресный номер, было снято, и художник «Санди телеграфа» сделал некий теневой силуэт.

Удостоверение личности

Жизнь моя сразу же изменилась. Я ведь получил громадные деньги — больше четырехсот фунтов. Чарльз повел меня в близлежащий банк, и с его помощью я открыл счет. В моих руках появилась чековая книжка! Хотелось как можно быстрее ею воспользоваться. Я снял себе первую меблированную комнату и заплатил чеком владелице дома, но все это было не то. Вот бы где-нибудь в магазине — это другое дело. И случай скоро представился.

С окончанием лета пошли дожди, а у меня не было зонтика. Я ушел из гостиницы с чемоданом, так что одежда пока была, а вот зонтик...

Очередной холодный дождь застал меня в центре города. Я увидел магазин «Оллит» на Кембридж-сэркус и вошел в его безлюдное великолепие (этого роскошного магазина давным-давно нет). Ко мне почтительно приблизился респектабельный мужчина во фраке и полосатых брюках — что угодно, мол? Я сказал, что хотел бы приобрести зонтик, и передо мной появились самые всевозможные зонтики — длинные, складные, в кожаных футлярах, матерчатых чехлах, скатанные в тросточку... Но меня ужасали цены. Десять фунтов! Двенадцать фунтов! Я на такие деньги чуть ли не месяц питался. В конце концов присмотрел самый скромный и плохонький — пять фунтов. Отступить было некуда. Конечно, надо было понять, что я попал в дорогой магазин, поблагодарить и уйти — чего проще? — однако, до такого «западного» подхода мне было еще очень далеко.

— Ладно, — говорю. — Вот этот.

— Спасибо, сэр. Как будете платить?

Я достал из внутреннего кармана чековую книжку — как нечто само собой разумеющееся — развинул авторучку и принялся писать чек, как учил меня Чарльз. Продавец был явно обеспокоен. С одной стороны, перед ним иностранец, едва говорящий по-английски. С другой — он достает книжку чисто британского банка. Не жулик ли? И, как можно слаще улыбнувшись, человек во фраке спросил:

— Э-э-мм... Нет ли у вас чего-нибудь такого, удостоверяющего личность? Может быть, шоферские права?

Документов при мне не было: я знал уже, что в Англии никто с ними не ходит, потому что их не спрашивают, да и вообще нет у британцев удостоверений личности: паспорт берут только те, кто собирается за границу. Британских шоферских прав я тогда еще не имел.

Продавец замялся, но через секунду просиял от пришедшей ему в голову спасительной мысли: нет ли у меня

случайно письма, пришедшего на мое имя? Не понимая, чем это может помочь, я извлек из кармана конверт с полученным только что от кого-то письмом.

— Этого довольно, сэр! Этого довольно! — воскликнул продавец, отстраняя мою попытку показать ему то, что написано на конверте. — Прошу Вас! — И с поклоном вручил мне зонтик.

Года два спустя попросил политического убежища в Англии оператор Центральной студии кинохроники Иван Михеев. Он тяжело переживал «инкубационный период» эмиграции, ни слова не знал по-английски и в конце концов через несколько месяцев попросился обратно. Что с ним случилось, я так и не знаю. Но особенно донимало его в те месяцы отсутствие каких-либо документов. Он звонил мне в лондонский корпункт радио «Свобода», где я тогда работал, и говорил:

— Леонид, ну попроси ты у них, чтобы мне дали какое-нибудь удостоверение. Не паспорт, так хоть что-нибудь.

Я убеждал его не беспокоиться и спрашивал, на что нужна ему бумажка, которой здесь и у британцев нет. Он удивленно отвечал:

— Как «на что»? Как это «на что»? Должен же я знать, что я — это я!

Или вот еще эпизод — гораздо более поздний, середины семидесятых. Бывший сотрудник «Свободы» Максим Никольский, эмигрант второго поколения, родившийся в Англии, ушел учиться на теологический факультет университета — он теперь давно уже православный священник. Никольский позвонил мне как-то с очень таинственным видом и сказал, что нужно немедленно увидеться. При встрече сообщил, что в лондонскую эмигрантскую церковь — не принадлежавшую Московской патриархии — зашел известный советский писатель, находящийся в туристской поездке. В разговоре с Максимом шепотом спросил, не знает ли тот меня. Это, действительно, был мой старый приятель, и я обрадовался прежде всего его смелости. Мой голос тогда каждый день звучал по «Свободе», советские газеты

время от времени награждали меня нелестными, мягко говоря, эпитетами, и встречаться со мной было определенно рискованно, если человек собирался ехать обратно.

Мы встретились с соблюдением конспирации, и я сразу же выяснил, что приятель мой оставаться не собирается — он просто хотел встретиться и поговорить. Такие встречи были большой редкостью. Один из совсем немногих смельчаков, отваживавшихся встречаться со мной в каждый едой приезд на Запад, Аркадий Ваксберг, остается и поныне моим ближайшим другом.

Имени моего приятеля, о котором речь, я, однако, не назову — и сейчас станет понятно, почему. Он живет и здравствует, ничего «худого» у него и в мыслях не было, он действительно совершил смелый поступок, но...

Посадил я его в машину, прокатил как следует по Лондону. Мы отобедали в таком месте, куда советские граждане наверняка не заходили, и пришло время расставаться. Приятель был от Лондона в полном восторге и спросил, как обстоит здесь дело с пропиской. Приняв это за шутку, я ответил тоже посмешнее — что, мол, да, никого не прописывают, абсолютно, даже королева без прописки живет. Он сказал «нет, серьезно», и я понял, что он не шутит. Стал ему удивленно объяснять, что не знают здесь не только прописки, но и внутренних паспортов и никаких вообще удостоверений личности.

— Но тогда почему же вся страна не съедется в такой прекрасный город?

— Ну, не знаю. Им и там неплохо, где они живут. Снабжение такое же самое. Народ из Лондона даже уезжает, население медленно уменьшается.

Приятель рассеянно слушал, избегая моего взгляда.

— Ты что.... Ты мне не веришь?!

Я почти кричал. Он забеспокоился, стал оглядываться по сторонам — мы прощались у станции метро, уже выйдя из машины.

— Нет, почему же.... — бормотал он. — Почему же... Но мне надо спешить. До свидания.

И он исчез в метро.

Анатолий Максимович Гольдберг

Я с этим рассказом забежал в семидесятые годы, а мои самые, пожалуй, необыкновенные встречи произошли еще раньше. Призываю себя к порядку и возвращаюсь к тому времени.

Вскоре после публикации газетных статей меня «нашли» работодатели — сразу и Би-би-си и радио «Свобода». Редакция газеты «Санди телеграф» не дала моего адреса не только «Свободе», но и «своей» Би-би-си, а отослала работодателей к моему литературному агенту. Марк Гамильтон, я уже имел случай сказать об этом, был он умен и опытен, понимал, что нечего мне прятаться от таких организаций, иначе у меня никогда не будет работы. И первым делом познакомил меня с тогдашним директором Русской службы Би-би-си Гордоном Клафом. Этот талантливый и необыкновенно работающий человек с сочным, трубным баритоном совсем недавно скончался. Он до последней минуты трудился на английском радио Би-би-си и успевал еще переводить с русского такие крупные вещи как, например, «Зияющие высоты» Зиновьева. Гордон позвонил мне и по-русски, с очень небольшим акцентом и роскошными голосовыми перекатами, пригласил на обед в итальянский ресторанчик на Стрэнде, где сейчас стоит темно-серая громада Кингс-колледжа Лондонского университета, заменившая собою очаровательный старый квартал.

По голосу я рисовал себе, что придет ко мне на встречу этакий детина, в плечах косая сажень, но официант подвел меня к столику, из-за которого поднялись очень низкорослый упитанный человек, весьма небрежно одетый, и другой, совершенно противоположной внешности — худой, подтянутый, в ловко сидящей серой паре и ослепительной сорочке с галстуком-бабочкой. Человек крепко тряхнул мне руку — это был Клаф, — а второй несколько церемонно наклонил голову и, отвечая на мое рукопожатие, представился:

— Гольдберг.

Я потрясенно уставился на этого человека.

— А...А...Анатолий Максимович?

— Да. Приятно, что вы помните мое имя-отчество.

— Как это «помните»? Вас вся страна знает и каждый день слушает!

Гольдберг скромно улыбнулся и потупился. Ему явно понравились мои слова. Я рвался сказать что-нибудь еще поприятнее, но не говорить же в глаза, что «вы, мол, самый популярный голос в России» или «как вы замечательно выступаете». И придумал.

— Хотите, расскажу, как вас слушает рабочий класс?

Гольдберг буквально просиял.

— Конечно, конечно, я об этом ничего не знаю.

И я стал рассказывать, что когда работал мастером в цехе моторов Завода малолитражных автомобилей, ко мне почти каждый день подходил кто-нибудь из моих молодых рабочих и спрашивал: «Мастер, ты вчера Би-би-си слушал?» Я неизменно отвечал «нет» из перестраховки и в ответ слышал что-нибудь вроде: «Ну и зря — во там один еврей дает!»

Гордон Клаф весело рассмеялся — но не Гольдберг. Тот, напротив, нахмурился и сухо спросил:

— А почему «еврей»?

Вот те раз! Ну как, говорю, почему? Вы же Гольдберг, это еврейская фамилия. Вы замечательно говорите по-русски, но произношение у вас еврейское. Рабочие знали, что я еврей, и хотели сделать мне приятное...

— Вы думаете, у меня еврейский акцент? — уже совсем злобно спросил Гольдберг.

Я мямлил, что нет, не акцент, но так, общее звучание, интонация, в России это очень чутко воспринимают... Гольдберг замолчал и уткнулся в тарелку. Больше за время обеда он не произнес ни слова. Гордон делал героические усилия, чтобы как-то спасти положение, но не преуспел. Я был буквально в отчаянии.

Может быть, отчасти из-за этого катастрофического обеда я отклонил предложение Русской службы Би-би-си поступить к ним на службу. Перспектива ежедневно встречаться с Анатолием Максимовичем меня не радо-

вала. Вместо этого я поступил на радио «Свобода» и прошел там путь от лондонского корреспондента до главного редактора. Об этом периоде моей жизни — потом, а сейчас, пожалуй, закончу рассказ о покойном Гольдберге, царство ему небесное.

Как легко догадаться, мы с ним долго не виделись. Были встречи случайные — у кого-нибудь в гостях или в коридоре Би-би-си, куда приходилось заходить по делу. Гольдберг здоровался, иногда даже спрашивал «как поживаете», я любезно отвечал, и на этом кончалось. Но вот, через тринадцать лет после «того» обеда, я вернулся в Лондон из Мюнхена, где работал последние два года (1977-79), потому что со «Свободы» ушел. И был принят на Би-би-си, где мало-помалу восстановил с Анатолием Максимовичем отношения. Он оказался совсем не таким, каким предстал передо мной в 1966 году.

Как личность, Гольдберг был скрупулезно честен, наивно идеалистичен, поразительно щедр и открыт. Молодежь с Би-би-си знала, что у него всегда можно перехватить денег до полочки. Он давал моментально и никогда не спрашивал долгов.

Когда Гольдберг скончался, и вскрыли его стол, в одном из ящиков оказалось около двухсот фунтов стерлингов мелкими купюрами — это был его «обменный фонд». Из него он давал в долг, в тот же ящик бросал возвращаемые деньги. Жил он в лондонской муниципальной квартире, выстояв за ней долговременную очередь, — хотя, конечно, давно мог купить собственное жилье. Не хотел. Детей у него не было, а ему с тихой, все понимающей Эльзой никакой роскоши не требовалось. Вся его жизнь была на Би-би-си, где он проработал 35 лет — но не только на Русской службе! Феномен Гольдберга заключался в том, что он подходил к микрофону на четырех языках — русском, родном немецком, английским и французском. А знал еще пятый — мандарин, потому что жил некоторое время в Китае. Зайдя к нему в кабинет, можно было увидеть Анатолия Максимовича за чтением «Женьминжибао». Немудрено, что на Би-би-си он был живой легендой, — как объяснимо и то, что он,

единственный из всех, получил королевскую награду — медаль Британской империи. Медаль эту, как положено, вручала ему королева, и Гольдберг был вне себя от счастья. В любой момент он был готов снова и снова рассказывать, как все происходило в Бэкингемском дворце.

При всем этом Анатолий Максимович Гольдберг был... социалистом! Тут и семейные корни — его ребенком привезли из России в Германию родители-социалисты, и убеждение, что поскольку семья потом бежала от гитлеровцев, а Советский Союз сокрушил гитлеровскую Германию, социализм даже советского толка не может быть таким уж безнадежно плохим. Гольдберг знал, конечно, о всех ужасах советского режима, но твердо верил, что его можно исправить. Этим он в своих выступлениях и занимался; уговаривал московских вождей, что нельзя же так, надо вести себя приличнее, тогда и отношение Запада к СССР изменится. Нам, российским сотрудникам Би-би-си, было ясно, что Гольдберг абсолютно не понимал природу советского режима, но спорить с ним, человеком-легендой, было бесполезно.

Летом 1968 года Гольдберг уверенно говорил всем, кто желал это слушать, что советские войска не войдут в Чехословакию. Моя жена, прекрасно понимавшая, что войдут, заспорила с ним на чьей-то вечеринке, но он величественно молвил, «вот увидите» и прекратил разговор. Вспомнил ли он об этом разговоре 21 августа того же года? Не знаю.

Гольдберг неимоверно страдал, когда по его идеализму наносили удары. Первый такой удар — и очень сильный — нанес Солженицын. В 1974 году, после изгнания из России, Солженицын прожил несколько дней у покойного Генриха Белля в деревне Лангенбройх в Эйфельских горах. Я был там от радио «Свобода» вместе с сотрудником Би-би-си священником Яном Сапиетсом. Александр Исаевич принял в доме только его — армия журналистов топталась на заднем дворе. И признался Сапиетсу, что любил слушать Би-би-си, однако выключал, когда начинал говорить Гольдберг. «Он

— все равно, что московское радио», — не совсем справедливо сказал писатель. Но доля правды в этой фразе была, и на Гольдберга, до которого слова докатились, было жалко смотреть.

В другой раз приехал на Би-би-си корреспондент «Литературной газеты» Симонов. Попросил интервью у Гольдберга, тот охотно с ним побеседовал. Потом в «Литгазете» появилась мерзкая статья Симонова о Русской службе Би-би-си. Там, в частности, говорилось, что Гольдберг, «маленький крючконосый человечек с бантиком», смеет поучать советских людей, как им строить свою жизнь. Анатолий Максимович переживал так, что я даже принялся его утешать — это было уже после моего прихода на Би-би-си. Я сказал ему, что таким отзывом грязного советского пропагандиста гордиться надо — это ведь значит, что вы у них бельмо на глазу. Гольдберг только затряс головой — принять такую логику он был не в состоянии.

... Однажды мы — Гольдберг, еще трое сотрудников службы и я — обедали в столовой (эту столовую «миниправды», дальний конец которой тонул в испарениях капустного супа, описал в романе «1984» Джордж Оруэлл, когда-то работавший в Би-би-си; теперь она выглядит совсем иначе). Я рассказал по какой-то ассоциации старый советский анекдот о том, что из трех качеств — ума, честности и партийности — Господь Бог разрешает человеку иметь только любые два. Если ты честный и умный, то значит беспартийный, если умный и партийный — значит, нечестный, а если честный и партийный — то дурак. Все засмеялись. Молчал только Гольдберг. Потом так случилось, что коллеги ушли, и мы остались вдвоем. Тут Гольдберг вежливо сказал:

— Это заняло бы много времени, Леонид Владимирович, но я мог бы доказать, что можно быть и честным, и умным, и коммунистом.

Не подумав, я ответил глупо и оскорбительно:

— Для этого, боюсь, не хватило бы всей вашей жизни.

Через три недели Гольдберг умер от инфаркта. Я до сих пор не могу себе простить дурацкого выпада: все

равно ведь спорить с Гольдбергом было бесполезно — так зачем понадобилось огорчать старика, которому оставалось так мало на этом свете...

Виктор Франк

Но вижу, что опять залетел далеко вперед. Не могу обещать, что это не повторится; судьбы людские разворачиваются во времени, а эти записки — главным образом о людях, встреченных на жизненном пути.

Как я уже сказал, меня «вербовали» два работодателя — Би-би-си и радио «Свобода». Так познакомился я с директором Лондонского отдела «Свободы» Виктором Семеновичем Франком — сыном религиозного философа Семена Людвиговича Франка, одного из авторов пророческого сборника «Вехи». Семен Франк был выслан из России в 1922 году на знаменитом «пароходе русской интеллигенции». Ленин, выбросивший из страны цвет интеллигенции, наверное еще не подозревал, что спасает этим людям жизнь. Франк окончил свои дни в 1948 году почетным профессором Оксфордского университета.

Его сын Виктор Семенович, мой первый наниматель, к тому времени прожил в Англии тридцать пять лет. Он был превосходным радиожурналистом и стопроцентным английским джентльменом. Спокойный, доброжелательный, всегда отлично одетый, с великолепным чувством юмора, говоривший по-английски без акцента, Виктор Франк был в Лондоне «своим».

В гостиной респектабельного Реформ-клуба, где он давным-давно состоял, многие, наверно, удивились бы, узнав, что «мистер Фрэнк» каждый день говорит по-русски у микрофона.

Когда мы повстречались — конечно, за обедом в его клубе, куда я не без робости явился, — ему было 56 лет. Еще жива была его мать, Татьяна Сергеевна, вдова профессора Франка. О ней обязательно нужно рассказать, но пока продолжу о Викторе.

В свое время он был директором Русской службы Би-

би-си, но в начале пятидесятих годов, когда стала готовиться к выходу в эфир радиостанция «Свобода» (она тогда называлась «Освобождение»), и Виктор Франк без колебаний оставил свой административный пост, чтобы сидеть не за столом, а у микрофона. Он, впрочем, никогда не был просто администратором, он публиковал интересные статьи — главным образом о русской литературе. Его статья о Пастернаке, «Водяной знак», считалась в эмиграции классической. Виктор Семенович также много переводил с английского. Он, в частности, перевел «Портрет художника в юности» Джемса Джойса, замечательную книгу американского профессора Крейна Бринтона «Идеи и люди», фундаментальный труд британского профессора Леонарда Шапино «Коммунистическая партия Советского Союза» (я удостоился быть редактором этого перевода).

По предложению Франка я стал писать передачи для радио «Свобода», а затем и поступил в штат Лондонского отдела. Работа в этом маленьком отделе, где, кроме нас с Виктором, был только еще один корреспондент, упоминавшийся выше Максим Никольский и американка-секретарша Лора, стала, возможно, самым счастливым периодом во всей моей долгой жизни. День за днем длился интеллектуальный пир: общение с Виктором Семеновичем и его многими русскими и английскими друзьями, один другого интереснее.

Тибор Самуэли

Однажды, придя на работу, я застал у Франка приземистого, очень широкоплечего, «квадратного» человека с трубкой. Я сказал «гуд морнинг», а человек улыбнулся и ответил по-русски, глядя на меня с нескрываемым любопытством:

— Ну, давайте знакомиться. Вас я знаю как зовут, а меня Тибор Самуэли.

Тибор Самуэли, Тибор Самуэли... Что-то давно слышанное или читанное звучало в этом имени. Но что именно — я не мог вспомнить, а спрашивать было как-то

неловко. Но сразу же, с первых слов, я понял, что этот человек знает о России куда больше меня. И неудивительно. Передо мной сидел профессор русской истории, подполковник Советской армии, член Консервативной партии Великобритании, племянник одного из вождей венгерской революции 1919 года, тоже Тибора Самуэли — вот откуда знакомое звучание имени, из старых-престарых газет: Бела Кун, Тибор Самуэли, Евгений Варга...

История жизни Тибора — это целая эпопея и небольшую книжку о нем издали после его трагически ранней смерти. Венгерская революция 1919 года прожила недолго. Но у ее вождя Бела Куна уже был глава службы безопасности, второй человек в революционной иерархии. Именно его отправил Бела Кун в Москву на празднование Первого мая. Есть снимок: Красная площадь, трибуна, на ней Ленин и затянутый в кожу молодой Тибор Самуэли. Дядя моего нового лондонского знакомого.

Когда венгерская революция провалилась, ее главарям дали бежать через австрийскую границу. Всем, кроме заплечных дел мастера Тибора Самуэли, — его прикончили.

Родившийся уже после этих событий племянник, названный в честь дядюшки Тибором, был «коминтерновским ребенком». Его отправили учиться в Англию, по возвращении в Россию дали полный «зеленый свет».

Когда коминтерновцев стали в тридцатые годы уничтожать, Тибор был еще слишком мал. Он окончил исторический факультет Московского университета, в армию пошел сразу офицером, быстро поднялся в чинах. После подавления следующей венгерской революции, в конце 1956 года, его послали в Будапешт — ректором университета. Уже тогда он очень много знал о советском режиме и понимал его природу.

В начале шестидесятых годов Тибор сумел сделать так, что его с семьей послали в Гану — основывать партийную школу у Кваме Нкрумы. Оттуда он без большого шума бежал в Англию. Здесь по-настоящему развернулся его талант журналиста и историка. Новопри-

бывший иммигрант стал крупным идеологом Консервативной партии, получил еженедельную колонку в журнале «Спектэйтор», начал серию бесед по радио «Свобода» об истории советских органов безопасности. Это он открыл, что прообразом революционера Ривареса в романе Этель Войнич «Овод» послужил британский агент Сидней Рейли, расстрелянный чекистами в двадцатых годах. Конфуз был невероятный. Незадолго до того Борис Полевой встречался в Нью-Йорке со старушкой Войнич и написал умилительный очерк о писательнице, создавшей любимую книгу советской молодежи, роман «Овод» об отважном революционном герое. А тут вдруг... И бедный Полевой, в соавторстве с некоей Таратутой, дал Тибору Самуэли, как было принято, «достойную отповедь» на страницах «Литгазеты». Ох как радостно смеялся Тибор! Он немедленно поместил еще одну статью в «Спектэйторе», озаглавленную «Овод жалит вторично» — с неопровержимыми фактами. А за ней — страшный рассказ о самом Борисе Полевом, который приехал в Америку сразу после смерти Сталина и на вопрос Говарда Фаста, «что случилось с моим другом поэтом Львом Квитко», ответил, что Квитко жив-здоров, живет от него через площадку, и он, Полевой, виделся с ним перед отъездом. Квитко был расстрелян в августе 1952 года, и Полевой давно об этом знал...

Тибор, в отличие от большинства эмигрантов, очень интересовался британскими делами, ощущал себя здесь дома и превосходно знал страну. Однажды, когда я рассказал ему про мои первые дни в «Челси клоистерс», он расхохотался и поведал мне, что эти «кельи» служили пристанищем дорогих проституток, водивших туда богатую клиентуру. Вот ведь какими красавицами любовался я в первые дни! Самуэли одобрительно добавил, что контрразведка здорово выбрала мое первое местожительство: искать меня в таком месте вряд ли пришло бы кому-нибудь в голову.

Тибор сделал для радио «Свобода» девяносто три беседы об истории советских органов безопасности. Я с нетерпением ждал его прихода на каждую запись: хоть

и знал я кое-что об этом ведомстве, но беседы Тибора открывали все новые и новые имена и события, о которых я за свои сорок лет советской жизни не имел и понятия.

А потом случилась трагедия. Во время записи одной из бесед у Тибора вдруг пресекся голос. Он выпил воды, посидел с минуту перед микрофоном, потом, сделав усилие, заговорил снова.

Когда он вышел из студии, я увидел, что он за неделю осунулся и как-то поник. Сказал неохотно:

— Что-то со мной не того...

Четыре месяца спустя он скончался от рака, не дожив до пятидесяти лет.

Именно он, Тибор, впервые привел меня в Высшую школу экономики и политических наук Лондонского университета, где по вторникам проходил ставший ныне легендарным семинар профессора Леонарда Шапиро. Лучшие политологи мира считали выступление на этом семинаре высокой честью — и в течение нескольких лет я не пропустил ни одного вторника. Сам профессор — автор капитального труда «Коммунистическая партия Советского Союза» и многих других блестящих работ — на семинаре не выступал, а сидел рядом с докладчиком и потом в своей обычной, очень скромной манере, тихим голосом, задавал тон дискуссии.

В небольшой аудитории, на четвертом этаже, собиралось человек сорок, редко больше. По британской традиции, они никогда не ораторствовали, не кичились своей эрудицией или, тем более, своим положением. Но я скоро понял, куда меня допустили — благодаря Тибору Самуэли и Виктору Франку. Там часто бывал, например, Роберт Конквест, как раз в то время работавший над книгой «Большой террор»; там почти всегда присутствовал сэр Джон Лоуренс — в военные годы редактор издававшейся в Москве газеты «Британский союзник». Там познакомился я однажды с человеком, представившимся просто как «Майкл». Через несколько вторников докладчик, американский профессор, вдруг сказал, кивнув в его сторону:

— Как сообщил преподобный Майкл Бордо...

Преподобный? Это в Англии обращение к священнику. После семинара я подошел и нерешительно спросил:

— Майкл, вы «преподобный»?

— Я простой священник.

Майкл Бордо, англиканский священник, выпускник Оксфордского университета, певец лондонского Филармонического хора и судья Уимблдонского теннисного турнира, ныне возглавляет Кестонский институт в Оксфорде, изучающий отношения религии и государства. Благодаря ему я стал членом Совета этого института и остаюсь таковым вот уже четверть столетия.

Однажды темой семинара был Союз писателей СССР. Доклад сделал молодой доцент Университета Глазго Мартин Дьюхерст. Из этого доклада я, работавший и печатавшийся в российских журналах, узнал о Союзе писателей больше, чем за всю жизнь. Потом оказалось, что Мартин, несмотря на молодость, считается одним из крупнейших в мире авторитетов по русской и советской литературе. Мы подружились. Чем дальше, тем больше поражал меня Мартин глубиной своих знаний и сверхчеловеческой работоспособностью. Однажды я послал ему в Глазго шуточное рифмованное поздравление с Рождеством, заканчивавшееся словами: «Так пусть сейчас немного отдохнет герой антисоветского союза». Немедленно пришел стихотворный ответ, он начинался так:

«Давно хочу поехать в Лондонград...»

Приходил на семинар — и однажды выступал там — незабвенный Макс Хэйуорд. Я познакомился с ним, правда, еще до того, как стал посещать семинар Шапиро, и о нашем знакомстве, вообще о Максе Хэйуорде, нужна отдельная глава. Пусть она так и называется:

Макс Хэйуорд

Еще до начала моей работы в лондонском корпункте «Свободы» Виктор Франк познакомил меня с совладелецей издательства «Харвилл» Маней Харрари. Я начал

тогда писать книгу о России «Россия без прикрас и умолчания», и Виктор думал, что это знакомство будет полезным (книга затем вышла в другом издательстве, но знакомство было восхитительным). Как понятно из ее имени, Маня была российского происхождения. Ей было под семьдесят, шестьдесят из них она прожила в Англии, получила прекрасное образование и настолько не забыла русский язык, что даже участвовала в переводе «Доктора Живаго» на английский.

Я был приглашен в большой богатый дом, расположенный в самом аристократическом уголке Лондона, — в укромном тупичке возле Палас-стрит, Дворцовой улицы, по соседству с королевским дворцом. Слуга открыл на звонок и проводил на третий этаж, где в маленьком кабинете, заваленном горами книг и бумаг, обитала стройная пожилая дама в неизменном черном свитере и джинсах. Она была необыкновенным собеседником — с блестящим юмором, быстрой реакцией и умением слушать. Было видно, что она много работает, и в первое посещение я очень боялся «пересидеть». Но когда стал прощаться, Маня как-то очень просто и дружески сказала:

— Если вы куда-то торопитесь, задерживать не смею. Но если нет, то, пожалуйста, посидите еще. Давайте я буду сама говорить, когда нам прощаться.

Так у нас и пошло. Несколько раз я слышал:

— Ну вот, через пятнадцать минут, увы...

И уходил без малейшей обиды — обычно с приглашением на следующий визит.

Во время одного такого визита, дело было днем, по вечерам Маня до тех пор ни разу меня не звала — я застал у нее гостя. В уголке кабинета на низкой стопке книг, словно на корточках, сидел небрежно одетый человек лет, наверно, пятидесяти, с веселым, чуть удивленным взглядом. Он начал подниматься.

— Познакомьтесь, это Максим Максимович, — сказала Маня. — Да не вставляйте, Макс, люди свои. Устраивайтесь, Леня.

— Очень рад, давно хотел вас видеть. — Максим

Максимович говорил по-русски практически без акцента, хотя и медленнее, чем мы с Маней.

Я порадовался еще одному русскому знакомству и спросил, давно ли он из России. Максим Максимович перекинулся взглядом с Маней и с еле заметной улыбкой ответил, что восемнадцать лет. Выходило, с сорок восьмого. Кто же это мог выехать в сорок восьмом году в Англию?

— Вы, говорят, срок тянули? — спросил Максим Максимович. — В каком подзалетели?

Маня удивленно слушала странные слова.

— В сорок седьмом.

— У-у! И долго в тюрьге до ИТЛ?

— Полгода.

— На пайке или с кошеррами?

— Все бывало...

— Половинили цветные?

— Не без того... Но вы-то сами где наблатькались?

Максим Максимович вдруг улыбнулся и покачал отрицательно головой.

— Нигде. Я фряер, леплю горбатого от фонаря.

— А феня откуда?

Улыбка стала еще шире.

— Так, знаете... По литературным источникам.

С крайним изумлением я спросил, из каких он краев.

И услышал:

— Из Йоркшира.

— Нет, я спрашиваю, где в России жили.

— Жил-то я в Москве. Но не очень долго.

— То есть как?..

Маня не выдержала:

— Не морочьте человеку голову!

И мне:

— Это же Макс Хэйурд, чистый англичанин. В России работал британским дипломатом. Хотел бы там всю жизнь торчать, но не пускают даже теперь, через восемнадцать лет. Слишком много о них знает.

Научный сотрудник Оксфордского университета Макс Хэйурд был, несомненно, самым интересным челове-

ком, встретившемся на моем жизненном пути, — не смотря даже на другую совершенно удивительную встречу, выпавшую мне на долю позже в том же доме (об этом через несколько страниц).

Еще студентом Макс проявил фантастические способности лингвиста, быстро «покончив» с немецким, французским, латынью и греческим (новогреческим тоже — он одно время был «грекоманом»), взялся за систематическое изучение славянских языков и выучил их все. Все! Специально разъезжал по Югославии и Болгарии, штудирова «южную группу». Отлично, с хорошим произношением, владел польским и чешским, знал словацкий. Но главной целью Макса стал русский язык — и в нем он, можно сказать, достиг совершенства. Работая в британском посольстве в Москве, завел много русских друзей и за это поплатился: изгнали навечно. Российские друзья наградили его, впрочем, не только знанием языка, но и склонностью к выпивке. Тоска по России эту склонность только усиливала.

В 1962 году прогремел на весь мир «Один день Ивана Денисовича». Через три дня после появления одиннадцатого номера «Нового мира» Маня Харрари вручила Максу журнал и сказала:

— Две недели.

Макс заперся у себя в Оксфорде. Утром он открывал бутылку виски (0,7 литра) и к обеду ее опустошал. Ложился на пару часов, вставал, откупоривал вторую и к ночи заканчивал и ее. На следующий день все повторялось. Две недели спустя он положил Мане на стол блистательный, самый лучший из всех, перевод повести Солженицына.

Она, конечно, поручила Максу перевод не просто по наитию. За четыре года перед этим они вместе перевели «Доктора Живаго» — и это тоже единственный полноценный перевод — и прозы Пастернака и его стихов в конце романа. (К несчастью Макс тогда тоже много пил.) Уже в мою бытность в Англии Хэйуорд перевел две книги Надежды Мандельштам, но уже без алкогольного сопровождения.

Еще незадолго до нашей первой встречи у Макса сильно пошатнулось здоровье. Врачи предъявили ультиматум: пьянство или жизнь. Макс «завязал» и потом ни разу не сорвался. Однако, «завязал» поздно: организм был подточен, и через несколько лет его внезапно, меньше чем за месяц, унесла скоротечная саркома.

Я виделся с Максом в Лондоне, часто говорили по телефону, бывал я у него в колледже Святого Антония в Оксфорде, слушал Макса на конференциях в Лондоне и Мюнхене. И всякий раз поражался глубине и систематичности его знаний.

Хэйуорд понимал советскую систему так, словно сам прошел все круги ее ада. Он не ошибался даже в мелочах, но был великодушен к ошибкам других. Помимо доброты характера, тут была и еще причина; Макс по себе знал, как невероятно трудно человеку, рожденному в свободном обществе, проникнуть в подлинную ткань коммунистической власти. Однажды он долго отсутствовал, а по приезде позвонил и сказал:

— Вот, ездил по диктатурам. Был в Греции, Испании и Португалии (в Греции тогда властвовали «черные полковники», в Испании — Франко, в Португалии — Салазар). — Не то. Совсем не то! Куда им до нашей родной...

В последние годы жизни Макс Хэйуорд был, помимо основной работы, главным редактором нового оксфордского англо-русского словаря. А весной 1970 года председательствовал на симпозиуме по советской цензуре в Лондоне, в котором выпала честь участвовать и мне. Об этом симпозиуме издана книга, долгие годы остававшаяся главным справочным пособием по данной «невеселой» теме.

За громадным круглым столом в банкетном зале лондонских «Коннот румз» сидели писатели Аркадий Белинков с супругой Натальей, Анатолий Кузнецов, Юрий Демин, кинорежиссер Игорь Ельцов и даже известный скрипач Михаил Гольдштейн, ас «западной стороны» — Виктор Франк и несколько блестящих молодых славистов и политологов, в том числе Питер Реддауэй, Мартин Дьюхерст (он потом был редактором книги о симпозиу-

ме) и маститая профессура — увы, покойные Алек Ноув из Глазго, Леопольд Лабедз, Альберт Перри и другие.

Отдельные сессии были посвящены цензуре в литературе, кино и музыке. Думаю, что замечательные выступления Аркадия Белинкова и Анатолия Кузнецова стоят того, чтобы их и сегодня опубликовать в России.

Этому симпозиуму предшествовал ряд неожиданных событий, в которых мне пришлось принять самое активное участие. Осенью 69 года Макс Хэйурд получил в своем оксфордском колледже Св. Антония средства на проведение симпозиума и заранее разослал приглашения. Наибольший интерес вызывало, конечно, участие Аркадия Белинкова и Анатолия Кузнецова. Но если с Кузнецовым трудностей не было: он жил в Лондоне, то приезд из Америки Белинковых был делом куда более сложным. Аркадий страдал тяжелым заболеванием сердца, ему была сделана операция (после повторной он, к несчастью, умер — в мае 70-го). Тем не менее, Белинков очень хотел побывать в Италии, и было решено, что они с Наташей туда полетят перед симпозиумом, проведут там несколько дней, а оттуда — в Лондон. Здесь Белинкову предстояло выступить на семинаре Шапиро, а потом принять участие в симпозиуме.

По совершенно случайному совпадению я тоже был в Италии перед симпозиумом — читал лекции на севере страны, возле Бергамо. Встречаться в Италии мы с Белинковыми не собирались, хотя часто переписывались и знали, что нам предстоит увидеться в Лондоне.

И вдруг вечером у меня в Сериате — десять километров от Бергамо — звонит телефон, и Макс Хэйурд дрожащим от волнения голосом говорит: «Леня, они разбились».

Оказалось, что Аркадий и Наташа взяли в Риме напрокат автомобиль. Американская автошкола научила Аркадия водить только машины с автоматическим переключением передач, а все маленькие европейские автомобили в Риме были с ручным. Оставалась единственная возможность — взять примитивный голландский «ДАФ» с ременным вариатором вместо коробки передач.

Почти сразу после выезда из Рима на север — хотели попасть во Флоренцию — их стали обгонять на автостраде со всех сторон. Аркадий видно сильно разволновался. Ему показалось, что какой-то фургончик — «Фольксваген» прижимает его к обочине. Он нерасчетливо повернул руль, и машина боком въехала в придорожную скалу. Оба были ранены. У Аркадия — перелом ноги, у Наташи — сильные ушибы и царапины на лице. Итальянцы быстро их подобрали и положили в католическую больницу городка Мальяно Сабино.

Я тотчас выехал в Рим, нашел знакомых американцев, и мы на двух «фиатах-600» прибыли в больницу. Там и произошло мое знакомство с Белинковыми. Оба они моментально объявили, что желают лететь в Лондон, невзирая на ранения. Дипломатические переговоры с монахинями в больнице закончились подписанием документа, что всю ответственность за возможные последствия пациенты берут на себя.

Тут возникла большая трудность. С негнущейся ногой, в гипсе, Аркадий не мог уместиться в маленьком «фиатике». Тогда один из американцев уступил ему место, и Аркадий занял все заднее сиденье машины, сидя боком и держа загипсованную ногу на опущенной спинке переднего сиденья. Мы втиснулись во второй «фиат» и покатали в Рим. В тот же день полетели в Лондон, причем стюардессам британской авиакомпании пришлось освобождать для Аркадия место в первом ряду и долго устраивать его ногу. Но британцы в таких случаях словно соревнуются в альтруизме и доброжелательности.

Было поразительно смотреть, как с первой минуты «нашли друг друга» Белинков и Хэйурд. Особенно радовался Белинков, уже почти изверившийся, что на Западе иностранца с подлинным пониманием русской литературы и ее современного этапа. Был, правда, один великолепный специалист в Америке — профессор Морис Фридберг, — но он тогда работал в штате Индиана, и встречаться с ним Аркадий мог только урывками. В общем, стали Макс и Белинков уеди-

няться при любой возможности, а мы старались не нарушать их упоенных бесед. Мне не забыть выражения блаженства на лице Хэйурда, когда Белинков начал лекцию на симпозиуме Шапиро такими (цитирую по памяти) словами: «Вы думаете, что Шведская Академия присудила Нобелевскую премию Пастернаку за крупные достижения в области прозы и поэзии, как было сказано в постановлении? Ничего подобного. На самом деле шведы хотели отомстить советскому руководству за поражение под Полтавой в 1709 году. Именно такую мысль высказал на собрании писателей в 1958 году Борис Слуцкий, и Пастернака, понятно, сразу же исключили».

...И Белинкову и Хэйурду недолго оставалось тогда жить на свете. Сошел в раннюю могилу и Слуцкий, весь остаток жизни мучившийся из-за своей реплики на том собрании. И нет уже с нами Анатолия Васильевича Кузнецова, с которым я был, можно сказать, неразлучен в последние десять лет его короткой жизни. О нем — следующая, тоже отдельная глава.

Анатолий Кузнецов

Совсем незадолго до моего бегства из Советского Союза, весной 1966 года, был вечер журнала «Юность» в Доме журналиста в Москве. Ответственный секретарь «Юности» Леопольд Железнов рассказывал о «портфеле» журнала — о рукописях, предстоящих к опубликованию. И вдруг сообщил, что готовится к печати роман-документ Анатолия Кузнецова «Бабий яр», что в редакции эту рукопись все читали — и плакали. «Оказывается, — сказал Железнов, — Анатолий Васильевич в детстве жил в оккупированном Киеве недалеко от Куреневки и был прямым свидетелем уничтожения евреев нацистами. Его книга потрясает. Вот первые слова рукописи: «Все в этой книге — правда».

Помню, как я изумился. Кузнецов! Прославляемый на всю страну автор «Продолжения легенды». Герой судебного процесса против французских издателей — как

было сказано, нагло извративших роман. Обласканный и приближенный. И вдруг такая тема — Бабий яр.

Книга появилась в «Юности» лишь через два с лишним года после того вечера. Прочел я ее уже в Англии. Но еще до того, в апрельском номере журнала «Новый мир» за 1968 год, увидел рассказ Анатолия Кузнецова «Артист миманса». И написал о нем рецензию (журнал «Посев», июль того же года). В таком антикоммунистическом журнале как «Посев» нельзя было сильно хвалить советского писателя — по знаменитому принципу Августа Бебеля это могло ему сильно повредить. И я был осторожен: «Анатолий Кузнецов — не политик, не идеолог, он просто очень одаренный писатель. Он так написал, ибо так чувствовал и, я уверен, отнюдь не намеревался вкладывать в приведенный выше диалог (до того была цитата из рассказа — Л.В.) характеристику всего общества, в котором имеет несчастье жить. Но характеристика получилась сама — и, Боже, до чего выпуклая! Тысячи тонн бумаги извела советская пропаганда, чтобы доказать, что отчуждение между людьми существует лишь на «прогнившем Западе», а в Советском Союзе «человек человеку друг, товарищ и брат», у нас, мол, «один за всех и все за одного». Но вот честный писатель берет перо, живописует один маленький уголок советской жизни — и что остается от всей одуряющей пропаганды? Наружу выступает один-единственный закон, который приходится соблюдать миллионам людей, чтобы как-то выжить под этим режимом. Закон «человек человеку волк».

...Я выписал сейчас с пожелтевшей страницы этот отрывок, собрался ставить журнал тридцатилетней давности на полку — и стало немыслимо писать дальше. Надо посидеть, собрать воспоминания, они толпятся, перебивают одно другое. Десять лет вместе. Неужели все это правда было? Да, «все это — правда».

...Летним вечером 1969 года мне позвонил до крайности взволнованный Дэвид Флойд из «Дейли телеграф». Сказал, что случилось нечто странное. Какой-то русский, по выговору явно из Советского Союза, отку-

да-то достал его номер телефона и сказал, что немедленно хочет встретиться по важнейшему делу. Дэвид пригласил его к себе, но тот ответил, что не доберется — он в центре Лондона.

— Возьмите такси, — сказал Дэвид. — Деньги у вас есть?

— Денегу меня много, — сказал незнакомец. — Но как же я скажу шоферу адрес?

И вот, Дэвид стал по телефону диктовать свой адрес буква за буквой, а тот записывал. Повесив трубку, Флойд сейчас же позвонил мне, и я понял, что он напуган собственной решимостью пригласить в дом столь странного посетителя. Как мог, я заверил Давида, что у КГБ нет ни малейших оснований подсылать к нему убийцу, и попросил позвонить мне опять, когда человек объявится. Минут сорок спустя телефон зазвонил снова, и Дэвид сказал очумелым голосом:

— Анатолий Кузнецов.

— Какой такой Анатолий Кузнецов?

— Говорит, что тот самый.

— Скорее всего врет, — успокоил я моего друга. — Наверно, однофамилец, вот решил выдать себя за знаменитого писателя. Но что ему нужно от вас-то, Дэвид?

— Он хочет остаться в Англии и просит меня помочь. Может быть, приедете, Леня?

Я прыгнул в такси и ринулся в далекий Хэмпстед к Флойду. У него застал невысокого, плотного, очень спокойного с виду человека в серой куртке и в очках с выпуклыми стеклами. Человек поздоровался без улыбки, потом спросил:

— Вы кто по профессии? Где работаете?

Я сказал.

— А-а, вот оно что. А то я слышу — голос какой-то знакомый.

Я понял, что он слушал «Свободу», и в тот же миг почему-то тоже понял, что имею дело с «настоящим» Кузнецовым. Флойд молчал, предоставив мне объясняться с пришельцем, а тот вдруг сказал:

— Теперь поехали в мою гостиницу.

Мы вытаращили глаза. Это еще зачем?

— У меня там пишущая машинка осталась.

В один голос мы бросились уверять его, что завтра же бесплатно доставим ему машинку с русским шрифтом. Он дослушал, глядя в сторону, и сказал:

— Там еще теплая куртка осталась, а в нее зашиты пленки с текстом романа.

— Что ж вы ту куртку сразу не надели?

— Говорю вам, теплая она для такого дня, и надо было, чтобы мой сопровождающий ничего не заподозрил.

— Сопровождающий?!!

— А как вы думали? Литературовед в штатском Георгий Анджапаридзе.

— Так как же вы в гостиницу-то придете? Тут он вас и... Кузнецов впервые позволил себе слегка усмехнуться.

— Нет его в гостинице. И не скоро вернется. Он сейчас сидит в стриптизе, в Сохо — и уж за свои деньги досидит до закрытия.

Затем он неохотно рассказал, словно объясняя несмышленишам, что привел своего «спутника» Анджапаридзе в Сохо и посоветовал пойти в такой-то именно стриптиз («уж ты прости, Гоги, я вчера воспользовался твоим свиданием с Аланом Силлитоу и сходил: мне про это заведение еще в Москве шепнули, и оказалось здорово»). И Гоги тут же туда вошел. На самом деле Кузнецов и не думал ходить в стриптиз — просто показал своему стражу первый попавшийся и был уверен, что тот теперь долго не вернется.

С тяжелым сердцем поехали мы в машине Дэвида Флойда. Остановились метрах в пятидесяти от входа в довольно скромную гостиницу в Кенсингтоне, на другой стороне улицы, так, чтобы видеть входные двери. За ними Анатолий и исчез. Его не было минут двадцать, не меньше, и я никогда не представлял, что у меня может так колотиться сердце.

Когда я сам уходил из гостиницы «в никуда», и не было у меня даже ничего номера телефона, сердце вело себя куда спокойнее.

Мы заставили себя разговаривать. Я спросил, откуда, действительно, узнал Кузнецов про Флойда и получил его номер телефона. Не отрывая глаз от гостиничного входа, Дэвид ровным голосом, как бы чуть через силу, ответил, что Кузнецов не знал ничего и не было у него номера. А позвонил на Би-би-си и сказал оператору: «Гольдберг, Гольдберг». Его соединили, и тезка Анатолий Максимович, читавший его книги, ответил на просьбу о помощи, что в таком деле участвовать не будет, но может дать телефон журналиста Дэвида Флойда, который и по-русски говорит и сенсацию такую не упустит. (От себя добавлю: Гольдберг был, как уже сказано, социалистом, и вряд ли одобрял побег видного советского писателя. Но был он также порядочным человеком, и о разговоре с Кузнецовым никому, конечно, не обмолвился.)

Анатолий вышел, наконец, из гостиницы — в другой куртке, с портфелем. В портфеле, действительно, была портативная машинка, а в куртку были зашиты несколько катушек фотопленки с полным текстом романа «Бабий яр», увидевшего свет в России в искалеченном цензурой виде.

Позже текст был напечатан с цензурными купюрами, набранными жирным шрифтом, и эта книга остается ценнейшим наглядным пособием по методике, психологии и даже предрассудкам советских редакторов и цензоров. На лондонском симпозиуме о цензуре Кузнецов иллюстрировал свое выступление «непропущенными» отрывками, и наши английские и американские коллеги боялись дохнуть: они впервые воочию увидели механизм идеологической диктатуры.

Да, вот она, эта книга. Не удержусь, приведу надпись на титульном листе: «Леониду и Кире — моим родным, моим любимым, от всего сердца!!! Толя, 19. XI. 1970». Не только три восклицательных знака: слова «родным» и «от всего сердца» подчеркнуты тремя чертами. Весь Толя в этом — тремя.

...В первые дни была, я бы сказал, эйфорическая суэта. Газета «Дейли телеграф» опубликовала передо-

вую «Добро пожаловать, Кузнецов» и его огромную фотографию в лондонском Грин-парке, но в то же время приняла все меры, чтобы никто не мог его найти (газета опасалась, конечно, не столько советских агентов, сколько английских конкурентов).

Он несколько раз сменил место жительства. Ему быстро оформили политическое убежище, быстро связали с одним из лучших британских издательств «Джонатан Кейп». Там ему сразу выдали массивный аванс и попросили как можно скорее дать для перевода рукопись. Много часов провели мы с Толей у проектора и фотоувеличителя, просматривая и распечатывая пленки. У себя в Туле, готовясь к побегу, он терпеливо фотографировал полный текст рукописи — семьсот с лишним страниц! Поражало хорошее качество съемки — я еще не знал тогда, что Бог наградил его целым сгустком талантов. Он был писатель, способный художник, профессиональный танцор, выступавший в мимическом ансамбле Киевской оперы (оттуда и рассказ «Артист миманса») — и, кроме всего этого, обладатель золотых рук, умевших делать любую работу. Для фотографирования текста он смастерил из старого увеличителя прочный станок с горизонтально укрепленным аппаратом «Зенит» и равномерным освещением. Снимал только ночами, станок прятал в шкафу отдельно от аппарата, готовые пленки закапывались в саду. Все двадцать с чем-то пленок мастерски зашил перед отъездом в ватную куртку.

Дэвид Флорид быстро перевел роман на английский, и книга столь же быстро вышла — под аккомпанемент восторженных отзывов, но и злобных выпадов «друзей Советского Союза», которых в Англии, да и вообще на Западе, всегда хватало.

Роман был набран тремя шрифтами: текст, опубликованный в журнале «Юность», — обычным корпусом, цензурные изъятия — жирным, а добавления, которые Кузнецов, оказывается, сделал между публикацией и выездом из России, — в квадратных скобках. И вот, один «левый» литературовед, университетский профессор,

написал гаденькую статью, начинавшуюся словами: «Мне не доставляет удовольствия разоблачать автора...» Дальше он заявлял, что никаких пленок Кузнецов не привез, а просто добавил «антисоветчины» уже после появления в Англии. Тут я сделал глупость: перевел статейку Толе, не в силах скрыть возмущения. Ничего не сказав, он сел в поезд и отправился на юг, в университет, где преподавал (по сей день преподает) автор статейки. И взял с собой в качестве переводчика нашего общего знакомого с Русской службы Би-би-си — знал, наверное, что я бы костыми лег, а не дал ему поехать. Размотал перед профессором пленки, стал убеждать, что тот, мол, ошибся. Нельзя, конечно, было делать ничего похожего. Англичанин ему высокомерно нагрубил. Когда я узнал об этом и на Толю набросился, он ответил совершенно неожиданно:

— Я какой-никакой, а писатель. Я людей изучаю. Мне этот человек сразу показался интересен, вот я с ним и поговорил.

Мне оставалось лишь пожать плечами. Теперь думаю, что была у Толи еще одна причина встретиться с клеветником. Он хотел избавиться от лжи, окружавшей его всю прошлую жизнь. Он верил, что, попав в нормальное общество, сможет говорить правду. Этим же было вызвано сенсационное интервью Анатолия с Флойдом, опубликованное в «Санди телеграф», в нем Кузнецов подробно рассказал о своих связях с КГБ, о том, как с ним «работали», как он решил согласиться на «сотрудничество», лишь бы позволили выехать за границу. Забавно и грустно, что и это покаяние подхватили во вред ему те же «друзья Советского Союза», обычно отрицавшие «выдумки» о советской тайной полиции. Они приумолкли на время лишь после того, как грянул «Архипелаг ГУЛАГ».

...Суматоха первых дней, наконец, улеглась, и Кузнецов стал мало-помалу осваиваться. Быт давался ему трудно. Прекрасно владевший, помимо русского, украинским и польским языками, он совсем не знал английского и долго не приступал к его изучению — может быть, про себя опасался, что ослабеет, притупится его

родная речь. Как бы там ни было, при любом своем выходе в город, в любом общении с местными людьми, он нуждался в помощи. И практически единственным помощником был я. Он, бывало, звонил мне на лондонский корпункт радио «Свобода» и просил позволения приехать, после чего мы быстро шли за покупками. В продовольственных магазинах он покупал все больше консервы — готовить не любил. И если какие-то консервы ему нравились, он накупал множество банок сразу. Когда хотелось есть, подходил к холодильнику, садился перед ним на корточки и поедал понравившийся продукт. Потом делал себе кофе: полстакана твердого растворимого, полстакана воды — нередко холодной. И выкуривал две пачки сигарет в день.

Не только я и моя жена, но все, кто знал о Толином образе жизни, были в ужасе. Но в чем-то его убедить было очень трудно. На мои страстные уговоры он миролюбиво отвечал: «Я хохол упрямый — меня не уговоришь». К слову замечу, что киевлянин Толя говорил на чистейшем, интеллигентном русском языке, без малейшего украинского оттенка, и, кроме того, обладал абсолютной грамотностью. Через мои руки прошло потом множество его текстов — и негде было поправить запятую. Но об этом чуть позже.

Однажды он приехал ко мне в корпункт и сказал, что ему нужно купить запас курева и пару жестянок кофе, дел на пять минут. Мы вышли. На углу моей улицы был автомагазин «Хиллмэн». Кузнецов остановился у витрины и спросил: вот это хорошая машина, как ты думаешь? За стеклом стоял недавно выпущенный автомобиль «Хиллмэн-Авенджер» красного цвета, 859 фунтов стерлингов. Я сказал, что да, эту модель хвалят.

— Так давай купим, если хвалят.

— Отчего ж, — говорю. — Зайдем, закажем. Только ведь у тебя прав нет.

— Но у тебя ведь есть. Довезешь до дому, поставим, а ездить я научусь, это мне будет стимул.

— Погоди-погоди, как «довезешь»? Ты именно эту машину хочешь купить, с витрины?

— Да, — сказал он, и мы вошли. Пришлось долго объяснять продавцу, что мы желаем автомобиль сию минуту — вот этот, единственный, какой у них был. Дилер не хотел упускать покупателя, посоветовался с коллегами и согласился. Но оплата? Магазин не может сразу выдать машину по чеку, нужно, чтобы чек прошел в банке, это два-три дня,

— Какой чек? — удивился Толя. — Вот...

И достал из-за пазухи толстенную пачку денег — толстенную потому, что тогда самой крупной купюрой была десятка.

Вокруг нас собрались все служащие магазина. Откуда-то снизу привели кассиршу, поставили ей маленький столик, она благоговейно пересчитала фунты. Но тут меня отозвал в сторонку наш продавец и сказал, что ведь все равно мы не сможем прямо сейчас воспользоваться машиной: она же не застрахована, а по закону нельзя выехать на улицу без страхового полиса. Услышав перевод, Толя спросил, где ближайшая страховая компания. Она была недалеко, но я понимал, что если два иностранца придут туда с улицы и попросят немедленно оформить страховку, то цена будет умопомрачительной.

— Все равно пойдем, — сказал Толя.

Действительно, с нас содрали много, но тогда он деньги не считал. Я привел машину к нему домой и вернулся на работу. А Толя нашел украинца-инструктора вождения, взял у него обычную серию уроков и с первого раза сдал труднейший британский экзамен, причем украинец сидел сзади и переводил все, что говорил Толе проверяющий. Для сравнения скажу, что до приезда в Англию у меня было двадцать лет водительского стажа, но сдал я экзамен с третьего захода. Талант Кузнецова проявился и в этом!

После «Бабьего яра» он не издал по-английски ни одной строки. Неудержимо читал — все, что я мог достать ему по-русски: Оруэлла, Кёстлера, Джойса («Портрет художника в юности», отлично переведенный Виктором Франком), Бердяева, Шестова, Ильина, Зай-

цева, Газданова, Пастернака («Доктор Живаго»), Солженицына, Белинкова, Конквеста, Синявского, Даниэля... И все больше мрачнел. На мой осторожный вопрос, почему он не пишет, однажды ответил: «Я теперь, почитав настоящих, понял, что мне марасть бумагу нечего. А ведь думал, что писатель». Напрасно переводил я ему восхищенные рецензии на «Бабий яр», напрасно показывал собственный отзыв о его «Артисте миманса» — он только досадливо вздыхал и старался сменить тему разговора.

Так прошло несколько месяцев, но однажды, приехав в его новый дом, который миссис Флорд (ныне покойная) просто заставила его купить на полученные за «Бабий яр» деньги, я увидел у него открытую машинку с листом бумаги. Он перехватил мой взгляд и признался, что да, пытается сделать что-то совсем новое, не в стиле проклятого соцреализма. Еще месяца через полтора сунул мне в руки пачку машинописных страниц и ворчливо попросил:

— Если есть терпение — прочти это и скажи честно.

Он ушел вниз и не появлялся, пока я его не позвал. Рукопись называлась «Тэйч файф», была страниц на восемьдесят, и я не кривил душой, а отозвался без восторга. Знаете, сегодня, в дни так называемого постимпрессионизма, эта повесть, возможно и прошла бы. Во всяком случае, она была ни капельки не хуже, чем романы Саши Соколова или, скажем, Нарбиковой. Но тогда мне показалось, что Толя просто «делал модерн» без особого смысла или глубины. И он, насколько мне известно, эту рукопись никому больше читать не давал.

С течением времени деньги у него кончились. Он не жаловался, но мне было видно, как туго ему стало жить. А он как раз свел знакомство с польской девушкой Иолантой, она к нему переехала. Надо было что-то придумать, и я предложил самое естественное: работу в лондонском отделе «Свободы», которым я к тому времени заведовал. Кузнецов просто и спокойно согласился, Мюнхен, конечно, с восторгом мое приглашение утвердил и положил приличный оклад. Оставалась са-

мая «мелочь»: придумать» что Толя должен делать на волнах «Свободы». О работе лондонским корреспондентом не могло быть и речи: он не владел английским (даже пассивно, как я, когда был принят на эту должность), да и, как сказал один коллега, глупо использовать космический компьютер для выбивания чеков в лавочке.

Сейчас не помню, кто первым предложил довольно очевидную идею: дать ему полный простор, пусть читает у микрофона свои собственные «беседы писателя». Он внес поправку: «беседы Анатолия Кузнецова». Каждая радиостанция имеет расписание передач, и нужно было втиснуть Толины беседы в прокрустово ложе нашей «сетки». Мюнхенское начальство соглашалось на любой вариант, но все же беседы должны были идти в эфир с определенной периодичностью и иметь определенную — всегда одинаковую — длину.

Боюсь, что ни регулярность будущих передач, ни строго ограниченная длительность не понравились Анатолию. Он, однако, понимал ситуацию и безрадостным тоном сказал:

— Попробую.

Долгие телефонные переговоры с Мюнхеном — директором «Свободы» Фрэнсисом Рональдсом, его заместителем по организации передач Робертом Таким и главным диспетчером Матвеем Дьяковским — привели к тому, что Анатолию Кузнецову предложили выходить в эфир раз в неделю на тринадцать с половиной минут.

— С половиной? — спросил Толя иронически.

Что было делать, я подтвердил: с половиной.

Дней пять спустя он положил передо мной несколько печатных листков и страдальческим тоном сказал — как о чем-то очень досадном, но неизбежном:

— Ничего у меня путного не получилось. Ты, пожалуйста, правь как хочешь, даже переписывай — слова не скажу.

И ушел в другую комнату.

Честно скажу, я читал с волнением: вдруг, действительно, он не сумеет писать для радио? Но прочел я

блестящий, даже захватывающий короткий очерк о лондонской улице — очень точно адресованный российскому слушателю, откровенный и доверительный по тону, без единой избитой фразы. Шедевр длиной ровно в тринадцать с половиной минут, как я сразу понял по числу строк.

— Толя, иди сюда!

Он вошел. Стал на пороге, молча и хмуро. Я сказал, что негде было поправить даже запятую, что на «Свободе» выступлений такого класса еще не было. И пусть сразу идет в студию записывать беседу на пленку.

Все так же молча он взял текст и пошел записывать. На пленке оказалось еще лучше: Толя был прирожденным чтецом — с отлично звучащим голосом и естественными интонациями, без малейшего нажима или дурного актерства.

Только после того, как из Мюнхена пришел восторженный телекс, Кузнецов немного оттаял (в мою объективность он верил не особенно). Сказал, что самое трудное было выдержать точную длину — «тринадцать вот с этой самой полминутой». Он несколько раз читал текст с секундомером, пока не получилось точно сколько надо.

Анатолий Кузнецов выступал с беседами по радио «Свобода» двести тридцать четыре раза. В последние два года его работы (и жизни) я находился в Мюнхене, и он не сдавал текстов непосредственно мне. Но до самого августа 1977 года, когда я уехал в Германию, он неукоснительно приносил мне текст каждой беседы — и всегда говорил примерно одно и то же: «На этот раз ничего путного не вышло, правь сколько хочешь». Не думаю, что это было кокетство; просто он, как я уже говорил, мучился сомнениями в собственном таланте. Напрасно мучился: ни я, ни, позже, мюнхенские редакторы не поправили у него ни единой фразы.

Конечно, среди его бесед были и особенно выдающиеся — писательские очерки высокой пробы. Один такой очерк был о... грибах. Анатолий был великим грибником, он изъездил на своей машине чуть ли не пол-

Англии в поисках грибных мест и часто привозил целые багажники боровиков, подберезовиков, даже редких в Англии лисичек. Ездил он обыкновенно с ночевкой, возил с собой палатку: выходил на поиск с рассветом и успевал на работу.

Как-то раз у меня в корпункте раздался звонок, и суровый официальный голос сообщил, что сейчас ко мне явится мистер такой-то для важного «интервью». Появившийся человек в штатском показал удостоверение спецотдела британской полиции. Он стал расспрашивать, что это за учреждение, чем мы тут занимаемся. Я показал ему документы: британский отдел радио «Свобода» был зарегистрирован в Англии как отдельная компания — так положено по закону — и я был директором этой компании. Офицер подробно ознакомился с нашей деятельностью, побывал в студии, почитал нашу переписку с Мюнхеном по телексу и лишь потом спросил, есть ли у нас такой сотрудник Кузнецов — с ударением на «е». Я ответил, что есть, но сегодня он почему-то еще не пришел на работу. Полицейский попросил фотографию Кузнецова, и она, слава Богу, нашлась. В конце концов я не выдержал и потребовал объяснений. Ответ был не очень определенный, но в общем благоприятный: имел место инцидент, однако теперь он, видимо, разрешен, и мистер Кузнецов будет отпущен домой.

— Так он арестован??

— Нет, лишь задержан до выяснения.

Толя появился через несколько часов, почти веселый. И рассказал, что нашел с вечера отличное место и разбил палатку в лесу около какой-то высокой изгороди. На рассвете проснулся от наведенных на него фонарей и автоматов. Когда на своем колченогом английском объяснил, что он русский, ему велели лечь на землю и обыскали, а потом где-то рядом приземлился вертолет, и некое явное начальство принялось допрашивать его заново. После чего был он доставлен куда-то, помещен в комнату с замазанным и зарешеченным окном — и отлично накормлен.

В комнате была койка, и Толя, довольный завтраком и несколько не взволнованный, безмятежно заснул. Его вежливо разбудили, сказали, что все выяснилось, и привезли на место происшествия — к машине и палатке, которые были обнесены белой лентой и охранялись часовым. Козырнули и отпустили, сказав на прощание что-то непонятное, но с улыбкой. Нет сомнения, что сперва его приняли за русского разведчика, обосновавшегося у периметра какой-то секретной военной базы...

В беседе Кузнецова о грибах ничего этого не было. А была сыроватая атмосфера августовского леса, был рассказ о британском обычае устраивать пикники, было удивление англичан — зачем он собирает грибы, как он может без справочника отличить, какие съедобные, а какие ядовитые. Был превосходный юмор.

Несколько лет Анатолий жил с красивой молодой полькой Иолантой. Сам я женился через полтора года после побега в Англию, и Толя с Иолантой приглашали, бывало, нас на шашлык.

В саду своего дома он соорудил кирпичный мангал и шашлыки жарил вкуснейшие. Как и прежде, он запоем читал и часто обсуждал со мной предметы, о которых я имел весьма туманное представление. Его, например, долго занимала тема «жизни после смерти»: тогда появлялось много публикаций, главным образом американских, о реанимированных людях, испытавших клиническую смерть. Они сообщали, что якобы куда-то летели в потустороннем мире, кого-то там видели и так далее. Толя приносил такие журнальные статьи, просил переводить, спрашивал моего мнения. Я был неизменно скептичен, и он в конце концов перестал об этом заговаривать.

...В тот день позвонили мне в Мюнхен, в лондонский корпункт: у Кузнецова тяжелый инфаркт, он в больнице. Два дня спустя я сообщил Иоланте, что лечу в Лондон, но она сказала, что Толя приехал домой. Как? Почему? Так он захотел: сказал, что дома ему будет лучше, и вопреки уговорам врачей уехал. Еще через день он позвонил и спокойно сказал, что ему ничем в больнице

помочь больше не могли, и он лучше врачей знает, что с ним делается. «Я лучше знаю» — был Толин постоянный упрямый рефрен. Я от него сотни раз это слышал и знал, что после этого говорить с ним бесполезно.

Но дальше был второй инфаркт и две клинических смерти — одна на четыре секунды, другая на пятнадцать. Его спасли, и он стал очень послушным пациентом: вылежал сколько надо в больнице, потом отдыхал дома. В это время написал мне письмо — необычным для него, корявым почерком, видно далеко еще не оправился и писал лежа. «Не верь, что там что-то есть, я побывал там два раза, только черная яма». Пока он лежал в больнице, Иоланта родила ему девочку Машу, а он тут же, на больничной койке, формально с Иолантой обвенчался.

Я приехал к нему в Лондон, когда он уже стал выходить на прогулку. Увидел спящую девочку, а потом Толя стал показывать мне диаграммы ее сна, «гулянья» и кормления, составленные с обычной для него тщательностью, разноцветные и трогательные. Я порадовался, что все обошлось, и у Толи началась нормальная семейная жизнь — как вдруг он достал сигарету. Я не выдержал и вскричал, что он не смеет. Ледяным тоном Толя ответил, что лучше знает, сколько ему можно курить. Он попытался даже отвезти меня домой на машине, но от этого я отбился и несколько дней спустя уехал в Мюнхен, а Кузнецов через пару недель впервые вышел на работу.

Он умер, вернувшись из корпункта после рабочего дня. Сказал, что плохо себя чувствует, и Иоланта уговорила его лечь. Присел на диван и вдруг свесил голову — точно заметил что-то на полу, а потом стал валиться набок. Сердце остановилось.

Его хоронили на далеком Эдмонтонском кладбище, но я знал, что он любил гулять по Хайгейтскому, оно совсем недалеко от места, где он жил. Мы с ним там иной раз бродили, он с усмешкой показывал мне могилу Маркса, а напротив нее — надгробие философа Спенсера. Знаменитая лондонская шутка: в Хайгейте похоро-

нены «Маркс и Спенсер» (так называется сеть популярных магазинов). «Здесь, наверно, и прилягу», — вздыхая, говорил он.

Приехав в Лондон, я стал хлопотать, чтобы его перенесли в Хайгейте. Оказалось, что кладбище давно закрыто, там хоронят только по особому решению попечителей. Написал я им, рассказал, кто был писатель Анатолий Кузнецов, назвал его произведения, приложил рецензии и просьбы английских писателей. И удалось! Гроб с телом эксгумировали, поместили в другой, гораздо больший гроб, и мы похоронили его в Хайгейте — по православному обряду, с русским священником, хотя, насколько я знаю, в церковь он не ходил. На его вторые похороны, к моему немалому удивлению, вместе с «русским» Лондоном пришло множество англичан.

Керенский

И вот опять ухажу я назад — не дается мне хронологическое изложение. Да и не хронику жизни я пишу, а больше рассказываю о встречах, подаренных судьбой. И встреча, о которой сейчас расскажу, быть может, самый большой и неожиданный подарок.

Маня Харрари обычно приглашала меня днем — между обедом и ужином. Мы сидели у нее на верхотуре, и обычно никакого угощения мне не предлагалось. В лучшем случае, если засиживался, Маня сама приносила чашку кофе.

Бывая у нее, я иной раз заставлял там Макса Хэйворда и многих других любопытных людей. Однажды познакомился с сестрой Мани — Флорой. Ее фамилия по мужу была Соломон. Много позже прочитал я, что Флора Соломон была первым человеком, заподозрившим Кима Филби в шпионаже в пользу Советского Союза. Она сообщила о своих подозрениях «куда следует», но там, за отсутствием прямых улик, ничего не предприняли, кроме увольнения Филби из разведки. Он стал журналистом и через несколько лет перебрался в Бейрут корреспондентом газеты «Обсервер». К тому времени про-

тив него накопилось уже немало улик, и контрразведчики послали к Филби следователя для допроса. Наутро после первого с ним разговора Филби удрал в Советский Союз...

В общем, я всегда шел к Мане Харрари с удовольствием и, конечно же, с предвкушением интересных встреч. Но в это летнее утро 1968 года она позвонила мне и пригласила прийти не днем, как обычно, а на ужин.

— У меня будут разные люди и, надеюсь, они вам понравятся. К сожалению, нам с вами придется сменить одежду: я надену платье, а вы — темный костюм и галстук.

К тому времени у меня уже были и приличный костюм и некоторый опыт званных ужинов. Я понимал, что обычных наших русских разговоров не будет, придется поддерживать беседу ни о чем с незнакомцами по-английски, переходить со стаканом виски или рюмкой хереса от одного к другому, потом в лучшем случае садиться за стол, отыскав карточку со своим именем, а в худшем — брать себе еду с буфетного стола и целый вечер балансировать тарелкой, вилкой, ножом, бокалом вина...

Открыл мне дворецкий, весь белый с золотом, проводил до двери в зал, там Маня предложила выпить и сразу стала знакомить с англичанами, пришедшими до меня. Скороговоркой они называли свои имена, которых я большей частью не улавливал, а переспрашивать не хотелось. Между тем, Маня отправилась принимать следующего гостя — и привела его знакомиться. В зале стоял буфетный стол, под белой скатертью, я понял, что ужинать будем стоя.

В какой-то момент прошел по залу тихий ропот, все повернулись к дверям. Маня устремилась в вестибюль, дворецкий распахнул обе половинки дверей, и два человека ввели под руки старика в толстых выпуклых очках. Он сказал общее «Гуд ивнинг», ему вразной ответили, и сопровождающие усадили гостя за небольшой столик, в конце зала. Маня приблизилась ко мне и едва слышно шепнула:

— Идем, приехал Керенский.

Какой Керенский? Я ведь знал только об одном человеке, носившем это имя. В детстве, в школьных учебниках тридцатых годов, публиковали его портрет: волосы ежиком, френч со стоячим воротником, недобрый взгляд исподлобья. Премьер-министр Временного правительства, свергнутого Октябрьской революцией. И стихи: «За Гатчину, забившись, улепетывал бывший: «В рог, в бараний, взбунтовавшиеся рабы...» Впрочем, был еще рассказ Бабеля «Линия и цвет», там тоже про него, по-другому, но... И все это задолго до моего рождения. Неужели тот самый Керенский?

— Александр Федорович, позвольте представить вам земляка. Леонид Владимирович совсем недавно из Москвы, а его юность прошла в Питере. Это наш друг, журналист, сумевший бежать оттуда, — церемонно представляла меня Маня совершенно необычным для нее, заискивающим тоном. Керенский сверкнул в мою сторону очками.

— Ну, если друг — и оттуда, то давайте с вами выпьем.

— Что вы предпочитаете, Александр Федорович? — это опять Маня.

— Я бы выпил куантро, — ответил Керенский.

— Замечательно! Вот Леонид Владимирович сейчас вам раздобудет. — И показала глазами на буфет с напитками. Я мотнулся туда, сказал бармену «два куантро», не имея представления, что это такое. Из квадратной темной бутылки мне налили две ликерных рюмки прозрачной жидкости, и я вернулся к Керенскому.

Его сопровождающие тактично оставили нас наедине.

— Ну, Ваше здоровье, — поднял рюмку мой фантастический собеседник. И отпил сразу почти половину. Я тоже пригубил, оказался вкусный и ничуть не приторный ликер. Нужно было что-то говорить, спрашивать, наверно. Но что? «Вы тот самый Керенский?» Мой первый вопрос был не намного лучше этого.

— Знаете, Александр Федорович, я много раз видел ваш портрет, и всегда в военном френче. Вы его большей частью и носили?

К моему удивлению вопрос ему понравился.

— Да, это был френч из английского диагоналя. Я его перед войной купил в Английском магазине! на Невском, против Конюшенной, — и сносу ему не было.

— Позвольте... Английский магазин против Конюшенной? Да ведь там до сих пор магазин «Ленодежда» — на Невском против Желябова... То есть да, конечно, Большой Конюшенной.

— При чем тут Желябов? А, нуда, они же все переименовывали в честь разных убийц.

Затем я спросил, помнит ли он Бабеля, написавшего про него рассказ.

Керенский, кажется, усмехнулся, так мне показалось.

— Меня уже спрашивали об этом. Даже не раз. Недавно был у нас в Америке какой-то журналист, кажется, из «Нового мира». Тоже спросил. Я отвечал, что не помню. Но потом думал-думал, и припомнил, что на отдыхе после операции, в Сестрорецке, кажется, был в нашем санатории такой полный молодой человек, он тоже носил толстые очки, как я, и мы друг другу жаловались на плохое зрение.

— Вот-вот, об этом и рассказ.

— Надо бы прочесть, но с глазами у меня теперь совсем неважно.

Керенский допил рюмку и вдруг сказал:

— Мало!

— Что? Ах, ликера?

И я бросился за второй порцией куантро. Потом расхрабрился и спросил, знает ли он отвратные стихи Маяковского об Октябрьском перевороте и о нем лично.

— О, когда-то мы читали и очень смеялись с детьми. Как это там... «Глаза у него Бонапартия и цвета защитного френч», «и дамы, и дети-пузанчики кидают цветы и розанчики». Так?

— У вас отличная память, Александр Федорович. Но там ведь не только про глаза и дам с цветами. Там о вашем бегстве, например. Но ни у Маяковского, ни в советских учебниках ни слова не сказано, как вы бежали за границу, куда именно. Как бы исчезли — и все.

— Все это подробно изложено, уважаемый. В моих воспоминаниях, в мемуарах других людей. Я ведь и не думал бежать из страны. Скрывался от убийц, конечно, но через несколько времени вернулся и в Петроград. Хотел собрать силы, чтобы избавить Россию от Ленина, да поздно было, слишком поздно...

Я, конечно, не читал воспоминаний Керенского и теперь буквально проклинал себя. Ведь был же, дуралей, убежден, что глава Временного правительства сразу же дал деру за границу. Так подразумевалось, если не говорилось прямо, во всяких советских воспоминаниях о перевороте. И я честно рассказал обо всем этом Керенскому. Объяснил, что живу в Англии всего два года, и груз лжи и предрассудков, наваленный на меня советским воспитанием, далеко еще не сбросил. Керенский молчал, слегка кивая. Потом с усилием повернул ко мне голову и сказал:

— Это все мой земляк. Брат убийцы и сам убийца.

— Простите, Вы о ком? — не понял я сразу.

— Ульянов-Ленин. Он ведь тоже из Симбирска.

В России-то каждый знает, откуда родом Ленин. А что Керенский оттуда же, я понятия не имел и опять сразу признался в этом.

— Да, земляк... — протянул Керенский. — И я, кажется, его однажды спас.

— Вы... Его?

— Да, возможно.

Керенский допил ликер.

— Принести еще рюмку?

— Нет, довольно. В мае я был на Юго-западном фронте, мы ведь... готовили июньское наступление, слышали, быть может?

В мае. Года он не назвал, главного года своей жизни.

— Не слышал, Александр Федорович. Нам все больше рассказывали об июльском восстании. Даже Садовую улицу переименовали в улицу Третьего июля.

— Дойдем и до большевистского восстания. Так вот, командующий фронтом повез меня на передовую линию, в полк — такой был обычай. И полковой командир

представлял нам отличившихся солдат. О каждом заранее говорил: чем отличился, за что награжден. Об одном сказал с некоторой, что ли, заминкой. Мол, самый отчаянный полковой разведчик. Много раз ходил в тыл к немцам, приводил пленных, приносил ценные сведения. Но, понимаете, он из уголовников. Попросился на войну, и его отпустили. Что там за ним, толком не знаем, но не убийца он, иначе не освободили бы. Зовут Борис Вайнберг, иудейского вероисповедания. Позвольте мол, представить? Я, понятно, согласился. Входит бравый солдатик: «Здра-жла-господин министр» — так их научили. Стал я с ним разговаривать, и он очень мне понравился — быстроумием, открытостью. Я спросил его насчет прошлого, он сразу отчеканил: «Было дело, что скрывать, да ведь кто старое помянет...» «Тому глаз вон?» — говорю. Смутился. «Никак нет, господин министр». Забавный парень. Я похвалил его, поблагодарил полковника, что не отдумал мне этого Вайнберга представить, на том дело и кончилось.

Потом начались беспорядки, июльские, Ленин сбежал и объявили розыск. Вдруг — я уже был первым министром — мне докладывает секретарь, что набивается меня видеть какой-то Вайнберг, говорит знаком со мной по фронту. Вспомнил я — и через некоторое время, в коротком перерыве между назначениями, его принял. Он был в штатском платье, как попал с фронта в Петроград, Бог весть, и я не успел спросить. И сразу он к делу: «Ленина разыскиваете?» А были прокламации об этом по всему городу. «Нуда, говорю, полиция его ищет». Он так ухмыльнулся: «Полиция»! Вы дайте мне пять тысяч рублей золотом, и мои ребята через три дня его приволокут — либо живого, либо уж в мешке. Так и сказал — в мешке..

Керенский сделал долгую паузу, я боялся шелохнуться, вдруг раздумает продолжать. Но нет, не раздумал.

— Понимаете, мне прямо кровь в голову. Каков негодяй! Ко мне — с уголовщиной. Я встал и сказал: «Вы, Вайнберг, зарубите себе на носу: Россия — правовое демократическое государство, и мы не допустим ника-

кого самоуправства и бандитизма. Я бы должен вас прямо здесь арестовать, но помню ваши военные подвиги и потому просто говорю: вон отсюда!»

Опять пауза, голова Керенского чуть склонилась, я испугался, что он сейчас задремлет. А он заговорил совсем другим, унылым голосом:

— Вайнберг повернулся этак лихо на каблуках — и к двери. У самого выхода задержался, посмотрел на меня странно, будто хотел что-то выговорить, но махнул рукой и удалился. Я давно уже думаю, что хотел сказать этот... хват?

Надеюсь, поймете мое замешательство. Я что-то пробормотал, но тут подошла Маня с двумя тарелками и натянуто-весело произнесла, что знает, как не любят русские есть стоя. Мы с Керенским что-то потом ели — сейчас убейте, не помню что. Я только один раз спросил, что же могло быть с Россией без Ленина. Он усмехнулся по-настоящему — единственный раз за весь вечер — и ответил: «Керенщина!»

Александр Федорович скончался в июне семидесятого в Америке. С его сыном — британским инженером Олегом Александровичем, ныне тоже покойным, — я был потом хорошо знаком.

Очень люблю Солженицына, но его «фанфарона-Керенского» из «Марта семнадцатого» принять не могу...

Мюнхен

С октября 1967 по июль 1979 года я, как уже сказано, работал на радио «Свобода». Еще годом раньше Виктор Франк свел меня с говорящей по-русски английской дамой по имени Джоан Бальцар, лондонской сотрудницей Отдела исследования аудитории «Свободы». Джоан пригласила меня к себе в квартиру, где жила с дочерью Таней, и давала слушать звукозапись текущих передач «Свободы». Прослушав получасовую запись, нужно было наговаривать на магнитофонную пленку подробный отзыв: что, по моему мнению, было удачно, доходчиво, достоверно, а что нет — и, разумеется, по каким причи-

нам. За каждый час такой легкой и даже приятной работы полагался небольшой гонорар. Я старался быть объективным, но нравилось мне далеко не все, и я, что называется, рубил с плеча, как бывало на редакционных летучках в России, без западных вежливых «подходов».

Так ходил я туда, раз в неделю, месяца два, а потом из Мюнхена приехал директор Отдела исследования аудитории «Свободы» Макс Ралис, и мы с ним беседовали три дня, с утра до вечера — с перерывами только на посещения дорогих ресторанов. Макс, мой будущий долголетний друг, признался в конце наших разговоров, что мои пленки он слушает только у себя в отделе с двумя коллегами и пишет о них отчеты по-английски для американского начальства. Журналистам и редакторам «Свободы» обычно их не дает.

— Это для вашей же пользы. Я думаю, вы скоро придете к нам работать, и если некоторые сотрудники узнают, что вы говорили об их передачах...

Макс был предусмотрителен. Скоро Виктор Франк сделал мне формальное предложение работать лондонским корреспондентом «Свободы». Он задал странный вопрос: сколько я хочу получать. Как это «сколько хочу»? В моем советском мозгу это как-то плохо укладывалось. Тем более, что за неделю до этого меня пригласили на собеседование в Русскую службу Би-би-си, и буквально за два дня до разговора с Франком я получил письмо, в котором Би-би-си предлагала мне должность «программного сотрудника» с окладом в 1650 фунтов в год. Это звучало ясно и определено, но на цифру я обратил мало внимания. Меня смущала только перспектива работы с Гольдбергом, и я еще не придумал, что ответить и согласиться ли вообще, — как вдруг предложение от «Свободы». Я решил, что произошло удачное совпадение. Хорошо, что не дал согласия Би-би-си: теперь можно принять предложение Виктора Франка и вежливо ответить Клафу, что я «выбрал Свободу» (я тогда только что прочел книгу «Я выбрал свободу» Виктора Кравченко). И потому на чудной вопрос Франка об окладе махнул рукой и сказал, что это его дело: сколько будет

платить, столько и ладно. Франк чуть заметно улыбнулся и предложил двести фунтов в месяц. Это было даже больше, чем на Би-би-си, и я еще раз порадовался своему правильному выбору.

Лишь много позже проведал, что никакого совпадения не было. Франк узнал, что меня приглашали на Би-би-си (он ведь когда-то был директором ее Русской службы, и всегда знал, что там делается) и тут же дал телекс в Мюнхен и получил приказ: взять меня на работу на любой оклад, какого я потребую. Так я, можно сказать, упустил золотую жилу...

Из жизни номер один

На этих страницах уже появлялся мой давний друг Аркадий Ваксберг. В те годы он еще не работал в «Литературной газете», где прославился на всю страну своей бесстрашной публицистикой. Но известность уже приходила: он, кандидат юридических наук, выпустил книгу «Издательство и автор», объяснив в ней, какими правами пользовались — в теории — литераторы по советским законам. Писатели расхватывали это полезное им пособие, и Ваксберг, еще не член их Союза, стал там «своим человеком». Для меня он был как свет в окошке: постоянно рассказывал интереснейшие вещи. Это он первым принес мне книгу Аркадия Белинкова «Юрий Тынянов», чудом проскочившую цензуру, рассказал о рукописи Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», тогда еще и в самиздате не ходившей.

И он же первым надоумил меня, что есть такая радиостанция «Свобода» и ее можно слушать, несмотря на глушилки.

Помню, как это было. Аркадий вернулся из отпуска, проведенного в Дзинтари. Там, в Латвии, приобрел он недавно выпущенный портативный коротковолновый приемник «Спи-дола». На балтийском пляже слушал его и вдруг настроился на слова «Говорит радио «Свобода». У моря ее было слышно сквозь свист и скрежет «джаза КГБ». Он уединился — благо пляж там бесконечен — и стал слушать каждый день. Даже запомнил адрес радиостанции: двадцать восемь Ноттингэм террас, Лондон.

Оказалось, что иногда, поздно вечером, «Свободу» можно было ловить сквозь глушилки даже в Москве. У меня был добротный шестилампный «супер» (помнят ли читатели, что это за аппарат?), и, просиживая ночами, мне удавалось то нападать на известия, то на комментарии профессора Авторха-

нова, то на литературные заметки какого-то Гайто Газданова — они всегда были интересны, но кто он такой, я, конечно, тогда не знал.

Потом я принялся вводить технические усовершенствования. Знакомый радист вставил в мой автомобильный приемник невидимые на шкале диапазоны 16 и 19 метров. И я принялся ездить «на рыбалку», чтобы выживать из эфира «Свободу». В то далекое время наш журнал «Знание — сила» печатался еще не в Каунасе, а в Твери, на Калининском полиграфическом комбинате, и мне приходилось туда ездить. Опытным путем я определил, что по дороге в Тверь, в районе речки Шоши, самая лучшая слышимость, — и очень часто там «рыбачил».

Постепенно «Свобода» заняла прочное место во всей моей московской жизни. Я старался поймать ее каждый день, хотя бы на несколько минут, и очень досадовал, когда это не удавалось.

Во время самого первого знакомства с Виктором Франком, почти за годдо поступления к нему на службу, я как-то спросил его, работает ли он на Ноттингэм террас.

— Ноттингэм... террас? Это где? — не понял он.

— Насколько мне известно, в Лондоне.

— Насколько мне известно, — смерил меня взглядом Франк, — я работаю на Графтон стрит. Это лондонский корпункт «Свободы». Ради Бога, откуда вы взяли этот «террас»?

— Позвольте, а сама «Свобода» разве не в Лондоне?

Виктор немного подумал, наморщив лоб, и затем улыбнулся:

— А! Вы узнали лондонский адрес из наших передач.

— Конечно, откуда ж еще?

— Тогда все понятно. У нас есть отдел исследования аудитории, он дает слушателям адреса для корреспонденции. Вероятно, у них есть этот лондонский адрес, откуда письма пересылают по назначению — в Мюнхен. «Свобода» находится именно там.

Через несколько дней после приема на работу меня и отправили в Мюнхен — знакомиться. Мой бдительный опекун Чарльз заволновался: ему казалось, что поездка небезопасна. Увидев, что отговорить меня невозможно,

он попросил отсрочить отъезд на пару дней и скоро пришел довольный: все улажено, можно ехать, только в Мюнхене жить будете не в гостинице, а у американского сотрудника «Свободы» на квартире.

В мюнхенском аэропорту Рием меня встречали три человека — один из них Макс Ралис. Кроме него, были директор радиостанции Уолтер Кеннет Скотт и сотрудник Ралиса Джордж Перри, у которого мне и предстояло остановиться. Прямо из аэропорта отправились обедать в ресторан, где подавали очень вкусные рыбные блюда. Скотт задавал вопросы по-английски, Макс переводил. Хоть мой английский даже тогда, через шестнадцать месяцев пребывания в Англии, был очень неважен, я понимал большую часть того, что говорил Кеннет Скотт и, помню, поражался изысканной и доброжелательной манере, с какой он ко мне обращался. Поражаться, однако, не следовало: Скотт был профессиональным дипломатом, до «Свободы» служил американским консулом в Лондоне. Американский Госдепартамент увольняет на пенсию в 60 лет и в этом возрасте Скотт и перешел на радио.

Более приятного, даже обаятельного начальника у меня никогда не было. Когда в 70 лет он решил уйти на покой, я специально прилетел в Мюнхен на прощальный прием*. Кеннет был весел, шутил, говорил дамам комплименты. Сказал, что до отлета в Америку поедет с семьей отдохнуть на озеро Химзее, в семидесяти километрах от Мюнхена. На четвертый день отдыха Скотт, никогда серьезно не болевший, скоропостижно скончался.

...Радиостанция «Свобода» помещалась тогда в здании прежнего аэропорта «Обервизенфельд», того самого, где приземлились в 1938 году Чемберлен и Даладьё для подписания печальной памяти мюнхенского соглашения с Гитлером. Теперь на этом месте олимпийский стадион, а «Свобода» дважды сменила адрес. Потом сменила в третий раз: переехала в Прагу. Но об этом — в свое время.

* К тому времени я снова вернулся в Лондон.

В «Обервизенфельде» меня сразу познакомили с двумя людьми, которых я по-настоящему оценил лишь позднее. Один из них — директор Русской службы Александр Васильевич Бахрах — в прошлом секретарь Бунина. У него был и роман с Мариной Цветаевой — насколько я понимаю, платонический. Через несколько лет после нашего знакомства Бахрах показал мне тетрадку с ее письмами: интересно, уцелела ли она? Цветаева обращалась к нему «Александр Васильевич», и я запомнил одну удивительную фразу: «Мы же с Вами знаем, что правда — перебежница».

Вторым новым знакомым был невысокий пожилой человек, чрезвычайно ироничный. Все, что он говорил, звучало полушутливо и саркастически, но нисколько не обидно. Чувствовался глубокий ум. Он представился Георгием Ивановичем и я не сразу уразумел, что имею дело со знаменитым Гайто Газдановым. Его беседы по радио были лучше всех других передач «Свободы», а в Лондоне я успел прочесть его «Вечер у Клер».

С ним и с Александром Васильевичем Бахрахом разговор шел почти исключительно о литературе. Наверное поэтому, когда на следующий день меня попросили выступить перед сотрудниками радиостанции и рассказать о России, я заговорил именно о России литературной. В то время «передним краем» была в Москве поэзия, я стал читать наизусть стихи, которых знал довольно много. Прочел поэму Германа Плисецкого «Труба», самиздатские стихи Слуцкого, Межирова, переводы грузинской поэзии, сделанные Евтушенко и изданные в сборнике «Луки лира», которого в Мюнхене еще не знали. Поднялся высокий, импозантный человек и попросил, если можно, прочесть мое самое любимое стихотворение. И я, не колеблясь, прочитал пастернаковского «Гамлета».

После окончания встречи импозантный человек подошел ко мне и представился — Саша Перуанский. Затем не терпящим возражений тоном объявил, что мы едем к нему ужинать. У него в доме, показавшемся мне роскошным, я познакомился с его женой Норой и двумя

сыновьями. Но ужин оказался просто пьянкой. Напрасно говорил я, что мне же надо еще попасть к Джорджу Перри, а это далеко и как же я доберусь.

— Доберешься, старик, в лучшем виде. Давай лучше еще по одной...

Пил он только водку, рюмку за рюмкой, чуть разбавляя тоником, затем к моему ужасу сел за руль и повез меня через весь ночной город. Говорил он уже бессвязно, однако доехали мы без происшествий. Когда Джордж открыл нам дверь, Перуанский с трудом пробормотал:

— Вот, сдаю с рук на руки.

— Саша, останьтесь у меня ночевать, мы позвоним Норе, — сказал Перри по-русски.

— А выпить найдется?

— Утром — пожалуйста. Но не сейчас, да и водки у меня нет.

— Ну, тогда адью.

И сильно качнувшись, он повернулся уходить. Удержать его мы не сумели. Позже Перри позвонил и услышал от Норы, что приехал, мол, и свалился спать.

Увы, такие ужины повторялись потом много раз, когда я приезжал по делам из Лондона и когда переехал работать в Мюнхен. Но не зря же выдумана поговорка «пьян да умен — два угодыя в нем».

Александр Александрович Перуанский, тогда главный редактор русского вещания «Свободы», отличный журналист, никогда не бывал в России. Он родился и вырос в Тегеране, в семье видного врача русского происхождения. Воспитывался на любви к России, на русских сказках, русских книгах. Как бывает с такими людьми, идеализировал страну своих предков, но нисколько не заблуждался насчет советского режима.

На «Свободе» работал с самого ее основания, с 53 года. В 56 году, во время венгерской революции, вел репортажи из Будапешта до последнего момента, а потом выбирался из Венгрии пешком. Он как-то сразу стал мне другом, и отказываться от его гостеприимства я не мог. Из всех сил старался умерить его алкоголизм, но, признаться, преуспел в этом мало.

Пил Перуанский не только по вечерам. Свою первую водку-тоник принимал на работе с утра и, бывало, повторял за обедом. Но силы и выносливости был необычайной: на работе не пьянел. Кроме того, благодаря своему мужественному виду, был просто магнитом для прекрасного пола. Самая красивая женщина на «Свободе», русская парижанка Ариадна, много лет была его интимной подругой.

Когда шах Реза Пехлеви начал в Иране свою «белую революцию», Перуанский решил, что уедет туда и открывает собственное дело — туристическое бюро. Подал в отставку с должности, приносившей около 50 тысяч долларов в год и бесплатный дом. Его отъезд подкосил Ариадну. Она по-настоящему заболела, осунулась, потеряла свою дивную красоту. После болезни стала сильно выпивать. Ее пожалел и приголубил Олег Туманов, о котором будет отдельный рассказ.

А Перуанский, конечно, вернулся, еще задолго до того, как в Иране воцарился Хомейни. Просто он не был бизнесменом, и его мечты о собственном деле быстро развеялись. Руководители «Свободы» без колебаний приняли его обратно, и все пошло по-прежнему: первая выпивка утром, вторая в обед и завершался день пьяным ужином. Только Ариадну сменила еще одна прелестная женщина, американка Терри Уайли.

В конце восьмидесятых годов, когда я давно уже не работал на «Свободе», у Перуанского обнаружили рак почки. Одну почку удалили, и он продолжал работать. Чудовищной силы организм долго сопротивлялся болезни. К тому же Саша не совсем бросил пить — мне говорили, что иногда «прикладывался». Так дожил он до своего семидесятилетия и в 94 году умер.

До 1977 года, десять лет подряд, я работал в корпункте «Свободы» в Лондоне. В 1970 году Виктора Франка отозвали в Мюнхен комментатором, на его место прислали еще одного необычного человека — Витольда Ризера-Шиманского, которого мы называли Виктором Владимировичем. Отец его был поляком, мать — русская. В начале войны он оказался в Советском Союзе,

записался в польское войско генерала Андерса. Польские части Андерса ушли, как известно, через южную границу Советского Союза и совершили гигантский марш к Средиземному морю. Ризер сперва провел год в Болгарии, около года в Палестине, потом вместе с другими польскими добровольцами высадился в Италии, участвовал в знаменитом сражении под Монтекассино, затем жил попеременно в Италии, Албании и Франции. После Монтекассино ему, как герою этой битвы, дали британское гражданство. В Албании женился на яркой симпатичной черкесске Азе.

В конце концов судьба привела его в Мюнхен, где он стал успешно выступать в эфире, — ему поистине было что сказать. У Витольда был редкостный талант лингвиста, за считанные недели он выучивал язык каждой страны, в которую попадал. Правда, имел он один предрассудок: не хотел говорить по-немецки, уверяя всех, что немецкого не знает.

Про него на радиостанции сложили анекдот. Идет, дескать, в Мюнхене международный прием, и Ризер нарасхват: тут переводит с русского на итальянский, там с албанского на французский. В это время подходит немец-официант с напитками на подносе и спрашивает «воллен зи битте нох айн глас?» Витольд беспомощно оглядывается: «Что он сказал, что он сказал?»

Я познакомился с Ризером в тот самый первый приезд в Мюнхен, что и с Бахрахом, Газдановым, Перуанским и другими. Он пригласил меня обедать и повел в итальянскую остерию. По дороге, рассказав, что в эту остерию любил ходить некто Гитлер, добавил, что он немецкого не знает, хотя живет в Мюнхене уже десять лет.

— Как же Вы обходитесь?

— Сейчас увидите.

В ресторане он явно завсегдаем и подробно обсуждал меню с метрдотелем — по-итальянски.

— А дома Вы на каком языке разговариваете?

— Мы с Азой? Только по-албански!

Позже, когда Витольд приехал в Англию и мы с ним

пять лет делили маленький корпункт, я в этом немного усомнился, так как Аза, иногда приходившая в корпункт, неизменно говорила лишь по-русски. Но что он албанский знал — сомнений не было.

Хорошо владел Ризер и болгарским языком. К нам часто приходил болгарский писатель Георгий Марков, работавший на Би-би-си. В свое время он много встречался с Тодором Живковым и знал о нем такие вещи, которые рядовым болгарам вряд ли были ведомы. На волнах Би-би-си говорить об этом было нельзя: корпорация никогда не позволяла сотрудникам вдаваться в сплетни о руководителях стран, даже если это были отвратительные диктаторы. И Марков тайно от Би-би-си сотрудничал с болгарской службой «Свободной Европы». Он не выступал у микрофона, а приносил тексты на болгарском языке, их пересылали в Мюнхен, и они шли в эфир под псевдонимом. Ризер подолгу и оживленно беседовал с Марковым на его родном языке.

Сотрудничество с нами окончилось для Маркова трагически. Живков, понятно, знал, кто рассказывает о нем правду. В 1978 году он подослал в Лондон убийцу. На автобусной остановке неизвестный прохожий уколол Маркова заостренным зонтиком и ввел под кожу смертельный яд. Георгий умер через три дня. Его убийство было трогательным примером сотрудничества трех служб безопасности. Зонтик был приобретен в Америке и оборудован нужным механизмом КГБ, а яд — ризин — был разработан чешскими специалистами...

Окончание в следующем номере

КУДА «МЫ» ИДЕМ?

Я выписываю журнал «Время и мы» свыше десяти лет. Не буду распространяться о своем к нему отношении, это и так ясно: с нетерпением жду выхода очередного номера.

№142 журнала «Время и мы» поверг меня, и не одну меня, в состояние глубокого шока. Во всю высоту его обложки — живописный портрет Сталина. Да какой! Не портрет конопатого убийцы, какого до него не знала история, а Иосиф Прекрасный, «Сталин нашей юности — полет». В портрет вмонтирована реальная фотография давно и справедливо всеми забытой его дочери. На страницах журнала напечатано интервью Александра Гранта со Светланой Аллилуевой.

Когда я читала это полуинтервью-полустатью, мне было стыдно за интервьюера: с таким подобострастием он относится к дочери Сталина. Называет заурядную женщину «человеком-легендой». «Шутка ли: Светлана, дочь Иосифа Сталина и Надежды Аллилуевой, человек-легенда». То и дело патетически восклицает: «Все-таки это Светлана Аллилуева. Дочь Сталина на родине Сталина». «Известного, да еще как известного автора» — это о ее писательстве.

Аллилуева в четырех вариантах написала только одну книгу о себе. Писатель, как известно, начинается со второй. Не случайно, несмотря на «славу» автора, обе ее последние книги не нашли американского издателя. В первой — от нее ждали откровений.

Отношение автора к объекту своего творчества — дело личное. Есть же в статье пассажи, мимо которых нельзя пройти. Описывая, как к Светлане плохо относились первая и вторая волны русской эмиграции, и даже Зарубежная Православная Церковь ее не приняла, автор замечает: «Диссидентов-шестидесятников на запад еще не пускали, а советских евреев еще не меняли на американскую пшеницу». Какое отношение имеет Аллилуева к диссидентам?! Она «defector», да не тот. Дочь Сталина бежала на Запад с целью хоть в какой-то степени реабилитировать своего отца, самого кровавого тирана всех времен и народов. Чтобы покинуть своих (пусть и взрослых) детей, зная наверняка, что ты их больше не увидишь, понимая, что дети могут (что и произошло) от тебя отвернуться — для этого надо было иметь веские психологические мотивы. Рукопись книги «Двадцать писем к другу» она заранее переправила за рубеж. В ней Аллилуева всячески пыталась обелить Стали-

на, сваливая вину за совершенные им преступления на Берия. Когда читатели ей не поверили, и с реабилитацией не получилось, тогда Аллилуева предприняла ловкий политический маневр и выдала «Только один год» — книгу, «которую от нее ждали», где всюду ругала советский строй и расхваливала Америку. В своей последней книге «Для внуков» Аллилуева снова тянет ту же резину. В построении ГУЛАГа виноват де не один Сталин, а партия. Политбюро ЦК. Как будто в течение последних тридцати лет жизни Сталина кто-то, кроме него, имел в Политбюро право голоса. И в этом интервью она упрямо повторяет: «У них свои мнения, а у меня свое». Что ж, чтобы иметь мужество осудить хотя бы и после его смерти своего отца — для этого надо было быть Электрой, а не Аллилуевой. Советские еврей-эмигранты не могут испытывать ни малейшего сочувствия к дочери того, кто готовил им второй Холокост. Автору не следовало решать за нас. Мы сами разберемся в своих симпатиях и антипатиях.

Далее: «К Светлане обратилась некая «миссис Райт». И еще: «Миссис Райт их (Светлану Аллилуеву и Весли Питерса) пожелала, интересуясь в первую очередь деньгами невесты». Александру Гранту не мешало бы вначале узнать, кто такая «НЕКАЯ миссис Райт»? Похоже, известный журналист даже книг той, у кого берет интервью, не читал. Ольга Райт была женой (к тому времени уже вдовой) мало сказать, выдающегося, гениального американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Ей принадлежала ведущая роль — это было ее огромной заслугой — в создании уникальной коммуны архитекторов, где Фрэнк Л. Райт имел возможность обучать своих талантливых учеников и вместе с ними осуществлять свои проекты. Четвертый муж Светланы Весли Питерс был его преемником. Все эти уважаемые люди на голову выше и не чета некой Аллилуевой. В ее деньгах они не нуждались. Причина, по которой госпожа Райт пригласила в коммуны Аллилуеву, была мистической. Об этом писала в 1985 году известная американская журналистка, специалист по русской литературе, Патриция Блейк в своей статье «Сага о сталинском воробышке, мучительном путешествии Светланы с Востока на Запад и обратно», опубликованной в 1985 году в журнале «Таймс». Это есть и в книге «Далекая музыка» самой Аллилуевой. У госпожи Райт была дочь, погибшая в автомобильной катастрофе, которая родилась в Грузии, ее тоже звали Светлана и она была замужем за Весли Питерсом. На почве этих совпадений у бедной женщины родилась фантазия (чего не вообразишь с горя), что Светлана Аллилуева будет ей как бы заменой родной дочери. Как к родной, к Светлане Аллилуевой в коммуны и относились. Увы, «Сетанка-хозяйка», как шуточно величал ее в детстве отец и велел писать ему указы, хотела властвовать

там, где была другая хозяйка — Ольга Райт. Никто не вынуждал ее покидать коммуны и тогда, когда у нее родился ребенок. Напротив, она ушла из коммуны сама и требовала, чтобы муж последовал за ней, чего Весли Питерс, живший в коммуны с 1932 года и будучи там главным архитектором, естественно, сделать не мог. Странно: описывая в своей третьей книге, как она была влюблена и счастлива с Весли Питерсом, Светлана сегодня вспоминает и сетует только о понесенном ею материальном убытке: зря же потратила на него деньги.

Между прочим, дальнейший путь Аллилуевой показал: она не только не могла прижиться в коммуны архитекторов «Теле-син Вест», но и в Америке вообще, в Англии, Грузии, Москве...

Главное: почему Александр Грант, задав Аллилуевой множество вопросов, не спросил ее о пресс-конференции в Москве в 1985 году после ее краткого возвращения в Советский Союз, где она поносила Америку, заявляя, что «за семнадцать лет жизни на Западе, она ни одного дня не была здесь свободной». Свою книгу «Только один год» она назвала коллективным творчеством под руководством ЦРУ — то бишь, не она ее писала. Пытаясь объяснить, почему «defector» вновь оказался в стране, из которой бежал, Грант пишет: «Все происшедшее с Аллилуевой и ее дочерью отчетливо отдавало большой игрой, в которой Иосифу Морозу (сыну Аллилуевой) была предоставлена роль «подставленной» шашки. Ему было поручено заманить мать с сестрой в Москву — и не больше». Не было никакой игры: к этому времени (1985 г.) главной пешкой перестали уже интересоваться не только на Западе, но и на ее родине. Сама Аллилуева сетует: почему сын себя так вел. «С самого начала, с 1967 года (год ее побега) он давал недобрые интервью — делал то, что ему говорили делать». «Они (ее дети) уже и тогда не были младенцами». А сама Аллилуева, что, была ребенком, когда попросилась назад в Советский Союз и ругала там приютившую ее страну. Только такая добрая и благородная страна, как Америка, могла ее простить и принять обратно. Да еще работники Американского посольства в Москве помогли ее оттуда вызволить.

Во всех своих бедах Светлана привыкла винить других. Индийцы вынудили ее бежать в Американское посольство, кто-то дал чуть ли не приказ поселиться в неприветливом Принстоне (как будто в свободном мире приказывают, где жить? Здесь нет прописки), американские адвокаты присвоили де большую часть ее денег, замуж ее выдала миссис Райт, кто-то сознательно дал недобрый совет переехать в Англию и там отдать дочь в квакерскую школу, из которой та в конечном счете сбежала, сын заманил ее в Москву, из Грузии выжил Шеварнадзе... Издателя Илью Левкова Аллилуева обвиняет в том, что он «был

заинтересован в нераспространении» изданных им ее книг: ему же за это заплатили. Кто?! КГБ — разве не ясно? Страдая, как и ее отец, манией величия, она не хочет понять, что книги ее не расходятся потому, что их неинтересно читать. Как и Сталину, ей всюду мерещатся козни.

Я не собираюсь писать вторую статью о Светлане Аллилуевой: она давно уже перестала быть (да правомерно никогда и не была) общественной фигурой. Ее извилистый с шатаниями то в одну, то в другую сторону жизненный путь — ее частное дело.

Удивляет меня другое. Зачем столь уважаемый журнал, как «Время и мы», поместил на своих страницах интервью с Аллилуевой, да еще вынес на обложку название статьи «Светлана Аллилуева о Западе, о России, о себе»? Может, журналу и интервью с ней, и ее фотография для того понадобились, чтобы нарисовать на своей обложке романтизированный образ Сталина? В таком случае хочу спросить редакцию «Время и мы», куда «мы» идем, вернее, катимся? Ужели вслед за теми, кто сегодня пытается реабилитировать Сталина?

*По поручению группы читателей
С уважением
Тамара Майская,
г. Кливленд, США*

АЭРОФЛОТ НА ПУТИ К СВОЕМУ СЛАВНОМУ ПРОШЛОМУ

По роду службы мне, как и многим моим соотечественникам, часто приходится летать в Россию. Маршрут известен: Нью-Йорк — Москва, Москва — Нью-Йорк. Откровенно говоря, я перебрал для своих полетов многие компании, прежде чем остановил на одной. Пусть вас не удивляет, это была не Дельта, не Финэйр, а как ни странно, наш славный Аэрофлот. И не только потому, что были у него в Москву беспосадочные полеты — мне нравился тот вызов, который бросил Аэрофлот своим западным партнерам. В своих многочисленных рекламках Аэрофлот или, как он сам себя называл, «Российские международные авиалинии», утверждал, что он намерен обеспечить своим пассажирам самые быстрые и комфортабельные полеты, самые высокие скорости, лучший в мире сервис, — словом —

летайте, господа, самолетами Аэрофлота и вы никогда об этом не пожалеете.

И вот, всякий раз, когда я собирался в Москву, у меня не возникало сомнений, какую избрать компанию — мне нравилось, что экипаж говорил со мной по-русски, что в салонах царят уют и чистота, что бортпроводницы стараются предупредить каждое мое желание, что летаю я не на каком-то сохранившемся с советских времен «АНе», а на сверхсовременном гиганте — «Боинге» (да и цена на Аэрофлоте, хоть и немного, а все же ниже, чем на той же Дельте или Финэйре).

Сказать, что мой полет в марте этого года разочаровал меня, — это еще ничего не сказать. Вернувшись в Нью-Йорк, я вот над чем задумался, а действительно ли в России произошла перестройка или все это побрякушки слов, а на самом деле все та же советская ментальность, советский сервис, советский способ хозяйствования? Но хватит рассуждений. Давайте поговорим о фактах, с которыми мне пришлось столкнуться. С самого начала. Начнем с 9-ти утра 21-го марта 1999 года, когда самолет приземлился в аэропорту «Шереметьево», где я, к своему удивлению, обнаружил на моем чемодане сорванный замок и сломанную молнию.

Я и раньше избегал иметь дело с шереметьевскими службами жалоб, но тут пришлось — дремавшая за барьером сотрудница багажной службы, лениво взглянув на мой чемодан, вступила со мной в долгие пререкания, можно ли, вообще, считать мой чемодан испорченным: «Леня! — наконец кликнула она какого-то молодца за приоткрытой дверью, — шило там у тебя далеко?» После чего «молодец» долго еще колдовал с моим чемоданом, что-то забывая и подкручивая и, утирая со лба пот, наконец вручил мне так и не починенный чемодан: «Ну вот и ладненько, — сказал он. — До гостиницы доедете, а там почините!» «Что ж, бывает, — миролюбиво подумал я, — как говорится, первый блин комом».

Но и второй блин не заставил себя долго ждать. Причем подкараулил он меня там, где я меньше всего ожидал. За три-четыре дня перед отлетом в Нью-Йорк я вспомнил, что, по правилам Аэрофлота, я должен в Москве сделать «confirmation» своего авиабилета, для чего в нью-йоркской кассе авиакомпании мне вручили номер телефона, по которому следовало в Москве позвонить. Я набрал номер. На другом конце провода не ощущалось никаких признаков жизни. Не то, что никто не подходил или было занято, а просто мертвое, глухое молчание, сквозь которое я тщетно пытался пробиться и услышать живой человеческий голос. Вспомнилось грозное предостережение нью-йоркской кассирши: «Не забудьте подтвердить билет, без этого не улетите!» Но телефон по-прежнему не проявлял ника-

ких признаков жизни и, почувствовав, что дело мое труба, я просто не знал, что придумать, пока после долгого изучения корочки авиабилета не нашел информацию о том, что на Фрунзенской набережной находится центральная касса «Аэрофлота», где можно приобрести билет в любую точку планеты. Правда, ничего не говорилось о том, в начале или конце Фрунзенской набережной находилась упомянутая касса. Поэтому мои поиски продолжались часа полтора-два: доехав до метро «Фрунзенская», я должен был пересаживаться на троллейбус, потом еще минут двадцать идти пешком (оказалось, что ехать, вообще, надо было до «Парка культуры»!), но, как говорили древние, не надо быть мелочным, если фортуна начинает улыбаться. Короче говоря, постояв еще минут пятнадцать в очереди, я наконец зарезервировал свой авиабилет, попутно не без интереса узнав, что телефон, который мне дали в Нью-Йорке, вообще, в системе Аэрофлота не значится, а откуда он взялся, Москве не известно.

Теперь оставалась самая малость: добраться обратно из Москвы в Нью-Йорк. Я уже начинал понимать, что времена в Аэрофлоте изменились. Никакого вызова он больше Западу не бросал. (Тогда я еще не знал, что прокуратура привлекает его руководителей к ответственности за всякие денежные махинации.) Пока же мне оставалось лишь вернуться в Нью-Йорк, то есть, как сказано выше, «самая малость», которая с самого начала обернулась сюрпризом. Уже в Шереметьево выяснилось, что лететь мне придется не на «Боинге», на который был куплен билет, а на «АН-е» — взяли и заменили Боинг советским «АН-ом» — и все дела. (Знал бы я, какие сюрпризы ждут меня впереди, я бы про этот пустяк и не вспомнил.)

Читатели, наверное, слышали, что большинство западных авиакомпаний придерживаются правила, запрещающего в их салонах курить. Но тут Аэрофлот оказался в числе немногих исключений, и это можно было, в общем, понять (российская ментальность, большинство русских мужчин курят и т.д.), если бы на том же Западе не существовало другого непреклонного правила — там, где разрешено курить, это можно делать только на специально отведенных последних двух-трех рядах (при условии, что курящие остаются на своих местах).

Зная характер русского человека и его врожденную «законопослушность», читатель, наверное, уже догадался, что пассажиры Аэрофлота этого правила не соблюдали, расхаживали с сигаретами по всему салону, не обращая внимания на протестующих. Тут следует вспомнить и еще об одном неожиданно выяснившемся сюрпризе. В «АН-е», в котором я оказался по счастливой случайности, не работала вентиляция. «Как так не работает?» — попробовал я возмутиться. «А так, очень просто!

— вежливо разъяснил мне бортпроводник, — а что, у вас всегда все работает?»

Вообще, бортпроводник оказался на редкость словоохотлив. На мое замечание, почему в салоне курят, последовал ответ: «Курят? А вы спросите их, почему они курят». На этом вопрос о курении был исчерпан. Но столь же неожиданно возник другой вопрос: почему-то после не очень обильного обеда, живо напомнившего мне славные доперестроечные времена (питание пассажиров, видно, также было одним из источников сверхприбылей Аэрофлота, которые выплыли в одном из Западных банков), — так вот, после обеда никто не спешил убирать со столиков грязную посуду.

Тут уже возмущился не я, а мой олимпийски спокойный сосед-американец. На его вопрос, заданный по-русски, почему так долго не убирают посуду, на этот раз уже не грубиян-проводник, а довольно миловидная бортпроводница разъяснила, что у нее только две руки. «Надо, мол, дорогой сэр, немного потерпеть и все будет оллрайт». Но потерпев еще минут 20-30, сосед мой не выдержал и, вскинув на руках поднос, отправился относить его на кухню сам. Вскоре его примеру последовали другие пассажиры, так же потерявшие терпение, — и весь салон заходил-задвигался (ах, какая это была картинка и как жаль, что не было при мне фотоаппарата!), но, несмотря ни на что, полет продолжался, и так или иначе все закончилось благополучно. Общими силами посуду собрали. Ни у кого не случилось обморока. Самолет более менее плавно приземлился в аэропорте Кеннеди. Экипаж пожелал пассажирам всего хорошего (а ведь могли бы, если бы захотели и в океан спланировать!) и выразил надежду на новые встречи на борту «Российских международных авиалиний».

На этом я мог бы поставить точку, если бы не еще один, последний мазок: думаете, опять разорвалась на чемодане молния? Нет, уважаемые, берите выше — на этот раз не оказалось самого чемодана — и мы, со встретившей меня женой, валяясь от усталости, еще часа полтора-два оформляли документы о потере моей злосчастной поклажи. Впрочем, чемодан тоже нашелся — в полночь его подвезли к моему дому в Нью-Джерси. Правда, внутрь не внесли. Позвонил водитель «вэна», подъехавшего к дому, и сказал, чтобы я спускался вниз и забирал свой чемодан. По глупости я стал его просить внести поклажу в дом, на что получил достойный моей наивности ответ: «Ну вот что — или забирай свой чемодан или увезу его обратно, в аэропорт!» «Хорошо хоть к дому привез, подумал я, а то ведь мог бы и дом поджечь».

*С уважением, Б. Викман
Нью-Джерси, США*



НЕ ТАК СТРАШЕН СКУРАТОВ, КАК ЕГО МАЛЮТЫ j

Газетные художники о российской жизни

Под вышеприведенным заголовком некоторое время назад газета «Аргументы и факты» опубликовала карикатуру на генерального прокурора Юрия Скуратова. Язвительный рисунок сопровождался не менее язвительной подписью: «Скуратовы работали в правоохранительных органах еще при Иване Грозном. Ну а то, что засняли его с двумя очаровательными девушками, — он же их не на сковородке жарил. В просвещенном 20 веке не так страшен Скуратов, как его Малюты».

С этой карикатуры на российского генпрокурора мы и начинаем сегодняшний вернисаж «Время и мы». Этот Вернисаж — особого жанра. В нем вы не найдете работ художников или скульпторов — то есть прекрасного искусства в общепринятом смысле. Однако авторы его, с работами которых мы знакомим читателя, обладают своим особым даром видения и отображения жизни. Перед нами фоторепортеры, газетные художники, карикатуристы, блестящие мастера политического шаржа и сатиры. Это они своим фотообъективом, своим пером и кистью создают живые свидетельства времени в канун 21 века. Если

существует жанр изобразительной публицистики, то они воистину мастера этого жанра. Пускай их стиль не вяжется ни о каким чистым искусством. Их предмет и стиль — сама жизнь, о которой они решили говорить начистоту. Искусство для них — это сатира, гипербола, живой набросок окружающей их действительности, полной смеха, ужаса и драматизма.

Нужно знать сегодняшнюю Россию, болеть за нее, сопереживать ей, чтобы вылепить ее образ, встающий со страниц московской периодики. Когда-нибудь потомки будут поражаться этому образу, поражаться многообразию проблем и тем, которые поднимали на страницах газет художники-публицисты.

...Вот картинка одного из современных военкоматов, которые буквально ломаются от толп молодых дезертиров. Художник Михаил Дмитриев предлагает нам весьма выразительную сцену... Пред ликом военкоматской медкомиссии предстает живописная троица: «Слепой, Косой и Косолапый» — юные симулянты, готовые пойти на все, лишь бы ускользнуть от своего долга служить родине.

А под ними «Следователи по особо темным делам» — по их облику нетрудно догадаться, что эта парочка на ниве российской юстиции готова прикрыть любое грязное дело, если только будет за что. Или герой нашего пионерского детства легендарный Павлик Морозов, юный доносчик, сдавший в органы своих близких. Однако времена другие — и причина его сегодняшних расхождений с папой иная, чем в годы великого перелома. Разгневанный родитель грозно попрекает предателя-сына: «Ты зачем звонил в налоговую полицию, Павлик?» Воистину, о времена! О нравы!

Сергей Волков называет Россию «Страной легкого поведения». Представленные им типажи — то ли пьяницы, то ли опустившиеся наркоманы, то ли пимпы, торгующие проститутками, типичные герои сегодняшнего российского подполья. И опять же, полная иронии подпись. Но на этот раз на сексуальную тему: «Оральный секс нынче в моде. Не в прямом и грубом смысле этого слова, а в том, что вкладывают в это словосочетание французы. Sex oral — в буквальном переводе о французского значит «устный секс», то бишь разговоры про это».

Любой политический акт в России с ее коррумпированным преступным режимом чреват последствиями. Убийство в парадном подъезде или из-за угла, нападение на квартиру, кража детей, расправа в думе или прокуратуре — опасность ждет политика за каждым углом. Во избежание последствий, не только политический деятель, но и любой человек, отчаявшийся на действие, должен принять меры предосторожности. На рисунке Александра Чеканова мы видим на черном фоне странно

выглядящую фигуру, за ее спиной притаившиеся мафиози и киллеры. Фигура явно готовится к некому опасному акту. И автор рисунка многозначительно предупреждает: «При политических актах пользуйтесь контрацептивами».

А тут еще и компромат делает свое грязное дело. «Компромат, читаем мы подпись под сомнительным сюжетом в газете «Аргументы и факты» (слепцы-политики рядом с преклоненными перед ними девочками) может взорвать всю страну».

Впрочем, опасность в России подкарауливает и просто рядового гражданина, не ко времени, скажем, оказавшегося в морозный день на московской улице. Дома и крыши, не очищенные от снега, заросли горами льда, свисающими над тротуарами. Когда-то в детстве мы это весело называли «сосульками». А теперь? Художник Борис Кремер, рисуя эти нависшие над головами людей льдины, с горькой усмешкой восклицает: «Лед тронулся! За прошлую зиму от упавших сосулек пострадали 50 москвичей». Вот чем оборачиваются красоты матушки-зимы, которыми мы так наслаждались в годы детства. И рядом со всем этим — лжеделикатесы и создающие их жулики и пьянствующие в подъездах, брошенные родителями дети... — все это у нас и рядом с нами! Такова Россия, глазами тех, кто решился показать ее жизнь такой, как она есть, — без прикрас и умолчаний.

*В. Петровский,
Москва*



*В дурдом или в казарму
Рис. Михаила Дмитриева*



*Следователи по особо темным делам
Рис. В. Аруханова*



Рис. Виктора Федорова



Чрезвычайная ситуация
Фото Сергея Тетерина

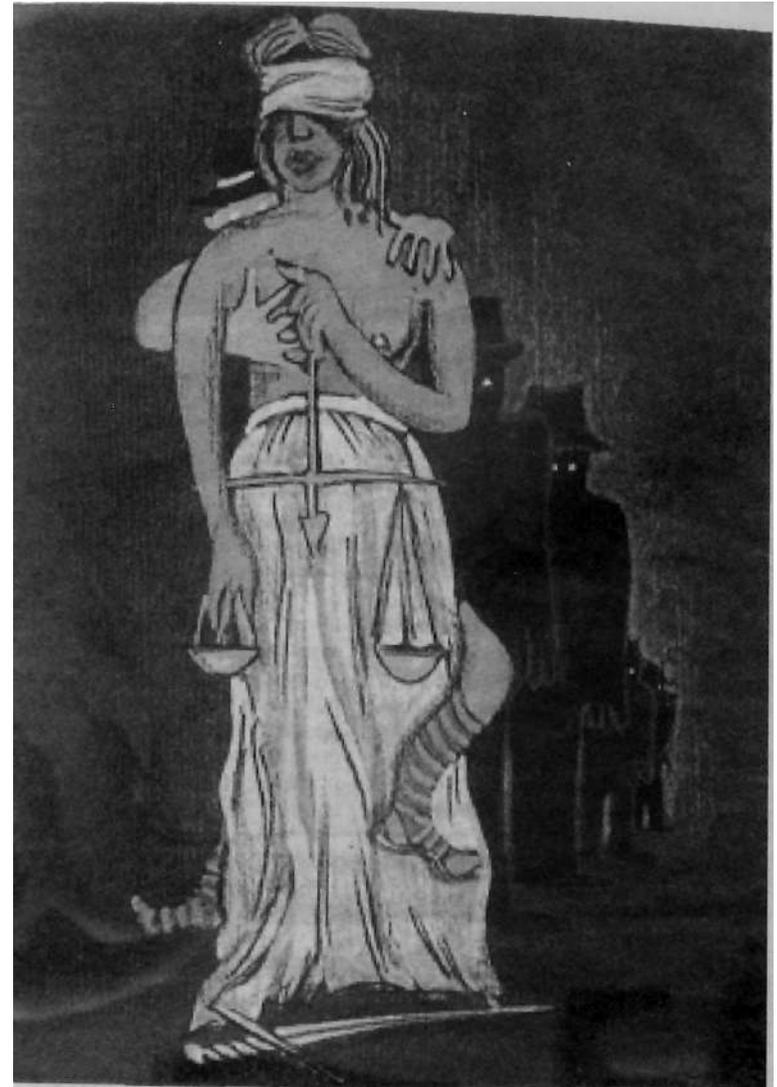
СТРАНА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ



Оральный секс нынче в моде. Не в прямом и грубом смысле, а в том, что вкладывают в это словосочетание французы.

«Sex oral» в буквальном переводе с французского значит «устный секс», то бишь разговоры «про это».

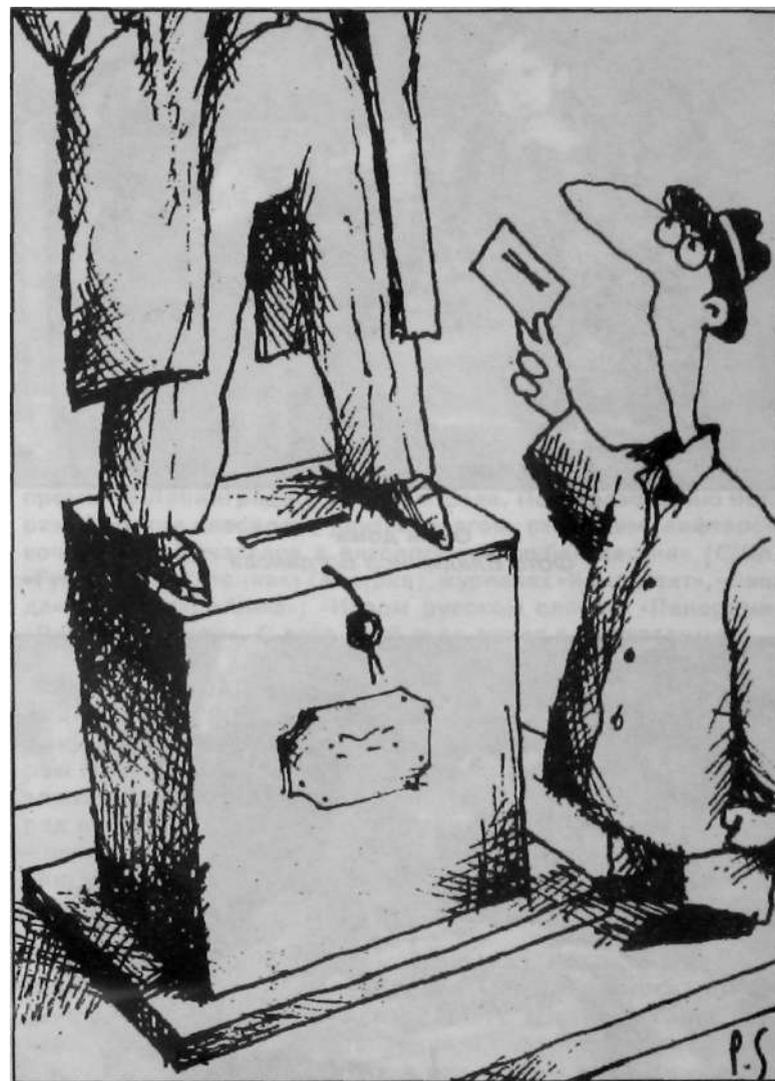
Фото Сергея Волкова



При политических актах пользуйтесь контрацептивами
 Рис. Александра Чеканова



Политический компромат может взорвать страну



Невротические потребности любви.
Психиатры ставят диагноз Электорату.
Рисунок С. Аруханова



Один дома
Фото Владимира Богданова



Лжеделикатесы
Фото Эдуарда Кудрявицкого

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Инна ЛЕСОВАЯ. Родилась в 1947 году в Киеве. Окончила факультет графики Московского полиграфического института. В 1975 году вступила в Союз художников. Занимается живописью, графикой, разрабатывает модели кукол для детей.

В последние годы написала несколько повестей («Вверх по Фроловскому спуску», «Верочка», «Четыре воспоминания о детстве», «Следствие») и роман («Бессарабский романс»). Периодически публикуется в журнале «Время и мы».

Владимир ХАНАН. Родился в 1945 году в Ереване. Почти всю жизнь, кроме семи лет (1947-1954), проведенных в Угличе, прожил в Ленинграде и Царском Селе. По образованию историк. Работал слесарем, рентгенологом, сторожем, лифтером, кочегаром. Печатался в антологии «Голубая лагуна» (США), «Гумилевских чтениях» (Австрия), журналах «Континент», «Звезда», «Знамя», «Алеф»; «Новом русском слове», «Панораме», «Русской мысли». С лета 1996 года живет в Иерусалиме.

Ирина БЕЗЛАДНОВА. Родилась и жила в Ленинграде до эмиграции в США в 1991 году. Окончила филологический факультет Ленинградского Университета. Работала редактором Ленконцерта, а последние перед эмиграцией годы была администратором Мюзик-Холла. Писать начала незадолго перед отъездом в США. Один из ранних рассказов «Будем живы - не помрем» транслировался по Ленинградскому радиовещанию в 1993 году. В настоящее время публикуется в русских зарубежных изданиях.

Владимир ДОБИН - поэт и журналист. Родился в Москве в 1946 году. Автор трех поэтических книг («Христос», Москва, 1989 г., «Полдень», Тель-Авив, 1995 г., «Поздний свет», Тель-Авив, 1995 г.). Его стихотворения и поэмы опубликованы во многих российских изданиях, в том числе в журнале «Смена», альманахе «Поэзия», в «Литературной газете», «Московском комсомольце», в «Антологии русского верлибра» (Москва, 1991 г.), в коллективных сборниках.

С 1992 года Владимир Добин живет в Израиле, где его произведения опубликованы в журнале «Алеф», альманахе «При свечах» (Тель-Авив), в различных газетах.

Владимир Добин - член Союза писателей Израиля, член Пен-клуба, руководитель израильского отделения журнала «Время и мы».

Инна КАБЫШ. Родилась в Москве, закончила пединститут, филфак. Публиковалась в журналах «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир» и других. Пушкинская премия (фонда Альфреда Тёпфера) за 1996 год. Автор двух поэтических книг: «Личные трудности» (1994 г.), «Детский мир» (1996 г.).

Елена ПЕЧЕРСКАЯ. Родилась и училась в Москве. Окончила московский педагогический университет и Литературный институт имени Горького. Поэт, переводчик, журналист. Автор книг стихов: «Из каменного гнезда», «Именем любви», «Уходящий кланется». Оригинальные стихи публиковались в журналах «Смена», «Москва», «Таллинн» (первая публикация — в 11-летнем возрасте в журнале «Пионер»), переводы стихов — на страницах журналов «Дружба народов», «Иностранная литература».

Владимир ШЛЯПЕНТОХ. Один из основателей советской социологии в 60-е годы в России. Известен своими национальными опросами общественного мнения в 60-70-е годы. Профессор социологии. Систематически печатается в американской и российской печати и, в частности, в «Независимой газете». За последние годы 12 книг и десятки статей им были опубликованы в Америке. Его статьи печатаются в газетах «New York Times», «Washington Post» и других ведущих американских газетах.

Дмитрий БЫКОВ. Поэт, журналист. Автор двух стихотворных сборников и множества статей в демократической прессе.

Виктор КОРКИЯ. Родился в Москве. Окончил МАИ. Работал в отделе поэзии журнала «Юность», Основные публикации в «Юности», «Новом мире», «Литературной газете» и др. Один из основателей клуба «Поэзия».

Вадим ЦЫМБУРСКИЙ. Родился в 1957 году, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения и Института Философии. Живет в г. Орехово-Зуево Московской области.

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ. Родился в 1930 году в Москве. Автор книг: «Час выбора», «Монолог с вариациями», «По следам Гоголя» (в серии «ЖЗЛ») и других. Живет в Москве.

Валентин ТРИФОНОВ. Родился в 1979 году в Москве. После школы работал корреспондентом радиостанции «Милицейская волна», исполнительным директором рекламного агентства «Филтим-Рандеву». В настоящее время — студент 3 курса факультета журналистики МГУ.

Леонид ВЛАДИМИРОВ, по образованию инженер, провел пять с половиной лет в сталинских лагерях. После реабилитации до 1966 года был журналистом в Москве (последние шесть лет заведовал отделом в журнале «Знание - сила»). В июне 1966 года, впервые выехав в страну Запада, попросил политического убежища в Англии. Двенадцать лет работал на радио «Свобода» - в 1977-79 годах главным редактором русского вещания. С 1980 года и по сей день - сотрудник Русской службы Би-би-си в Лондоне и член правления Кестонского института в Оксфорде. Автор книг «Россия без прикрас и умолчания» и «Космический блеф».

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1999

Установлены следующие условия подписки:

Стоимость годовой подписки — 63 доллара, с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 94 доллара.

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка на Западе оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США. Чеки высылаются в корпорацию «Время и мы» по следующему адресу:

409 Highwood Ave, Leonia, New Jersey 07605, USA
Тел.: (201) 592-61-55

В России оплата производится на договорных началах в российских рублях по адресу главной редакции «Время и мы»:

117415 Москва, ул. Удальцова, 16/19.
Тел.: 131-62-45

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE

117415 Moscow, Udaltzova str., 16/19

(095) 131-6245

На первой странице обложки:
коллаж Вагрича Бахчаняна

На четвертой странице обложки:

Москва строится.
Братеевский мост через
Москву-реку.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6.
Заказ № 786

